

АННОТАЦИЯ:

Маруся Климова (Татьяна Кондратович) – писательница и переводчица, автор нашумевших романов «Голубая кровь», «Домик в Буа-Коломб», «Белокурые бестии», а также сборников «Морские рассказы», «Селин в России», «Парижские встречи». Широко известны ее переводы французских радикалов: Луи-Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера Гийота, Жоржа Батая, Моник Виттиг и др.

«Моя история русской литературы» – книга, жанр которой с трудом поддается определению, так как подобных книг в России еще не было. Маруся Климова не просто перечитывает русскую классику, но заново переписывает ее историю. Однако смысл книги не исчерпывается стремлением к тотальной переоценке ценностей – это еще и своеобразная интеллектуальная автобиография автора, в которой факты ее личной жизни переплетаются с судьбами литературных героев и писателей, а жесткие провокационные суждения – с юмором, точностью наблюдений и неподдельной искренностью.

Книга вызовет восторг или негодование у самого широкого круга читателей.

© Маруся Климова (Кондратович Т.), текст, 2004

© Зоя Черкасски, иллюстрации к главам, 2004

© Лосев П.П., дизайн, 2004

© Гуманитарная Академия, 2004

ISBN 5-93762-037-2

Маруся Климова

МОЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Введение

Русская литература берет свое начало с XVIII века, с конца XVIII... Все остальное теряется во мраке, во всяком случае для меня. Наверное, это уже древнерусская литература, которая, возможно, вовсе и не литература никакая, а выдумка. "Слово о полку Игореве" – новодел, подкинутый во время пожара. Очень может быть! Поэзия знаменитых причитаний Ярославны всегда оставалась для меня загадкой, – кажется, они все еще нуждаются в переводе с древнерусского. Многолетние бдения академика Лихачева, соцзаказ, выполненный Заболоцким, и наконец смелая трактовка некоего двадцатилетнего вундеркинда, внештатного сотрудника газеты "Известия" по фамилии Чернов, не оставили никакого следа в моей душе. Я лучше помню шлягер на стихи того же Чернова в исполнении Софии Ротару про кружащийся снег, на "лепестки похожий", который кружился и "радовал прохожих", далее следовал припев: "О, это было так внезапно!" В памяти застряла еще одна песня, связанная с Ярославной: "Хмуриться не надо, Лада! Нам столетья не преграда..." Эта песня появилась на свет в конце шестидесятых, накануне столетия Ленина, и, говорят, из-за этих слов едва не была запрещена. Вот, пожалуй, и все ассоциации, которые вызывает у меня "Слово о полку Игореве", а вместе с ним и вся древнерусская литература!

Да, чуть не забыла, еще одно воспоминание! Много позже, во времена поздней перестройки, мне довелось посетить одну из многочисленных тусовок тех лет, спровоцированную щедрым многотысячным грантом Сороса. Акция

называлась "Невостребованная Россия". В спортзале расположенного в центре Ленинграда вуза были расставлены огромные фанерные щиты, на которые все желающие (вход в зал был абсолютно свободным) могли прикрепить кнопками краткое изложение своих невостребованных культурных проектов. Что я и сделала. Хотя суть своего проекта я теперь уже очень смутно помню: может, это было предложение издать мой перевод Селина, а может быть, и нет, не уверена. В зале, помимо щитов, стояло еще несколько столов, за которыми участники акции обсуждали самые разнообразные темы, например, философские взгляды Вернадского и их связь с мировоззрением Флоренского. Внешний вид присутствующих в зале, особенно сидевших за столами, был воистину пугающим: какие-то бомжовского вида истощенные взлохмаченные старцы и старухи, а если там и попадались личности помоложе, то выглядели они ничуть не лучше. Впрочем, видимо, так и должны были выглядеть участники акции "Невостребованная Россия". Не востребованная кем? У меня было такое ощущение, что я попала на какое-то поле, заросшее совершенно чахлыми и обреченными на вымирание растениями, от которых отвернулась сама Природа. В довершение всего там же я натолкнулась на отца моей знакомой, некогда преуспевающего советского писателя, который теперь, как я слышала, был болен раком в последней стадии. Выглядел он ужасно - я даже не решилась подойти к нему и поздороваться. Здесь впервые меня посетили мысли о смерти не только литературы, но и культуры вообще. Сами эти мысли довольно банальны, но у меня это были даже не мысли, а какое-то животное инстинктивное чувство, не раз впоследствии посещавшее меня во время всевозможных литературных презентаций и вечеров: мне, как крысе, хотелось бежать с этого корабля.

И тем не менее, прежде чем покинуть зал, я решила все-таки удостовериться, что мой культурный проект дойдет до неведомого адресата, так как судьба невзрачного листочка, прикрепленного кнопкой к фанерному щиту, вызывала у меня серьезные опасения. Его ведь в любой момент мог кто угодно сорвать - любой завистник! Поэтому я поинтересовалась у сидевшей у входа на скамеечке девушки, как зовут самого главного учредителя этой акции. Выяснилось, что это никто иной, как автор новаторского перевода "Слова о полку Игореве" Чернов - в то время уже преуспевающий корреспондент столичной газеты "Известия". На мое счастье, он и сам в этот момент оказался поблизости: девушка за столом указала мне на одутловатого мужика лет пятидесяти в свитере. Он схватил мой листочек, засунул его в красную папку, которую держал под мышкой и, пробормотав мне что-то невнятное, поспешно ретировался. Кажется, он был не очень доволен, что его идентифицировали, к тому же ему явно не хотелось чересчур меня обнадеживать. Его невзрачный свитерок и бегающие глазки мне тоже не понравились, и я не очень сожалела о непродолжительности нашего свидания. Но некоторое время спустя, поразмыслив над тем, как, не нарушая закона, при помощи нескольких столов и кусков фанеры, а также освободившегося на выходные зала можно положить себе в карман сразу несколько тысяч долларов, я поняла, что была не совсем справедлива к нему. Мне, перебивавшейся в то время с хлеба на квас, зачем-то сжегшей свой университетский диплом и вынужденной подрабатывать по ночам уборщицей в парикмахерской, эта идея показалась совсем не слабой. О, это было так внезапно!

В общем, русская литература началась со второй половины XVIII века, с Державина. Были, правда, еще некто по фамилии Третьяковский, химик Ломоносов да утонувший в сортире Барков, но неважно. Все они хоть чуточку и вышли из древнерусской темноты, но тоже по-прежнему сливаются для меня в туманной неопределенности, а их стихи по большому счету кажутся мне чистой воды графоманией.

Дело в том, что не только литература, но и русская история до начала XIX века вызывает у меня сильные сомнения. Да была ли она? Вроде как была, ведь писал же о чем-то Карамзин в своем многотомном сочинении. Не будем заглядывать слишком далеко и задаваться вопросом: нужно ли было бородатым русичам с жизнерадостными идиотическими именами Улыба и Горазд вмешательство нордических Рюриков для элементарного упорядочения своего неряшливого быта, или же они сумели обойтись без них. Не будем забираться столь далеко. Но и русская история XVIII века кажется мне какой-то не совсем настоящей: чего-то в ней явно не хватает, чтобы начать воспринимать ее до конца всерьез, как историю взрослых полноценных людей. Есть что-то в облике персонажей русской истории тех лет неестественное и несуразное: уж больно неловко и мешковато сидят на них дорогие, расшитые золотом камзолы, а напудренные белоснежные парики неизменно кажутся как бы чуточку съехавшими набок, подобранными не по размеру. Этим герои русской истории XVIII века очень сильно отличаются, например, от французских исторических персонажей того времени, на которых и камзолы и парики сидят безукоризненно. В чем тут дело? Чего не хватает всем этим персонажам? Ведь они, как и положено, участвуют в войнах, плетут интриги, танцуют на балах, совершают дворцовые перевороты... Чего же не хватает всем этим реально существовавшим, совершавшим подвиги героям, чтобы по-настоящему, до конца, целиком и полностью войти в Историю человечества? На мой взгляд, им всем и не хватает как раз того, что обычно называется "глубиной национального самосознания", выраженного в таких необязательных и ненужных в практическом отношении вещах, как Культура вообще и Литература в частности. Все-таки переживание какого-либо исторического факта или события всегда еще и сопереживание, требующее присутствия в той или иной эпохе близких тебе по духу людей, каким-то образом обозначивших это свое присутствие. Думая на эту тему, я невольно прихожу к пониманию значимости Литературы, которое, признаюсь, раньше от меня часто ускользало, например, во время того же посещения мероприятия под названием "Невостребованная Россия".

История без Литературы - это все равно что, к примеру, Петербург без Достоевского. Кому нужен был бы этот, пусть даже неплохо и симметрично построенный город, если бы не Раскольников, крадущийся с топором по заплешанной темной лестнице? Валили бы сюда косяком западные обыватели, пополняя запасы валюты в городском бюджете? А ныне при хорошо организованном туристическом бизнесе жители Петербурга могли бы жить, пожалуй, не хуже, чем арабские нефтяные шейхи. Думаю, в этом предположении нет большого преувеличения, ведь и в Париже чашка кофе в кафе, где некогда обедал Верлен, стоит франков на двадцать дороже. Самое главное, что даже никаких процентов от доходов наследникам Достоевского платить не надо, потому что получение этих доходов, в сущности, недоказуемо, об этом можно только догадываться и рассуждать, хотя лично для меня это и очевидно. В Истории необходимо присутствие глубины и полноты самосознания - одних поступков и фактов явно недостаточно! Доказательство – Библия, Книга, перевесившая богатую фактами античную историю...

Жизнь обывателя тоже бывает насыщена всевозможными событиями, катаклизмами, переживаниями и потрясениями, но все равно выглядит как-то серо и неинтересно. Ведь все это не более чем набор голых фактов, что-то вроде голых стен крупного провинциального города, не отягощенного присутствием гения. Чем была бы Флоренция без Данте и Макиавелли? О, она бы была не более привлекательна для туристов, чем расположенный в Кемеровской области город Новокузнецк! Хотя, конечно же, кемеровские шахтеры живут по-своему

насыщенной жизнью: трудятся, гибнут под завалами, требуют выплаты зарплаты... А чем была бы даже такая не совсем обычная жизнь, как жизнь Григория Распутина, если бы не незримое присутствие его современников, Блока и Кузмина, которые сами могли ничего про него не писать, но живя в то же время, как бы невольно переживали и осмыслили факты его жизни?! Да, я знаю где-то читала, – что двор Елизаветы был едва ли не самым блестящим в Европе, однако жизнь французских обывателей, имевших у себя в прошлом в качестве фона Вийона и Мольера, а в настоящем – Лакло, все равно выглядит более полноценной и насыщенной, чем жизнь их русских современников с причитаниями Ярославны, Ломоносовым, Третьяковским, Барковым и Державиным за плечами. Таким образом, русской истории XVIII века явно не хватает полноты осмысления, то есть Литературы, и этот факт снова побуждает меня усомниться в подлинности того, что себя тогда таковой называло.

В ранней молодости, еще до сожжения диплома, прежде чем отправиться в сомнительное путешествие в самые отдаленные и маргинальные сферы социума, мне довелось поработать в нескольких обывательских конторах, причем на вполне приличных должностях - в одном месте я даже дослужилась до старшего научного сотрудника. И практически во всех этих заведениях мне пришлось столкнуться с проявлениями какой-то непостижимой тяги к стихосложению со стороны личностей, которых на первый взгляд меньше всего можно было заподозрить в подобной слабости. Как правило, это были солидные пожилые мужчины с благородной сединой на висках из числа начальников отделов, а то и выше, многие из них даже успели побывать на войне или же на худой конец просто в армии и уйти в отставку в звании майоров и подполковников. Так вот, эти солидные на вид, умудренные богатым жизненным опытом мужи, несколько не смущаясь присутствием своих подчиненных и не боясь скомпрометировать себя в их глазах, могли в любой момент достать из внутреннего кармана своего пиджака тщательно сложенный листочек бумаги из ученической тетради и начать декламировать вслух записанную на нем рифмованную галиматью о природе, любви, весне и здоровье. Точнее, делали они это не совсем в любой момент, а, как правило, по случаю Восьмого марта или же дня рождения какой-нибудь сотрудницы возглавляемого ими отдела. Иногда сочиненное ими поздравительное стихотворение было написано не на бумаге, а на открытке - в этом случае, завершив декламацию, они вручали эту открытку вместе с заранее заготовленной шоколадкой или букетиком цветов виновнице торжества. У меня где-то даже до сих пор сохранилась одна такая открытка... Вот такого седеющего советского бонвивана мне почему-то всегда напоминал "старик Державин". Раньше я никогда не задумывалась почему, просто мне всегда было трудно воспринимать всерьез его написанные по всевозможным поводам оды, несмотря на очевидные достижения в области версификации в сравнении с откровенно беспомощными стихами, которые дарили мне мои начальники. "Фелица", "На взятие Варшавы", "На взятие Измаила", "Похвала сельской жизни", "Вельможа"... Что там еще, уже не помню... Теперь я понимаю, в чем тут дело. Жизнь - отдельно, служба - отдельно, чувства - отдельно, а стихи - отдельно, ни намек на хотя бы самое слабое, робкое намерение все это соединить, схватить и выразить жизнь во всей ее полноте... А это, на мой взгляд, и есть чистой воды графомания, точно такая же, в сущности, как и творчество отставных советских полковников и майоров, даже интонации те же, такое же неуклюжее безвкусное смешение жеманства и грубости. А пресловутое державинское смешение высокой и низкой лексики? Бросающаяся в глаза корявость стиля?! Вряд ли тут приходится говорить о сознательном стилистическом приеме, скорее, это нечто вроде неловко сидящих на головах русских дворян XVIII века париков, явление

того же порядка. И напрасно Ходасевич пытается романтизировать биографию Державина, описывая его карточные долги, кутежи и воинские подвиги, его книга о Державине - это всего лишь кокетливый жест эстета, поверхностный парадокс. С таким же успехом можно садиться за написание биографий советских чиновников вроде Александра Фадеева или Михаила Светлова – никто не заставит меня открыть эти книги!... В общем, по большому счету русская литература и в самом конце XVIII века еще не началась!

Трудно сказать, что заставило стареющего Державина расплакаться на выпускном экзамене в Лицее. Что увидел он в юном Пушкине? А может быть, все гораздо проще, и это были слезы впавшего в маразм старика? Как бы то ни было, но эта встреча мало напоминает встречу умудренного опытом Верлена с юным Рембо. Перечитывая "Лицейским садам", не нахожу в них ничего, кроме неумеренной напыщенности и ложного пафоса, ну и еще более или менее умелой версификации, бойкого рифмоплетства. Вот такого более умелого, чем он сам, версификатора, должно быть, и увидел в Пушкине Державин, то есть опять-таки графомана, продолжателя графоманской традиции. И по большому счету не ошибся!

Пушкин, конечно, не кажется мне столь неотесанным и грубым, как поэты XVIII века, но он все равно сохранил в себе их двойственность. Характеризовал же он адресата своих стихов "Я помню чудное мгновенье" Анну Керн как "вавилонскую шлюху", причем фактически одновременно со стихом - в письме. Кому-то этот факт может показаться даже забавным. Но тот же Лермонтов, к примеру, обязательно постарался бы выразить всю полноту своих ощущений от объекта вдохновения в чем-нибудь одном: либо в стихотворении, либо в письме. В том-то все и дело, с этой тяги к полноте, с присутствия самого этого стремления выразить, схватить все в одном и начинается для меня Литература. А все прочее – графомания!

Так стоит ли удивляться, что в XX веке советские литературные чиновники вновь так воспылали любовью к Пушкину и вцепились в него мертвой хваткой?! Не могу избавиться от ощущения, что после 17-го года Россия снова впала в состояние... нет, не "нового Средневековья", а "новой древнерусскости". Тем же грубым жеманством русского XVIII века веет ото всех этих новых гораздов и улыбок в съехавших набок напудренных париках, пьющих, буянящих и бьющих друг другу физиономии в буфетах домов писателей. Они так же проигрываются в картишки, ходят на охоту и рыбалку, заводят любовниц, трахаются и даже воют, сочиняя на досуге стихи и прозу по всевозможным случаям и поводам. Но почему-то мне все это неинтересно! И Пушкин их мне тоже неинтересен... И можно сколько угодно повторять, что все это "тоже наша история", все равно "все это" никогда нашей историей уже не станет: не хватает всем этим замечательным фактам и подвигам полноты осмысления. Порвалась связь времен, увы! А некоторые звенья из этой цепочки и вовсе выпадают. Ну, в 30-е годы в качестве Рюрика еще выступил француз Селин, посетив Ленинград, кое-что осмыслив и упорядочив в русском быте тех лет в своих до сих пор запрещенных во Франции "Безделицах для погрома". Правда, для большей полноты мне бы очень хотелось найти еще и докладные записки его гида Натали, которые, наверняка, где-нибудь и сейчас пылятся в архивах ФСБ. Интерес у меня к этим документам сугубо филологический, литературоведческий и эстетический. Два взгляда на одни и те же факты плюс еще какие-нибудь данные наружного наблюдения - чем не "Расемон"!

Иногда я вообще ловлю себя на мысли, что напрасно я стала писательницей, начала сочинять романы, теперь в результате все меня считают за полную идиотку. А ведь я вполне могла бы стать ученым, филологом, защитить

диссертацию и даже сделать научное открытие. Например, обнаружить где-нибудь в архиве, на сей раз питерского дурдома, блокадные дневники Хармса, не сомневаюсь, с очень оптимистическим названием: "Надежда умирает последней" (по имени санитарки). Тогда бы это полностью выпавшее из русской истории звено тоже восстановилось... А так один сплошной мрак и непроницаемая ночь. "Все забыты и всё забыто!" Пятидесятые годы и того хуже. Единственное яркое событие – самоубийство Александра Фадеева! Но и оно не заставит меня сесть за чтение его биографии – извините, что повторяюсь. Недостаточно просто пить, чтобы стать хотя бы Есениным. Нет, напрасно все-таки обыватели так не любят гениев. Вот тот же Чернов, к примеру, возьмет и подаст на меня в суд. А ведь, может быть, я – это его шанс попасть в Историю, по крайней мере в историю литературы.

Словом, для меня русская литература начинается с Лермонтова, с его: "О как мне хочется смутить веселость их, и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью"... Был, правда, еще Жуковский - очень странный тип, сын турчанки, воспитатель царской семьи; кажется, он был "из наших", "в теме"...

Несколько лет назад по телевизору один из воротил отечественного шоу-бизнеса – к сожалению, не помню его фамилию, помню только, что это был мужик с совершенно квадратной головой - так вот он неожиданно для меня тогда заявил, что если артист придерживается традиционной сексуальной ориентации, то он его вообще не интересуется, то есть это уже и не артист вовсе, а так... Тогда я, помню, рассмеялась, а теперь понимаю, что в чем-то он был прав. В чем - сказать не могу, только он невольно схватил что-то очень важное и существенное для культуры вообще, а не только для шоу-бизнеса. Тот же Жуковский, к примеру, в русской литературе, в сущности, тоже не отметился ничем, кроме более или менее умелой версификации, но даже в советских учебниках литературы, где он неизменно находился где-то между Пушкиным и Державиным, всегда все равно, несмотря ни на что, был окутан для меня какой-то загадочной романтической дымкой, то есть и рядом с ними, даже между них, он почему-то всегда оставался как бы чуточку "чужим среди своих". Так, во всяком случае, мне казалось еще в детстве. Хотя смысл переведенной им баллады "Лесной царь" до сих пор, спустя годы, после многократных прочтений, так и остался для меня непроясненным. "Ездок погоняет, ездок доскакал... В руках его мертвый младенец лежал." Почему вдруг умер младенец? Придется все-таки обратиться к первоисточнику!

Конечно, существовал еще и Баратынский. С ним тоже не все ясно. Темная лошадка. Может, и он того?.. Во всяком случае, в советских учебниках он всегда находился в тени, в тени "великого Пушкина". На нем тоже лежала печать какой-то недосказанности, недоговоренности, а значит, таинственности. Автор второго плана, серебряный поэт золотого века русской поэзии. Редкий случай, а в русской литературе вообще первый – Баратынский был повернут к читателям своими стихами, - получалось, что его поэзия важнее фактов его жизни! Удивительно! Но потом все прояснилось. Оказывается, в юности он с товарищами совершил кражу со взломом, причем не шуточную, а на сумму в пятьсот рублей. Очень долго объяснять, сколько стоил тогда рубль, да я и сама точно не помню, но стоил он немало, это уж точно. К тому же Баратынский и его поделники взяли деньги вместе с золоченой табакеркой, в которой они лежали. И все под влиянием "Разбойников" Шиллера. Естественно, не Державина же! Следствием этого поступка стало исключение из Пажеского корпуса, а также запрет на службу офицером. В результате он вынужден был появляться на всех великосветских тусовках и балах в солдатской шинели, совсем как Грушницкий, точнее, тот, кому Грушницкий хотел подражать. Очень романтично!

В общем, педагогам и составителям учебников было что скрывать от подростков за стихами.

Пример Баратынского, да, пожалуй, и Жуковского тоже, наводит меня на мысль, что настоящий поэт обязательно должен быть отмечен каким-нибудь тайным пороком, в котором ему по-настоящему мучительно стыдно и практически невозможно признаться. Очень важно, чтобы писателю было, что скрывать. Без этого тайного порока литература – как пища без приправы. В этом, я думаю, и кроется разгадка парадоксальной непереводаемости на другие языки лирики Пушкина. Все очень просто - переводить-то, собственно, нечего. Со стороны-то виднее! Подумайте, зачем человеку, которому не грозит ни плохая оценка в школе, ни наказание по партийной линии, ни исключение из Союза писателей и тому подобное, зачем ему читать подобную плоскую чушь:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

– пусть даже в самом замечательном, точном переводе! Нормальный, свободный от принуждения человек этого, на мой взгляд, читать не будет. Если, конечно, он уже не впал в полный маразм, как "старик Державин". В "Чудном мгновении" нет ни грамма поэзии! Потому что раз уж ты полюбил "вавилонскую шлюху", то нечего об этом трепать: "Молчи, скрывайся и тай"! Поэзия должна быть не глуповата, а молчалива. В детстве мы с подружкой тоже, кстати, воровали краски и пластмассовых зайчиков в магазине, причем безо всякого влияния Баратынского или тем более Шиллера, который к тому времени давно вышел из моды. А о таком писателе, как Жене, я тогда даже еще и не слышала. То есть мы действовали исключительно из корыстных побуждений. В конце концов нас поймали и отправили в милицию. Но меня даже из школы не исключили, просто дома больно ударили резиновым шлангом по голове.

Был еще, кажется, такой Языков, тоже на заднем плане. Почти ничего о нем не помню. Кажется, он перед смертью велел накрыть столы, пригласил знакомых, в общем, устроил "большую жратву". Так и умер!

Батюшков был серьезно болен, страдал головой. Кюхельбекер, как мне кажется, тоже. И если внимательно перечитать книгу о нем Тынянова, но не в детстве, а во взрослом возрасте, то можно в этом лишний раз убедиться. Никаких сомнений не остается. Но тем не менее Кюхельбекер был признан вменяемым и надолго упрятан за решетку. Несправедливо!

Вяземский...

А может быть, русская литература началась с Гоголя?! Гоголь – бесспорно, самая загадочная фигура во всей русской литературе. Редкий, с трудом поддающийся обработке алмаз. В отличие от того же Пушкина ему несколько не повредило даже преклонение коммунистов. И в самом деле, моралисты и либертены, бедные и богатые, умные и не очень, западники и славянофилы, мизантропы и филантропы, правые и левые, и даже православные и сатанисты в равной мере и по сей день находят в его книгах все, чего ищут. В то время как недовольство Достоевским, например, в рядах его соотечественников ширится и растет, авторитет Гоголя остается непоколебимым. Но никому и в голову не придет назвать его "наше все". Скорее, он напоминает растущую в отдалении ото всех высоко на холме вечнозеленую сосну, равнодушно взирающую на смену времен года и погодных условий и остающуюся при этом абсолютно неизменной, точнее, продолжающую свой скрытый от постороннего взгляда медленный рост – прошу прощения за этот невольный прозаический пересказ известного

стихотворения. Единственным, кто решился наехать на Гоголя, был Розанов, точнее, его глубоко верующая жена, которой очень не нравился его смех. Но кому интересно мнение какой-то домохозяйки?! Сам Розанов, видимо, желая угодить жене, заподозрил Гоголя в некрофилии, его смущала некоторая странность женских образов, например в "Вие": панночка в гробу, и вообще... Ну и что? Зато коммунисты видели в нем предтечу соцреализма и очень ценили его жизнерадостный смех и исторический оптимизм, особенно в "Тарасе Бульбе", где отец убивает сына, повинувшись чувству долга. Первая "оптимистическая трагедия" в русской литературе! Любовь Яровая и Павлик Морозов имеют возможность сослаться на классика. Ну и что, что отец убивает сына? Зато Гоголь написал "Нос", убедительно подкрепив это свое сочинение собственным впечатляющим профилем. К тому же, говорят, в быту это был очень странный человек - не мог сидеть за общим столом с посторонними, не говоря уже о сожженной рукописи. В общем, несмотря на то, что у него отец убивает сына, а не наоборот, как положено нормальному пациенту психоаналитика, именно Гоголь внес самый существенный вклад в то, что русские писатели, да и вообще все русские, в конце концов стали любимыми пациентами доктора Фрейда. С ним в этом отношении может поспорить разве что Достоевский.

Ах да, ну конечно, был же еще Грибоедов! Его мать не хотела, чтобы ее сын отвлекался на занятия литературой, настаивала, чтобы он полностью посвятил себя дипломатической карьере. Совсем как моя мамаша, которая не понимает, чем я занимаюсь, и моих книг не читает - к счастью!.. Что подделаешь, в каждом аристократе есть что-то от обывателя, а в обывателе - от аристократа. Точно так же, как и в каждом гении есть что-то от графомана, а в графомане - от гения, какое-то чисто внешнее сходство, для поверхностного взгляда. И Грибоедов, вслед за Гоголем, в своем творчестве сделал упор на этом сходстве аристократов с обывателями.

Как бы то ни было, но сам он родился в аристократической семье, и его мать желала, чтобы он полностью посвятил себя службе, как и положено аристократу. В общем, она надеялась, что ее сын станет Молчалиным, а тот предпочел стать Чацким. Но в конце концов он все равно погиб, растерзанный разъяренной толпой, то есть не от ума, а на службе, - в сущности, по вине собственной матери. Представляю, что стало бы со мной, если бы я слушала свою мамашу! Была бы я сейчас вторым секретарем в представительстве Морфлота где-нибудь в Луанде, а может, и того хуже, в Исламабаде...

Но был ли на самом деле умен Чацкий? Пушкин, как известно, сомневался в его уме. Белинский тоже. Помнится, этот вопрос порой даже делали темой школьных сочинений. Очевидно, считалось, что если сам Пушкин усомнился в уме Чацкого, считай, Грибоедова, раз уж тот назвал свою пьесу "Горе от ума", то и любой советский школьник тоже имеет право в их уме усомниться. И самые ушлые ученики выражали свое сомнение в уме Чацкого. Как правило, это были мальчики из числа тех, кто пользовался особым расположением учительницы литературы. Такое сомнение гарантировало им оценку "отлично". Я себе ничего подобного позволить не могла. Слишком большой риск! Меня и так несколько раз ловили в туалете с сигаретой... Да и сейчас я себе все еще подобного сомнения позволить не могу, в силу ряда обстоятельств.

Нет, забавно все-таки - всех в течение ста лет буквально клинило на "Бесах" и Достоевском, а к власти в России в самый что ни на есть переломный момент ее истории взяли и пришли молчалины! И кое-кто из тех, кто считал себя самым умным, уже кричит: "Карету мне, карету!" И кто бы мог подумать, что не Достоевский, а Грибоедов вдруг окажется настоящим пророком?! А ведь кто-кто,

но этот остроумный юноша в очечках, казалось бы, меньше всего в русской литературе претендовал на эту роль!

Но если уж на то пошло, то подлинный герой и должен быть молчалив. Дантес например. Это мой любимый герой во всей русской литературе, он ведь был вынужден молчать, хотя бы потому, что не знал русского. Не знаю, как по-французски, но по-русски он молчал, это точно. Иногда я даже всерьез думаю, что именно с Дантеса и началась русская литература, с его молчания. Французский аристократ, окруженный достаточным количеством культурных знаков в лице Вийона, Рабле, Мольера, Лакло, мог себе это позволить. Молчание – это знак полноты. Хотя женщинам, я думаю, мой выбор не понравится, потому что Дантес, в отличие от Молчалина, был еще и красив.

А женщины красоту не выносят, она их раздражает, они слишком слабы и вынуждены бороться за существование, подчиняться грубой силе. Правда, не стоит говорить им об этом, лучше подарите юной жене лысеющего бесформенного банкира букет хризантем, - тем самым вы ей ужасно польстите, признаете за ней право любить эти бесполезные, но красивые цветы. Дайте ей эту игрушку, раз уж она не может себе позволить подобного в жизни. Но я и не думаю осуждать женщин, скорее, я им сочувствую - им и их нелегкой женской доле. Как сочувствую, например, Ахмадулиной, вынужденной петь дифирамбы уродливому, но конъюнктурному Пушкину, я даже готова была бы сама, лично, преподнести ей букет цветов, так как не понимаю, чем, собственно, она отличается от несчастной жены банкира или советского номенклатурного работника. Впрочем, так ли уж они несчастны? В сравнении с кем? Со мной, что ли? И все-таки только императрица Екатерина могла позволить себе царственным жестом выбирать хороших офицеров. Я об этом.

Вот и я вопреки всему позволю себе предпочесть Дантеса Пушкину, хотя он сам, насколько я понимаю, предпочитал мужчин. Его женитьба на невзрачной княжне, якобы хранящей в своей внешности отблеск-воспоминание о своей сестре, выглядит слишком неземной и романтической, чтобы в реальной жизни и в самом деле быть таковой. Если отнестись к этому факту всерьез, то Дантес невольно превращается в опереточного персонажа, героя "мыльной оперы". Но я так не думаю. Скорее, в его поступке сквозит равнодушие к женщинам, и Дантесу, не сомневаюсь, в сущности, было все равно, на ком жениться, так как женщины его особенно не интересовали. Так в подобных случаях чаще всего и бывает! Кстати, это не просто мои домыслы, существуют вполне определенные документальные свидетельства. И ничего удивительного в этом нет. Дантес был слишком красив, а красота – это сугубо мужское дело. К тому же нет, мне кажется, ничего более банального и пошлого в этом мире, чем любовь мужчины к женщине и наоборот. Не представляю даже, что нужно было бы сейчас предпринять, чтобы хоть чуть-чуть оживить это плоское чувство. "Кубанские казаки" в сравнении с "Мужчиной и женщиной" Лелюша выглядят просто нетленным шедевром! Хотя лично мне "Казаки" совсем не нравятся, я ведь воспитана на Тарковском.

В феминизм, впрочем, я тоже не верю, так как это все теории, а на практике женщины ревнуют и ненавидят друг друга лютой ненавистью, я в этом не сомневаюсь и не раз убеждалась на собственном опыте. Так что женщина в современной культуре обречена. Ей лучше вообще сидеть и не высовываться, а женщина, сделавшая ставку на красоту, – обречена вдвойне. Ну и ладно. Я бы и сама литературу женщинам не доверила. Они бы сразу все повыскакивали замуж за фадеевых и пушкиных. А я все-таки предпочитаю Дантеса!

У меня даже есть мечта когда-нибудь снять о нем фильм. Пусть бы он так и назывался - "Дантес". Никакого насилия или порнухи, только легкие поцелуи,

балы, в общем, самая обычная костюмная драма, даже мелодрама, не обязательно малобюджетная, с некоторым размахом, с деталями эпохи... А в остальном - самая обычная жизнь обывателя-аристократа. Вот это был бы абсолютно молчаливый и по-настоящему непереводаемый на другие языки фильм! Не сомневаюсь, что его бы почти сразу же запретили. Первый протест пришел бы от "Женщин России", второй - от правозащитников из Пен-клуба. Ну а потом уже, как и положено, - от патриарха, затем - муфтия...

В моих рассуждениях есть какое-то слабое звено, они строятся на недоказанных предположениях и неопределенных понятиях. Например, что такое гениальность? Вообще-то, я не сторонница методологических уточнений. Я считаю, если долго употреблять какое-либо слово, то взрослые люди в конце концов сами разберутся, что ты имеешь в виду. Если же все уточнять, то так твоя машина вообще не сдвинется, будет вечно буксовать на одном месте. Как это чаще всего и происходит с философами. А мне всегда хочется слишком многое сказать... Однако в данном случае я все-таки могу дать точное определение. Оно пришло мне в голову в тот самый момент, когда я впервые прочитала известное высказывание Ницше о величии как о неразоблаченном преступлении. Так вот, *гений - это обыватель, которому удалось убедить толпу в собственной гениальности*. В этом случае все перед ним преклоняются, и он остается в веках. Если же толпе удастся уличить гения в том, что он обыватель, то его предадут забвению.

Такое определение мне очень долго нравилось и даже казалось абсолютно неопровержимым, однако недавно мне впервые пришлось в нем усомниться. И произошло это прошлым летом в Париже, на грандиозной тусовке во французской Национальной библиотеке. Чествовали Селина, точнее, отмечали приобретение библиотекой рукописи Селина за рекордную для XX века сумму - 1,6 млн долларов. Среди прочего в программе вечера была демонстрация документального фильма о Селине, снятого для телевидения буквально за год до его смерти. Сам Селин фильма так и не увидел, он вышел на экраны только через четыре года после его смерти. В сущности, это был даже не фильм, а заснятое на пленку интервью. Чуть позже, тоже в Париже, я встретила старушку-писательницу, которой каким-то непонятным для меня образом довелось присутствовать при этом интервью. По ее словам, Селин поначалу был вроде бы даже тронут тем, что его хотят снять для телевидения, но после первых же вопросов впал в ярость и едва не выгнал интервьюера, а затем опять смягчился и согласился продолжить беседу. Сама старушка-писательница была автором многочисленных слащавых биографий известных деятелей французской культуры - парочку увесистых томов она дала мне почитать. Узнав, что я не только перевожу Селина, но во многом разделяю его взгляды, она выразила искреннее сожаление, что такое разочарование в людях постигло меня в столь молодом (видимо, в сравнении с ней) возрасте, так как Селин, по ее мнению, был законченным параноиком.

Впрочем, никакой старушки, точнее, никакой молодой девушки, какой она в то время должна была быть, в фильме я не заметила. Да и бравший интервью журналист мелькнул в кадре всего пару раз. На экране был один Селин. У себя дома, в Медоне, истощенный, с лихорадочным взглядом, весь замотанный в какое-то тряпье, в общем, в точности такой, каким я его себе и представляла, как бы сошедший со страниц своих поздних книг. При каждом вопросе журналиста его лицо принимало сосредоточенное выражение, он на несколько секунд задумывался, но все равно неизменно всякий раз отвечал невпопад. Например, на вопрос о том, где он впервые увидел природу, последовал ответ: "На кладбище", - ну и так далее. После нескольких столь неожиданных ответов среди зрителей

послышался смех и по ходу интервью этот смех становился все более дружным и громким.

А надо сказать, что публика в зале собралась очень серьезная и напыщенная – кажется, там присутствовала вся Французская академия. Кое-кого я даже заочно знала, например, директора библиотеки по фамилии Реми, во всяком случае, это имя мне показалось знакомым, – вроде бы его печатали в "Иностранной литературе", хотя я и не уверена, потому что не держала в руках этот журнал уже лет пятнадцать. Он был в пиджаке и галстук, и еще в шарфе, но не тоненьком шелковом, как у академика Пиотровского, а огромном шерстяном, свисающем почти до колен. Кроме того, в фойе перед началом фильма я натолкнулась на главу Гонкуровской академии Франсуа Нурирье. Седой и сгорбленный, он шел, стуча палкой и уставившись прямо перед собой ничего не видящим взглядом. Меня он, естественно, не узнал, хотя я встречалась с ним четыре года назад во время своего прошлого приезда в Париж. Там же в фойе я натолкнулась на Режи Дефорж, автора эротических новелл, французскую издательницу Лимонова. Помню, мне как-то даже предложили перевести один из ее рассказов, в котором голая баба всю ночь бегала по универмагу, и пришедшие утром уборщики так и застали ее в negligé... Но я так и не перевела этот рассказ, что-то в последний момент сорвалось. С ней самой я тоже была немного знакома, но на сей раз я от нее даже невольно отшатнулась, настолько у нее было потрепанное испитое лицо с вытаращенными безумными глазами. Четыре года назад она выглядела гораздо лучше. Во время демонстрации фильма, кстати, я сидела рядом с сирийкой, которая, собственно, и дала деньги библиотеке на приобретение рукописи. Я знала, что это был уже не первый ее жест доброй воли, до этого она также дала деньги еще и на приобретение рукописи "Замогильных записок" Шатобриана. Это была довольно молодая баба со светлыми волосами в сильно декольтированном вечернем платье. Она сидела сразу же слева от меня, а слева от нее соответственно сидел директор Национальной библиотеки Реми. Кажется, я оказалась на этом почетном месте по чистой случайности, хотя не знаю, может, и нет: мой спутник-француз, пригласивший меня на вечер, тоже был не последним человеком в этой среде. Естественно, я сама как переводчица Селина считала, что занимаю место в первом ряду по праву и вполне его заслужила. Однако сразу же после окончания торжественной официальной части этого мероприятия меня постигло сильное разочарование. Дело в том, что после демонстрации фильма, как это обычно и бывает в подобных случаях, должен был еще и состояться званый обед. И я, в течение всего вечера сидевшая в первом ряду рядом с непосредственной виновницей торжества и тем самым невольно приковывавшая к себе взгляды всего зала, была совершенно уверена, что уж меня-то, так много сделавшую для популяризации Селина в России, обязательно на этот обед пригласят. А кого же еще туда приглашать? Не этих же зажавшихся членов Французской академии, которые не имели к Селину, в сущности, никакого отношения, тем более что и сам Селин при жизни неоднократно над этой Академией издевался. Я настолько в этом не сомневалась, что даже утром того дня не стала завтракать – зачем тратить драгоценную валюту, если вечером ты можешь хорошо поесть за чужой счет? Да и лишние калории мне были ни к чему... Увы, меня ждало глубокое разочарование. Двери званого обеда захлопнулись перед самым моим носом, и я, голодная, оказалась на улице.

На обед пошли только сытые и осмеянные Селином члены Французской академии вместе с моим галантным спутником-французом – он, собственно, меня и подставил.

Оказавшись на улице, я невольно вспомнила Лермонтова: "Когда безмозглою толпою окружен..." А что мне оставалось?

Бесспорно, во всей этой ситуации было нечто банальное. Оборванный нищий гений на экране и сытая хихикающая толпа в зале. Естественно, никто и не думал смеяться над Селином, все смеялись исключительно от восторга, это был смех умиления перед гением. Но какая разница! Конечно, если бы все прошло гладко и дверь обеденного зала не захлопнулась перед самым моим носом, я бы, возможно, так и ограничилась этим отвлеченным и не слишком оригинальным противопоставлением толпы и гения, а мое желание "смутить веселость" толпы не было бы столь острым и напряженным, однако эта маленькая неудача невольно заставила меня гораздо глубже пережить всю ситуацию. Именно эта неудача сделала тот вечер по-настоящему незабываемым событием в моей жизни, так как в данном событии, как в капле воды, отразилась, в сущности, вся моя жизнь. Я тогда это вдруг поняла. Ну, естественно, и жизнь Селина, само собой. В общем, образ захлопнувшейся перед моим носом двери был в высшей степени символичен!

И в самом деле, в тот памятный вечер я невольно стала участницей классического фокуса-покуса, который деятелям современной культуры почему-то больше всего нравится показывать доверчивым зрителям. От этой частоты показа фокус, конечно, сильно примелькался, но почему-то - о, это просто удивительно! - так и остается неразгаданным до конца до сих пор. А в тот раз деятели французской культуры просто превзошли самих себя. Оборванный истощенный гений - на экране, в зрительном зале - неоднократно осмеянные им члены Академии, в которую он сам, кстати, так и не вступил, - и астрономическая рекордная сумма, как бы врученная как бы присутствующему в зале виртуальному гению, чтобы он наконец-то мог купить себе немного морковки и заплатить за электричество... И все очень демократично! В первом ряду, у всех на виду, рядом с миллионершей-меценатшей сидит русская переводчица Селина, по чистой случайности, возможно... Но она, эта переводчица, тоже, видимо, по чистой случайности чуть позже будет не допущена к обеденному столу, хотя она сама вроде бы как и не прочь поесть, потому что она ведь из голодной и нищей России. Но на обед идут только члены Академии, не имеющие к подлинному виновнику торжества абсолютно никакого отношения. В общем, нарочно не придумаешь!

Однако во всей этой череде видимых случайностей есть своя логика, причем эту логику вполне можно было бы даже назвать железной. И в соответствии с этой железной логикой гению не должно доставаться ничего материального, только виртуальное, то есть духовное. А так как переводчик Селина в каком-то смысле является носителем его духа, хотя бы как его интерпретатор на русском и т.п., то и ему по возможности не должно достаться ни одного кусочка с обеденного стола. В этом, собственно, и заключается смысл фокуса, невольной участницей которого я стала. Кесарю - кесарево, а гению - гениево! То есть ничего материального, иначе весь этот фокус теряет смысл.

Во время демонстрации фильма на замечание интервьюера по поводу его репутации мизантропа и антисемита Селин ответил опять невпопад: "Ну это просто потому, что я много работаю!" Этот неожиданный ответ на столь щекотливый вопрос вызвал, кажется, самый громкий и умильный смех в зале и даже сорвал аплодисменты. После этого публика окончательно раскрепостилась. Вот и я не попала на обед, потому что слишком много работала - переводила Селина...

Что ж, деньги - деньгами, обед - обедом, зато гению достаются смех, слезы умиления и аплодисменты. В том-то и дело, что не достаются! Аплодисменты и смех тоже достались только виртуальному Селину на экране, а сам он при жизни не увидел даже этого своего интервью, так как интервью, заметьте, вышло на

экраны телевизоров только через четыре года после его смерти. Кесарю - кесарево, а гению - ничего! Пустота! Вот вам и весь фокус, ловкость рук и никакого мошенничества!

А видели бы вы, как после окончания вечера по мере приближения обеда постепенно стали изменяться лица только что веселившихся от души зрителей, особенно членов Академии - главных претендентов на кусок праздничного пирога. От бывшего веселья и благодушия не осталось и следа! Никто больше не кивал мне приветливо при встрече, как перед началом мероприятия, все сразу же отводило глаза в сторону, и выражение лиц у всех тоже теперь стало каким-то чрезвычайно серьезным и сосредоточенным. Дело, конечно, было не только в еде. На обеде, помимо сирийской миллионерши и академиков, должны были присутствовать еще и другие важные люди: банкиры, а может быть, и члены правительства... Даже мой спутник тоже весь как-то занервничал и помрачнел, а правая половина его лица стала дергаться от нервного тика. По моим наблюдениям, такое с ним случалось только в особо напряженные моменты жизни. Мало того, вскоре с ним приключилось нечто вроде небольшой истерики, а это и вовсе стало для меня полной неожиданностью.

Дело в том, что, как только мы покинули помещение Национальной библиотеки, мой знакомый сразу же отправился в паркинг за своим БМВ, а мне поручил дожидаться двух своих приятелей, которые следовали за нами в некотором отдалении и которых он обещал подбросить на машине в другой конец Парижа, туда, где и должен был в конце концов состояться долгожданный обед. Одного из этих двоих он мне уже представил: это был известный французский писатель с итальянской фамилией, тоже новоиспеченный член Французской академии. Имени второго я не знала. Но как-то так получилось, что под впечатлением от просмотренного фильма я стояла и смотрела на темнеющее вечернее небо, размышляя о печальной участи Селина, а эти двое, весело и непринужденно болтая между собой, прошли мимо, не обратив на меня никакого внимания. Короче говоря, я их упустила. Тут как раз подъехал БМВ, и с моим другом приключилась настоящая истерика. Он прямо так и выкрикнул: "Плакала моя Академия!" – или что-то в этом роде. Меня же он назвал "русской идиоткой", подкрепив эти слова еще и при помощи мимики, выкатив глаза и высунув язык, чтобы до меня лучше дошло... Надо знать не только особенности воспитания и солидного положения моего французского знакомого, но и особенности французского менталитета, их врожденную галантность, чтобы оценить серьезность моего проступка, да и вообще всей ситуации в целом.

Все было очень просто. Мой знакомый уже подал документы для поступления в Академию, но на первом голосовании его прокатили, ему не хватило каких-то шести голосов. Теперь он жил в предвкушении повторного голосования, и голоса этих двоих, видимо, были ему очень важны. Вся эта сцена разыгралась уже в машине. К счастью, за первым же поворотом мы обнаружили тех, кого я упустила. Они шли, все так же непринужденно и весело болтая между собой. Вообще, я думаю, они вполне могли бы поймать себе и такси. Короче, моя оплошность была исправлена. Тем не менее мой спутник высадил меня у ближайшей станции метро. Это было как бы моим шуточным наказанием, во всяком случае, он постарался, воспользовавшись случаем, это так представить, хотя я знала, что у него был лишний пригласительный билет, и он даже несколько раз во время вечера недвусмысленно мне на это намекал. Однако все решилось не в мою пользу, и я очутилась на улице. И дверца БМВ, а вместе с ней и двери обеденного зала захлопнулись перед самым моим носом.

Не могу сказать, что я была сильно расстроена, более того, я чувствовала даже некоторое удовлетворение, так как, может быть, впервые в своей жизни

почувствовала себя настоящим гением, которому досталась самая настоящая взаправдашняя пустота, маленький кусочек Вечности. Кроме того, мне удалось подслушать адресованные Селину умильный смех и аплодисменты, и я даже могла их мысленно в перспективе спроецировать на себя. В общем, должна сказать, это ни с чем не сравнимое чувство. При желании каждый может попробовать испытать нечто подобное, это никому не запрещено. Было бы желание! Вот у моего спутника такого желания явно не было... Кстати, я совсем не держу на него зла, это очень милый человек, и я многим ему обязана. Просто я знаю, что он не особенно претендует на Вечность, в Вечности ему ничего не светит и, кажется, он даже сам это немного понимает, догадывается об этом. Поэтому уличая его в обывательских устремлениях, я не наношу ему особого ущерба в глазах окружающих. То есть придавая огласке эту историю, я вовсе не веду себя как неблагодарная свинья - он ведь ничего не теряет! Просто мне было очень важно подробно разобрать и понять механизм этого затертого и примелькавшегося фокуса с гением и пустотой.

Однако парадоксальность описанной выше ситуации заключается еще и в том, что Селин меньше всего подходит под придуманное мной определение гения как обывателя, которому удалось убедить толпу и т.п. Я имею в виду ту самую формулу, которую я изобрела и которая долгое время мне очень нравилась. Мир культуры мне, знаете, всегда представлялся таким большим театром, не оперным, а просто большим по размерам, в котором на сцене всегда находится какой-нибудь претендент на роль гения, а за ним из зала внимательно наблюдают строгие зрители. Находящийся на сцене актер должен произвести такое впечатление на зрителей, чтобы они не сомневались в том, что он, например, Гамлет, не только на сцене, но и за кулисами, то есть в быту, в обычной жизни. И сцена в этом театре не совсем обычная, а такая круглая и вращающаяся, и на ней к тому же постоянно меняют декорации. Одни уехали - тут же выезжают другие, так что актеру приходится очень быстро двигаться, только на мгновение исчезать за кулисами и опять выскакивать в новом наряде и новой роли. Ну совсем как Райкин на документальных кадрах, которые запечатлели, как он на ходу, весь запыхавшийся, выскакивает за кулисы, переодевается, натягивая на себя другой парик, маску и пиджак. Только вот претендент на роль гения ни в коем случае не должен допускать такой съемки за кулисами, потому что если зрители в зале вдруг хотя бы на мгновение заподозрят в нем обычного человека, то есть застанут его в момент переодевания между ролями... Даже если это произойдет не по его вине, а по техническим причинам: например, вращающаяся сцена вдруг начнет вращаться быстрее или, наоборот, притормозит - тогда все! Прощай, Вечность! В общем, претендент на роль гения вынужден крутиться в буквальном смысле этого слова как белка в колесе. И очень редко кому в течение всей своей жизни удается выдержать подобный темп.

Мне тут недавно позвонил один юный поэт и, не скрывая некоторого злорадства в голосе, сообщил, что он приехал в Петербург подписать договор с неким крупным издательством на многотысячное издание своей книги. А когда я ему сказала, что у меня тоже недавно вышел новый роман, то он первым делом поинтересовался: "А в какой обложке? В твердой или мягкой?" У него вот книга выходит в твердом переплете! А моя вышла в мягком, увы, и совсем крошечным тиражом... У обывателей всегда так: если один получает зарплату четыреста долларов, а другой - всего сто, значит, первый считает себя ровно в четыре раза умнее другого. А какая у тебя дача: в два или в три этажа? И правильно, в общем-то! Должны же существовать хоть какие-то объективные критерии! Только вот - ничего не могу с собой поделать! С этого момента я очень сильно усомнилась в гениальности юного поэта. В сущности, он тоже довольно милый молодой

человек, и я совсем неплохо к нему отношусь, точно так же как и к своему французскому другу, но в этом вопросе есть нечто, что от меня самой совсем не зависит, какая-то онтология, что ли... Если поэта уличили в чем-либо обывательском... Все! Прощай, Вечность! С этого самого момента такой поэт может полностью расслабиться и больше ни о чем не волноваться. Так, собственно, и делали все советские писатели. Да так, собственно, ведут себя и все современные российские писатели. Они все тоже чувствуют себя совершенно свободно и раскованно. И среди них есть тоже немало очень симпатичных и милых людей. Просто в игру, о которой я говорю, они больше не играют.

Однако Селин - это совсем другое дело! В применении к нему все мои построения неожиданно рушатся и рассыпаются, как карточный домик. Селин всю свою жизнь только и делал, что заботился о самых обычных обывательских вещах: деньгах, еде, жене, известности... Он даже к другим испытывал самую обычную обывательскую зависть: завидовал, например, тем, у кого есть собственный дом и служанка, которых он сам лишился. И он, не стесняясь, в открытую об этом говорит. Об этом, собственно, все его книги. Он даже к Гонкуровской премии отнесся совершенно по-обывательски: всерьез, без каких-либо романтических поз, сводил нужных людей в ресторан, в общем, у него все уже было схвачено, все на мази, и только в самый последний момент что-то не сработало и, образно говоря, дверь к обывательскому благополучию и процветанию тоже захлопнулась перед самым его носом. Однако, несмотря на свой изможденный и оборванный вид, в котором он предстал передо мной в упомянутом выше фильме, Селин меньше всего напоминает мне участника какой-нибудь акции под названием "Невостребованная Франция". Уж кого-кого, а его я меньше всего могу себе представить сидящим за столом и обсуждающим связь мировоззрения Пуанкаре с философией Паскаля! Весь свой ум, всю свою сообразительность, весь свой талант он употребил на то, чтобы не попадаться на подобные фокусы. Всю свою жизнь он мечтал исключительно о чем-то материальном, а в результате получил ничто, то есть пустоту, Вечность, о которой так мечтают поэты.

Именно поэтому меня так и задел за живое этот вроде бы привычный и примелькавшийся трюк, невольной участницей которого я стала во французской Национальной библиотеке. Мне сразу же показалось, что, несмотря на стандартность ситуации, главная карта в этом фокусе легла как-то не совсем так, не совсем обычно. Может быть, поэтому и мой французский друг повел себя так абсурдно и вызывающе; в других обстоятельствах он бы, наверное, себе ничего подобного не позволил. Все прошло бы гладко, без сучка, без задоринки. Зачем, в самом деле, было показывать мне пригласительный билет на обед и вообще выказывать свои сомнения и волнения прежде, чем меня подставить? Дело-то, в сущности, самое обычное, житейское. Думаю, что в душе он меня все-таки немного опасался. Все-таки, переводчица Селина, мало ли...

"Гениальный обыватель" – это определение, данное Бердяевым Розанову, пожалуй, больше всего подходит к Селину. А мое, несмотря на всю свою очевидность и многократную проверку жизнью, в данном случае, увы, никуда не годится. Гения можно уличить в чем-то обыденном и обывательском, и тогда в глазах окружающих он перестает быть гением, а гениального обывателя в этом уличить никак нельзя, во всяком случае, от этого уличения (или разоблачения) он не становится ни на йоту менее гениальным, а, скорее, даже наоборот.... Как я уже сказала, мое определение гениальности я вывела по аналогии с известным высказыванием Ницше о сходстве великого человека с преступником, которого толпа просто не сумела вовремя упрятать в тюрьму. Однако и Ницше тоже не учитывает, что существует еще и такое явление, как "великий преступник",

которого, даже упрятав в тюрьму, все равно нельзя лишить величия. В том-то все и дело! Великого преступника невозможно лишить величия, упрятав в тюрьму, но зато его можно *оправдать*!

Возьмем, к примеру, Жилья де Рэ. Через пятьсот лет после его смерти французское Общество друзей Жилья де Рэ (существует, оказывается, и такое!) затеяло судебный процесс по его оправданию и в конечном итоге добилось-таки своего. Жиль де Рэ был оправдан французским судом через пятьсот лет после смерти. И что же в результате? Великий преступник Жиль де Рэ просто-напросто исчез! В общем, здорово ему удружили его друзья!

То же самое и с Селином. Тут как-то совсем недавно, не прошло еще и года, мне попала статья под очень характерным названием "Оправдание Селина". Статья, точнее рецензия, очень хвалебная, льстивая, к тому же посвящена книге Селина, к которой я имею самое непосредственное отношение, так что мне вроде бы и грех жаловаться. Однако автор статьи, видимо, сам того не желая, из самых лучших побуждений очень верно наметил направление, двигаясь в котором можно уничтожить даже такого неуловимого и неуязвимого гения, как Селин. Гениального обывателя Селина можно уничтожить, только его *оправдав*, то есть сделав из него обычного гения. И в самом деле, представьте себе хотя бы на мгновение Селина в этой роли, и он сразу же, особенно в своих обмотках, превращается в участника массовой под названием "Невостребованная Европа". В общем, опять-таки прощай, Вечность!

Поэтому мне так и обидно, что я тогда в Париже дрогнула, не смогла довести начатое Селином дело до конца, оказалась все-таки у захлопнувшейся перед моим носом двери, без обеда. Надо было мне тогда не вылезать из БМВ, вести себя понастойчивее, проявить какую-нибудь изобретательность, воспользоваться особенностями менталитета французов, их врожденной галантностью... Хотя насчет этого тоже не следует особо обольщаться. Я сама видела, как однажды какая-то девушка попыталась зайти за визой во французское консульство в Петербурге после того, как всем уже было официально объявлено об окончании приема. Ей-таки удалось проникнуть внутрь. Тогда один из сотрудников консульства, естественно, француз, юноша лет двадцати с небольшим, выхватил у нее из рук все ее документы, вышел на улицу и хладнокровно бросил их по ветру, все бумажки рассыпались и разлетелись в разные стороны. Вот так! Это тоже, между прочим, вполне во французском духе. Французы очень не любят, когда их слишком достают.

И кстати, я думаю, что у нас на подобном торжестве в честь Достоевского, например, никто - даже самые отмороженные личности из ПЕН-клуба - не решился бы оставить без приглашения, не пригласить на обед, ну, короче, захлопнуть дверь перед носом французской переводчицы Достоевского, даже если бы она и не была автором переводов самых ключевых его романов, как я в случае с Селином... Все-таки русские люди все еще слишком простодушны, даже как-то по-детски наивны, а окружающий мир, в том числе и западный, это мир взрослых. Он суров и жесток! Не случайно у каждого русского в глубине души таится такая глубокая детская обида на Запад, которая чуть что сразу же выплывает наружу, дает о себе знать. И нельзя сказать, что эта обида совсем не имеет под собой оснований. Я не про расстрелянных англичанами двадцать шесть бакинских комиссаров говорю, конечно, не про задержку с открытием второго фронта и даже не про долги бывшего Советского Союза, несправедливо навешенные на Россию. И не про Пушкина, убитого Дантесом, естественно... Все гораздо глубже и потому серьезнее! Ведь не случайно о настоящей обиде редко говорят вслух; ее, скорее, таят. Поэтому то, о чем я говорю, это что-то вроде обиды за Колчака, которого зачем-то сдали французы, или же за солдат

Юденича, которых подставили эстонцы, или же, наконец, за Цветаеву, вынужденную втираться в доверие к Рильке, постоянно отсвечивать возле него, льстить, восхищаться его талантом... Нет, Рильке, конечно, неплохой поэт, но и устроился он неплохо: жил, не работая, на содержании у Родена. И особенно обидны пренебрежительные отзывы самодовольных немецких родственников Рильке уже после его смерти о какой-то там "русской поэтессе". Вот это, пожалуй, по-своему, даже обиднее, чем то, что Цветаева вынуждена была под конец жизни устроиться мойщицей посуды в буфете Дома писателей в Елабуге.

Впрочем, Селин примиряет меня с французской культурой, да и не только с французской, но и с культурой вообще, в том числе и русской. Потому что Селин был не только гениальным провозвестником новой актуальности, но он также не то чтобы мог быть, но просто должен был бы быть именно русским писателем! Я и сейчас до конца не понимаю, почему такой писатель, как Селин, родился в самовлюбленной, нарциссической, заикленной на собственном комфорте Франции, а не в России. Разве это не тот писатель, о котором так долго трындели все отечественные критики?! Разве не его все они так долго ждали и предчувствовали, всячески расписывая и смакуя все эти черты характера, качества, якобы присущие исключительно русскому человеку: бедность и бескомпромиссность, лукавство, юродство, порой даже в самых экстравагантных формах, граничащее с хулиганством, буйством, пугающее окружающих, – но все это только во имя истины и сохранения человеческого достоинства! Пусть русские и очень бедные, но зато они любят истину, этого уж у них никто не отнимет... Селин - это же русская литературная мечта, самый типичный, точнее, даже самый *архетипичный* для России писатель! О, если бы он родился в России, да его бы тут на руках носили, а он взял и родился во Франции! И там он хоть и считается великим, но все-таки стоит в одном ряду с Прустом и остальными, и вообще, сильно отодвинут от центра, некоторые даже называют его маргиналом.

А что же в России? Венечка - кумир шестидесятников, добрейшей души человек, он даже несколькими из них готов был рюмашку налить, поэтому они с ним, наверное, так и носятся, обсасывая каждое его слово... Только вот обсасывать особенно нечего, книжечка-то совсем тоненькая и всего одна. Как "Горе от ума"! Ах да, это же знаменитая русская лень! Селин в этом смысле был не совсем русским, он много трудился. Поэтому, наверное, он и нашим шестидесятникам не очень нравится. Потому что "много работал" - помните, да? А может, им просто мои переводы не нравятся, хотя я и стараюсь? Но Селин, вероятно, тоже непереволим, совсем как Пушкин, только в данном случае уже на русский. К тому же он и не пил совсем, а вот Венечка пил, и это тоже очень по-русски. А когда выпьешь, то сразу настроение улучшается, все кажутся такими добрыми, хорошими и талантливыми. Сразу хочется всем по рюмке налить, а можно даже и по стакану. Пушкину например. Такому не жалко! Простота, как я уже сказала, это тоже сугубо русская черта. А когда поешь хорошо, то все сразу тоже становятся добрыми и талантливыми. Вот на этом, я думаю, они и сошлись, Венечка и его поклонники, члены общества его друзей. Венечка - гениальный алкоголик! Не знаю, не знаю... Мне кажется, он уже давно - просто гений, его друзья его уже давно оправдали.

При упоминании Селина у меня в мозгу сразу же выплывает еще и имя Розанова, после Венечки. Такой почему-то выстраивается ассоциативный ряд. Однажды я поделилась этим наблюдением со своей парижской знакомой, журналисткой "Монд", и как только я упомянула Розанова, она сразу же пристально уставилась на меня и стала допытываться, почему это мне Розанов напоминает Селина. Чем? Я, конечно, ей сразу про Бердяева... Никакой реакции! В общем, я и так ей пыталась объяснить, и этак, но ее все что-то не устраивало, и

она продолжала меня пытаться. Наконец до меня вдруг стало доходить, о чем это она, ну я, естественно, сразу же решила замять эту тему. Просто Селин много работал, и ладно. Розанов ведь тоже много трудился, много книг написал.

Но такой ассоциативный ряд выстраивается не только у меня. Однажды я разговорилась со своей знакомой, тоже писательницей, с которой меня даже как-то сравнили в одной рецензии: критик усмотрел, что я, как и она, то есть мы обе, делаем упор на своей женской беззащитности. Правда, в ее книгах акцентируется ее "концентрированная витальность", а у меня – "мрачная ирреальность происходящего"... Так вот, однажды в разговоре со мной, и тоже отчасти о Селине, она вдруг бросила: "Ну Венечка! Да у него и всего-то ничего". Я не могла с ней не согласиться и даже, было, подумала: "Прав был критик, у нас действительно много общего". Однако она тут же продолжила: "А Розанов? Да он ведь даже ни разу матом не выругался". И тут до меня наконец дошло, о чем она говорит, что имеет в виду. Должна сказать, когда я это поняла, я вынуждена была признать, что ее взгляд на литературу не лишен свежести и оригинальности. Во-первых, такая точка зрения предполагает присутствие в литературе некоего прогресса, что в применении к искусству вообще встречается крайне редко. Обычно считается, что все великие и гении жили в прошлом, а сейчас кругом одна шушера и это, надо сказать, весьма обыденный, даже обывательский взгляд на культуру и, мне кажется, не совсем справедливый. А вот у нее получалось совсем наоборот. Помните, вначале был "очень узкий круг страшно далеких от народа", потом "народники-разночинцы", ну а потом наконец-то явился и он сам, гений, носитель конечной истины. История закончилась! Так и у нее: сначала в русской литературе был ... ну даже и не знаю кто, как-то не приходит в голову, забыла тогда у нее спросить, но неважно. Затем пришел Розанов, у которого были какие-то смутные предчувствия, но он так и не решился на самое главное. Потом явился Венечка, и у него было "и всего-то ничего", и наконец пришла она и сказала: "А пошли вы все!.." В сущности, это одна из самых оригинальных концепций истории русской литературы, с которыми мне приходилось сталкиваться, и отчасти в чем-то я даже с ней согласна. Но только отчасти...



Глава 1 ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ

Когда я думаю о смысле литературы, меня часто разбирает смех, мне хочется громко и визгливо расхохотаться. Не могу сказать, чтобы известность слишком утомила меня, но иногда она меня достает. Какое счастье, что у меня есть псевдоним! Люди подходят к тебе, заглядывают в глаза, просят автографы, но уже завтра они про тебя забудут и побегут за каким-нибудь очередным пушкиным. Но дело даже не в этом. Проблема в том, что каждый твой читатель – это тоже писатель. Он заглядывает тебе в глаза, угодливо льстит, и у него непременно за пазухой припрятана своя маленькая рукопись. И даже если она еще не написана, то в голове у него обязательно таится какой-нибудь грандиозный проект романа, который очень скоро потрясет мир. Поэтому, собственно, читатель и льстит своему писателю. Ничего не поделаешь, таковы правила игры! За чемпионом мира по шахматам наблюдают только любители, играющие в шахматы на деньги в Екатерининском садике. А какой еще нормальный человек будет сегодня читать Лермонтова, Тютчева или Фета – кому они, в сущности, нужны?

Однако писателю, даже если он не лишен дарования, повезло гораздо меньше, чем шахматисту. Ибо рано или поздно долго и почтительно льстивший тебе почитатель достанет из-за пазухи свою маленькую рукопись и с надеждой протянет ее тебе... О, всякий раз, когда я слышу льстивые слова признания, я уже заранее предвижу этот горький миг расставания, так как ваш почитатель никогда не простит вам «детский мат», который вы ему поставили, и ни за что не признает своего поражения. Он вам его еще припомнит! Поэтому самые благоразумные писатели окружают себя более или менее преданными читателями, которым они изредка, как бы в знак поощрения, слегка льстят. А те в знак благодарности благоговеют перед своим кумиром. А как же иначе? Без этого никак! Сколотив более или менее солидную команду читателей, Писатель отправляется в поход на завоевание мира, планы у него в голове воистину наполеоновские. Однако при первом же серьезном столкновении с жизнью

выясняется, что никто из этой армии толком не владеет воинским искусством. Эти любители из Екатерининского садика получают «детский мат» и в ужасе разбегаются кто куда. А бедный Наполеон отправляется на остров Святой Елены, где мучительно вынашивает планы реванша.

В следующий раз Наполеон старается быть осмотрительней, ибо другого, третьего раза может и не быть. Он отбирает из своих читателей таких, каким было бы не стыдно польстить, хотя с ними приходится держать ухо остро, ибо каждый из них сам метит в Наполеоны.

Один пример. Жан Жене в молодости, еще когда сидел в тюрьме, прочитал свою первую поэму «Приговоренный к смерти» сокамернику, а тот в ответ заявил, что «такие стихи он каждый день сам пишет». И все-таки Жене вышел из камеры, потому что на свободе его ждали Кокто с товарищами. Однако второй раз Жене «из тюрьмы» уже не выйти. Сокамерник за это время тоже успел кое-чему обучиться. *C'est la vie!*

Но мне кажется, что русский писатель вовсе не мнит себя Наполеоном. Отнюдь! В душе каждого русского – а каждый русский, как я уже сказала, вне зависимости от своей реальной профессии в душе обязательно считает себя писателем (впрочем, не только русский) – так вот, в душе каждого русского с детства таится слабая надежда, что рано или поздно он встретит на своем пути критика Белинского, и тот вдруг расплачется над его рукописью: «Новый Гоголь родился!»

Не могу сказать, чтобы мне нравился фильм Говорухина «Россия, которую мы потеряли», честно говоря, я вообще его не смотрела, главным образом из-за названия: мне всегда казалось, что лично я никакой России никогда не теряла, а поиски прошлого – это такая же утопия, как коммунистическое будущее, только наоборот. И вот совсем недавно до меня дошло, что нет, не совсем так, я тоже до самого последнего времени жила в мире утопий, так как все-таки с тайной надеждой тоже ждала «своего Белинского». И только теперь, буквально несколько дней назад, вдруг все окончательно рухнуло, и я поняла, что я в этом мире одна, и никто мне не поможет, никакой Белинский. В общем, полный мрак!

То есть сначала мне казалось, что раньше, в XIX веке, писатели по-своему были даже более одиноки, чем сейчас. У них были очень трагические судьбы: дуэли, нищета, чахотка и т.п. К тому же никто не мог их утешить, так как у них не было даже телевизора, и они ни на секунду не могли позволить себе расслабиться, присесть вечерком у экрана за чашечкой чая и посмотреть какой-нибудь сериал... Но зато, несмотря на все это, Григорович по-товарищески заметил никому не известного студента Инженерного училища, Достоевского, перебивавшегося с хлеба на чай, взял его рукопись, прочитал, дал Некрасову, а тот в полном восторге кинулся к своему старшему другу Белинскому: «Новый Гоголь родился!» – «Ну-ну, у вас Гоголи-то как грибы растут», – поначалу одернул его Белинский, но потом взял рукопись, читал всю ночь напролет и наконец (о чудо!) – разрыдался: «Молодой человек, вы сами не знаете, что вы написали!» Невероятно, но факт!

И вот эти слезы знаменитого властителя дум тех лет до самого последнего времени меня как бы слегка утешали, причем даже совсем незаметно для меня самой, так как я уже давно испытываю к «потерянной России» XIX века чувство некоторой брезгливости, если не сказать отвращения... И все-таки эту маленькую страничку из школьного учебника я, оказывается, до сих пор носила с собой, она как бы случайно затерялась, сложенная вдвое, в кармане моего выпускного платья, хранящегося у мамы в шкафу.

И в самом деле, мне казалось, что мы сейчас живем в такую циничную эпоху: гомосексуалистов в культуре поддерживают гомосексуалисты,

диссидентов – политики, женщин – феминистки, инвалидов – общества благотворительности, и т. д., до бесконечности. Хуже всего теперь, видимо, обычным гениям мужского пола – им лучше даже не высовываться. Писатель как искусный пловец ловко лавирует между этими грубыми жизненными волнами и веяниями, барахтается и изо всех сил старается удержаться на поверхности, порой кажется, что ему уже ни до чего другого нет дела – лишь бы выжить... И вдруг счастливчик, в нужный момент случайно оказавшийся на гребне какой-нибудь из этих грубых и не имеющих к литературе никакого отношения волн, неожиданно приписывает это «случайное» стечение обстоятельств самому себе, собственному искусству и умению лавировать. От такой наглости у хорошо знавших его друзей и коллег на какое-то мгновение отвисает челюсть и мутится в глазах, им кажется, что это какой-то оптический обман, они даже просят себя ущипнуть, чтобы убедиться, а не снится ли им все это... Но уже в следующий момент наиболее сообразительные из них вдруг осознают, что им всем тоже отчасти очень крупно повезло: раз уж так вышло, значит, надо срочно тоже хоть что-то поймать от этого «мига удачи», ведь теперь они уже не маленькие беззащитные щепочки в потоке бытия, а друзья, товарищи, коллеги, братья по крови, соратники и соотечественники знаменитости и лауреата какой-нибудь крупной международной премии, лучше всего Нобелевской. Ошалевшие от счастья друзья и товарищи «счастливчика» вцепляются в него как в спасательный круг, сброшенный откуда-то с небес утопающим, и даже если «счастливчик» и вправду первоначально был не совсем крошечной щепочкой и соломинкой, а средних размеров бревнышком, то через некоторое время это становится уже совсем не важно, ибо количество вцепившихся очень скоро превышает норму допустимого, и они все, вместе со своим «избранником-лауреатом», благополучно идут на дно. *Sub specie aeternitatis*, естественно.

То есть я хочу сказать, что все они не дотягивают даже до конца столетия, не то что до конца какой-нибудь очередной Цивилизации. Ибо все относительно в этом самом комичном из миров, и никакой другой Вечности, кроме Вечности, нет, а гений, видимо, представитель Вечности в этой жизни. Последним примером такого рода «удачи» в русской литературе был, кажется, Бродский, хотя я в этой обобщенной зарисовке вовсе не имела в виду именно его. О Пушкине мы уже говорили.

Поэтому более или менее искусственный в подобного рода забавах пловец не спешит оказаться на гребне волны: он предпочитает некоторое время побыть в одиночестве, «под ним струя светлей лазури», а он, мятежный, поначалу ходит в бассейн и тренируется: мало ли, пригодится... Такое поведение «пловца», точнее, писателя, раз уж мы говорим о литературе, сразу же настораживает некоторых его коллег и товарищей. А не метит ли этот чудик в гении, причем в такие, которых потом, в отличие от тех же Бродского и Пушкина, например, будет очень трудно задвинуть?

Товарищи и коллеги сначала уговаривают упряма быть таким же, как все, потом сердятся, и в конце концов начинают всячески преследовать его и стараются утопить, лучше всего прямо в бассейне, пока он не выплыл в открытое море, тогда за ним будет уже очень трудно угнаться. Если же кандидат в гении от них все-таки ускользает и бросается в плавать в открытое море, то остальные, понимая, что натренированного ими самими пловца догнать уже, видимо, не удастся, начинают вешать на него всяческих собак, лишают его средств к существованию, терзают, преследуют, обвиняют во всех смертных грехах, стараясь отправить его на дно уже таким образом, чтобы он надорвался и захлебнулся еще при жизни, и тогда другим неповадно будет: наученные этим примером остальные писатели и потомки впредь будут вести себя

повнимательней и поосторожней. Однако эти «остальные» не понимают, что тем самым только облегчают беглецу плавание, ибо чем меньше за него будут потом цепляться всевозможные «друзья и товарищи», тем дольше он сможет продержаться «на поверхности». *Sub specie aeternitatis* опять-таки.

Более того, в результате всей этой возни люди, в конце концов, сами того не желая, могут натренировать такого пловца, которого хватит по крайней мере до конца очередной Цивилизации. Причем натренировать прямо тут, в бассейне, каковым с точки зрения все той же Вечности и является литература.

Однако мне кажется, мы несколько отвлеклись от темы. Я же вроде как начала говорить про Достоевского и его взаимоотношения с Белинским.

В детстве, помню, мне очень нравился Достоевский, и я искренне упивалась чтением его книг. Мы с детства все воспитаны на Достоевском, у нас мозги у всех просто нафаршированы Достоевским, он уже торчит из носу и из ушей, особенно у тех, кто живет в Питере, да и у всех прочих тоже. Ведь это Достоевский описал основные свойства загадочной русской души! И действительно, Достоевский – это очень сильнодействующее средство; я бы отнесла его к психотропным препаратам, типа циклодола, вызывающего глюки: если читать его регулярно с самого детства, то психика у тебя сформируется определенным образом, и потом выправить ее будет очень сложно, практически невозможно. Поэтому читать Достоевского нужно точно так же, как применять сильнодействующие препараты – небольшими дозами и крайне осторожно. Особенно внимательно я бы отнеслась к преподаванию Достоевского в школах: может, там его изучать рановато? В вузах – другое дело. Ведь не проходят же в школах маркиза де Сада, к примеру, хотя этот писатель, по сути, гораздо более безобиден.

Кстати, только недавно до меня, кажется, дошло, почему именно роман «Преступление и наказание» входил в программу советских школ. Думаю, главной причиной здесь было желание воспитать советских людей так, чтобы они всегда и во всем признавались. Сделал что-нибудь не то (или если тебе просто кажется, что это не то) – выйди на площадь, встань на колени, поцелуй землю и покайся. Достоевский здесь попал, можно сказать, прямо «в яблочко». Всем же изначально ясно, что нельзя делать что-то плохое, противозаконное, потому что потом ты не сможешь ни пить, ни есть, ни спать - вообще жить не сможешь; а уж если, не дай бог, сделал, то выйди на площадь и покайся, ведь все равно тебя разоблачат, вернее, ты сам себя разоблачишь, потому что у тебя на лице будет вечно видна каинова печать. Очевидно, такова была мечта советских правоохранительных органов: проворовавшийся директор Елисеевского магазина, чиновник-взяточник, совратитель несовершеннолетних, фарцовщик, спекулянт, валютчик и тем более убийца выходят на площадь, бьют себя в грудь и каются. Неплохая идея!

Однако в школе я Достоевского очень любила и много его читала, мы с подругами даже обошли все памятные места, то есть нашли дома, где жили Раскольников, Сонечка, Свидригайлов и князь Мышкин, короче, совершенно реально видели все эти труппы, где и разворачивалось действие романов Достоевского. Надо сказать, атмосфера там осталась точно такая же, ничего не изменилось. Мы позвонили в квартиру, где якобы жила Сонечка, желая еще сильнее проникнуться колоритом этих мест, – оттуда выскочила какая-то тощая баба с желтым лицом в грязном халате, со свисавшими сосульками волосами и, увидев нас, тут же в ужасе захлопнула дверь. А в соседнюю квартиру в это время заходил жирный грузин, он с интересом на нас уставился и стал о чем-то расспрашивать, но мы с ним говорить не захотели, и так уже все было ясно. Даже

тот забор и камень, под которым Раскольников спрятал награбленное, и то остались на своих местах, во всяком случае, я это точно помню. Мы даже обошли этот камень вокруг и попытались его приподнять, но там ничего не было, только вокруг в изобилии валялись пивные пробки и сильно пахло мочой. Впрочем, этот запах доминировал практически во всех местах Достоевского, которые мы посетили, - такой своего рода фирменный стиль.

Помню, когда я ездила с отцом в Москву, по собственной инициативе даже отправилась в музей Достоевского, ведь родился-то он в Москве. Но там оказался какой-то маленький убогий музейчик, который мне сильно не понравился. То ли дело у нас в Ленинграде, тогда подумала я: там воссоздана атмосфера настоящей квартиры Достоевского, просто как будто попадаешь в его мир, сразу чувствуешь настроение его героев, проникаешься им; действует как наркотик, даже голова начинает кружиться.

Нет, конечно же, не Достоевский сделал русских людей настоящими мазохистами, они уже и до этого такими были, - он просто усилил эти настроения, придав им такой невероятный размах, такой полет кайфа, довел их до такого безумного совершенства, что все, дальше уже некуда идти, дальше полный тупик. Разве нормальные здоровые люди будут воображать себя князем Мышкиным, Настасьей Филипповной, Раскольниковым, Рогожиным, Митей Карамазовым - да они должны, как черт от ладана, бежать от самой идеи, от самих очертаний этих персонажей, не говоря уже об их сути. Жизненный инстинкт должен удерживать их на расстоянии от всех этих жутких бездн, откуда они вообще могут никогда не выбраться, если, не дай бог, их угораздит туда провалиться. Это свойство русских очень точно подметил Селин во время своего визита в Ленинград в 1936 году. Кстати, в качестве типичного русского Селин (он же «доктор Детуш», то есть по специальности врач) упоминает именно Раскольникова, ссылаясь на Достоевского и описанные в его романах болезненные настроения. В последнее время мне все больше кажется, что этот визит Селина в СССР безо всякого преувеличения можно было бы назвать визитом врача в страну психически больных.

И тем не менее почему-то очень часто зажавшихся обывателей, в том числе и западных, как магнитом прямо-таки влечет в эти опасные таинственные неизведанные области. Помню, в Берлине я попала на представление какого-то русского театра: кажется, безработные русские актеры сделали небольшой спектакль по мотивам Есенина, и высокий здоровенный мужик в цилиндре, эффектно встряхивая своими длинными сальными волосами, с выражением читал поэму «Черный человек». Представление проходило в обществе дружбы «Россия-Германия», раньше во всех западных странах существовали такие общества дружбы, теперь они уже, кажется, исчезли или переделаны в какие-нибудь другие организации, но тогда в Берлине в самом конце перестройки все еще оставалось на своих местах: советские чиновники в костюмах и галстуках, с такими одинаковыми серыми лицами и бледно-голубыми глазами по привычке сидели в первых рядах и внимательно наблюдали за происходившим на сцене, а в зале было полно разных немцев, славистов, русских тоже хватало - и эмигрантов, и просто туристов. Меня пригласила на это мероприятие моя болгарская подруга Мариэла, которая жила в Берлине со своим немецким мужем, настройщиком роялей. Мариэла, как и все болгары тогда, очень любила русских и все русское; сейчас, боюсь, это уже далеко не так. Так вот, мы сидели с ней и смотрели на сцену. Главным героем, безусловно, был высокий актер с длинными волосами, к концу спектакля он уже весь истекал потом, потому что очень много бегал туда-сюда, прыгал и даже пару раз упал и покатался по пыльной сцене, - видимо, он был в ударе. Сидевшая рядом со мной тощая немка с лихорадочно блестящими

глазами и расширенными зрачками так дергалась и подпрыгивала на стуле, что сотрясала весь ряд, кажется, она с трудом могла усидеть на месте. Когда же представление закончилось, она вскочила с места и с воплями: «Рогожин! Рогожин!» - напролом бросилась к сцене, потрясая букетом красных роз, который впихнула актеру и повисла у него на шее. Актер осторожно высвободился, поблагодарил и, пятясь задом, удалился за кулисы. Потом состоялся небольшой фуршет, актеры тоже принимали в нем участие, уже умытые, причесанные и переодетые, а моя соседка-немка, вцепившись в бутылку водки и периодически отхлебывая из горлышка, не сводила безумного взгляда со своего героя и периодически шептала себе под нос с сильным акцентом: «О! Рогожин! Рогожин!» Она все пыталась подобраться поближе к своему кумиру, потом, кажется, он с ней вполне приветливо заговорил, и они удалились вместе под ручку в обнимку с бутылкой водки. Вот каким роковым образом подействовал роман «Идиот» на психику, а возможно, и на всю дальнейшую жизнь несчастной немецкой бюргерши.

Но это - иностранцы, а среди моих знакомых практически каждая вторая девушка, напившись, то выскакивала на дорогу и ложилась на асфальт, изображая полную отвызанность, то делала вид, что собирается выпрыгнуть из окна, и при случае сжигала, за неимением пачки денег и камина, при помощи спички или зажигалки хотя бы десятирублевую купюру: больше или не было, или было жалко. Конечно, у нас каждый второй считает себя героем Достоевского, а каждый третий – непосредственно Достоевским. К слову сказать, одна из моих случайных знакомых, Лена, на редкость странная девушка, с вытаращенными рачьими глазами за толстыми стеклами очков, с огромными оттопыренными красными губами, какая-то вечно беспокоящая, вечно трясущаяся, вся дерганая, привлекла мое внимание исключительно тем, что жила недалеко от Владимирского собора, в той части города, которая прочно ассоциировалась в моем сознании с местами Достоевского. Отец у нее был скульптором, делал могильные памятники на заказ, как-то она даже пригласила меня к себе в гости. Помню, жуткая мрачная квартира, и в центре кухни стояло изваяние какого-то дерева с листьями, откуда выглядывали человеческие глаза и носы, кажется, это был памятник, от которого отказались привередливые заказчики, но самому автору он настолько нравился, что он решил оставить его себе для украшения интерьера. Но тогда меня все это очень взволновало, так как мне казалось, что там все пропитано Достоевским, и в окнах виднелся Владимирский собор.

А район Сенной площади и до сих пор действует на меня как легкий наркотик. Однажды вечером я шла от Сенной к Исаакиевскому и вдруг заблудилась, повернула куда-то не туда по этим узким изогнутым проулкам, и в результате вместо Исаакия вышла обратно к каналу Грибоедова. Помню, меня это так испугало, что я хотела вообще отказаться от своего намерения и вернуться домой, но вовремя взяла себя в руки, вышла на улицу Дзержинского и пошла по ней – уж Дзержинского-то точно выведет куда надо, она хотя бы прямая.

В общем, Достоевский очень сильно повлиял на всю мою жизнь. И старушки, которых я еще в советские времена видела на Сенной площади, продававшие свои вязаные носочки и квашеную капусту под дождем и мокрым снегом, и люди, месившие осеннюю слякоть, и вечно серое непроглядное небо, и тяжелая мрачная свинцовая Нева, и вонючие дворы-колодцы, и подворотни, и улицы вкривь и вкось в районе Коломны и Сенной – все это и есть Достоевский, который постоянно и по сей день продолжает давить на психику и определять все мои действия и поступки, причем я этого, видимо, даже и не осознаю, и избавиться от него невозможно, я хочу избавиться, но не могу. Мне кажется, чтобы забыть о Достоевском, нужно уехать куда-нибудь в другую страну, где

живут нормальные здоровые люди, не поголовные мазохисты, как в России, а люди, которые, может, и любят Достоевского, но отстраненно, как экзотику, а не с безумно вытаращенными глазами, исступленно и в экстазе, не рвут на себе рубаху, не блюют на себя и на окружающих, не валяются в грязных канавах и не ловят от этого кайф.

Недавно по телевизору я смотрела американский фильм «Тарас Бульба» – старая экранизация с Юлом Бриннером в главной роли. Младшего сына Андрея, того, кто влюбился в полячку, там играл какой-то мужик с неестественно большими ярко-голубыми глазами, единственный из всех казаков, у кого была вполне приличная прическа, а не бритый сверкающий череп: набриолиненные аля Пресли волосы в духе 60-х были тщательно зачесаны назад. И одет он, кстати, тоже был во что-то вроде бадлона, тоже в духе начала 60-х. Не помню точно, какого года этот фильм, но, возможно, что все эти детали именно оттуда, из того времени... Так вот, у меня сложилось впечатление, что они, то есть американцы, экранизировали совсем не Гоголя, а Достоевского, так как именно таким русский человек и должен всем казаться по прочтении его произведений. Казаки занимаются какими-то абсурдными вещами: после битвы, когда обычно солдаты отдыхают, они исступленно пьют, чуть ли не поливая себя водкой, потом начинают прыгать, скакать и плясать, переполняемые безумной энергией, потом ходят по тонкой дощечке над ямой с медведями, кажется, даже дерутся с этими медведями, потом опять начинаются прыжки и скачки – и так до самого рассвета. А утром опять схватка с врагом. Неудивительно, что поляки, красиво одетые и спокойные, вызывают на этом фоне гораздо большую симпатию, а выходка старого безумца Тараса Бульбы, решившего из ненависти к этим полякам, а точнее, ко всему разумному, упорядоченному и красивому, пристрелить своего младшего сына (который, кстати, тоже был не то, чтобы самым красивым, но по крайней мере самым гладким и причесанным изо всей этой безобразной орды беспрестанно прыгающих бритоголовых уродов) пробуждает только ужас и отвращение.

Сегодня я все чаще ловлю себя на мысли, что абсолютно не понимаю, на что с таким упорством напирал Достоевский, задаваясь вопросами типа: «Бога нет – все дозволено!» Какой загадочный смысл он вкладывал в это восклицание, точнее не он, а один из его персонажей, кажется, Иван Карамазов, я уже точно и не помню, но не в этом дело! «Бога нет – все дозволено!», «Бог есть – ничего не дозволено!», «Бога нет – кое-что дозволено!» и т.д., в этом же духе. Признаюсь, для меня все эти высказывания сливаются в одно. Я, действительно, не понимаю, чем они отличаются друг от друга и почему герою Достоевского одно из сочетаний этих слов казалось столь важным, почему он предпочитал его остальным. На мой взгляд, он с таким же успехом мог бы задаваться, например, вопросом о первичности материи: «Материя первична, дух вторичен!» - или же: «Бытие определяет сознание!»... Я в равной мере не понимаю всех этих определений и формулировок: мне кажется, что человек, изрекающий подобное, должен пребывать в состоянии какого-то сна, то есть принимать за реальность нечто, не имеющее к ней никакого отношения. Вот если бы Достоевский защищал диссертации, был соискателем научной степени, получал бы за это бабки, то есть вынужден был бы задаваться такими вопросами по долгу службы, тогда бы еще хоть что-то можно было понять. Но ведь Достоевский, скорее всего, когда писал «Братьев Карамазовых», был совершенно искренен и, судя по всему, ни на секунду не сомневался, что все люди и через сто лет будут с таким же пафосом, как и его персонажи, восклицать: «Бога нет – все дозволено!» То есть он считал, что затронул какую-то очень важную вечную тему, - еще бы, ведь речь

идет о самом Боге, - и вот эта его наивность сегодня кажется мне едва ли не самой жалкой и смешной во всем его творчестве.

А все эти образы проституток, которым помогает сам Бог, изнасилованных девочек, алкашей за бутылочкой, которым «некуда больше идти», людей из подполья, преступников, жаждущих выйти на площадь, поцеловать землю и покаяться, чахоточных девушек, добрых, хороших и умных идиотов – да сколько их вообще здесь! Вся Россия ими населена. Не знаю точно, но думаю, что со времен Достоевского их количество выросло просто в геометрической прогрессии, и они продолжают клонироваться, и им всегда есть на что сослаться, чем оправдать собственную жизнь. На Достоевского, и только на него! В сегодняшней России, кажется, практически все обыватели поголовно мнят себя персонажами Достоевского. И это печально, точнее, смешно. «Трагедия русской души» все больше начинает смахивать на комедию.

Помню, мне еще в ранней молодости приснился Достоевский, но не бородатый и сгорбленный, каким его часто изображают, а молодой – такое белесое лицо с немного смазанными чертами – закомплексованный юнец. И мы с ним долго говорили во сне: я жаловалась, что меня никто не понимает, родители, естественно, угнетают, а вот он меня понял, и этот разговор меня тогда как-то умиротворил, принес облегчение, я до сих пор помню этот сон, - если и бывают вещие сны, то мой сон как раз можно назвать таким. И действительно, вся моя жизнь так и пошла, просто по Достоевскому, так все и развивалось как по нотам, как будто в новом его романе, вплоть до подполья и психушки, и полного упадка и деградации, причем конца этому нет, окончательно мне от Достоевского избавиться так и не удалось, и, боюсь, никогда не удастся, это уже на всю жизнь. Стоит только очутиться где-нибудь на Крюковом канале или на Гороховой, то так и начинает тянуть, тянуть, заклинивает... Хотя теперь от бывшего восхищения не осталось и следа. Все прошло, как сон, как утренний туман!

Но это вовсе не означает, что я стала разделять, например, мнение Набокова о Достоевском. Отнюдь! На мнение Набокова мне глубоко плевать! Набоков Достоевскому вовсе не конкурент, так как не способен противопоставить ему ничего, кроме своего мещанского профессорского бытия и мелкой извращенности, подробно и со знанием дела описанной им в «Лолите». Критикующий Достоевского Набоков напоминает мне режиссера, отснявшего, к примеру, фильм о гибели «Титаника» в ванной, а затем пытающегося выдать отснятое за происходившее в открытом море. Мне по-прежнему и сегодня интересен Достоевский, но уже совсем иначе чем в детстве, совсем с другой точки зрения. Сегодня меня больше всего занимают его отношения с Белинским.

Я не знаю, во всяком случае, не могу точно сказать, откуда взялся в русской литературе, к примеру, Гоголь. Этот уроженец загадочной Маргиналии, кажется, застал русских лохов врасплох. Однако Достоевский совершенно определенно вошел в русскую литературу с легкой руки Белинского и именно как «новый Гоголь». Все дальнейшее творчество Достоевского и есть, собственно, не что иное, как борьба с Белинским, которому никакой Достоевский совсем был не нужен, а был нужен именно «новый Гоголь» и никто другой: «новый Гоголь», которым управляет властитель дум Белинский! Так что слезы умиления знаменитого критика потом вышли Достоевскому боком. Белинский с болезненным вниманием следил за начинающим писателем и не смог простить ему малейшего отклонения от заранее предначертанного пути. Эта борьба двух титанов, бесспорно, является «тяжелым случаем» в отечественной литературной практике и, кажется, не утратила своей актуальности и по сей день. Критик Белинский преследует автора Достоевского, а тот отбивается от своего

преследователя как может, руками и ногами. И этим Достоевский существенно отличается от так называемых «писателей-постмодернистов», сразу же сдающихся на милость критика-победителя. Констатация «смерти автора» – это своеобразный акт их полной и безоговорочной капитуляции.

Но кто такой критик? Лично я отчетливо угадываю в нем мстительного читателя, некогда отвергнутого своим кумиром. Гоголь небрежно повернулся спиной к своему почитателю и своенравно бросил рукопись гениального романа в камин...

И вот с этой точки зрения кумир моей юности Достоевский меня вовсе не разочаровал. Критик Белинский здорово обломился! Застенчивый юноша, падавший в обморок при виде женщин, оказался вовсе не «новым Гоголем», а, скорее, Акакием Акакиевичем, который вдруг скинул со своих плеч шинель и продемонстрировал всему миру широту и размах русской души, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А ведь Достоевский был и вправду очень беден и всю жизнь с огромным трудом добывал средства для того, чтобы только-только прокормить себя и свою семью. Он писал на заказ, должен был поспевать к сроку, обозначенному издателями, его одолевали кредиторы и слабоумные жадные родственники, с которыми он вынужден был постоянно судиться, отстаивая свои имущественные интересы... Так до человечества ли ему, в самом деле, было? Почему, с какой стати, он должен был вдруг озаботиться судьбами до сих пор млеющих от восторга при чтении его книг обывателей? А если бы он так вдруг и поступил, озаботился бы, то, вероятно, это было бы даже смешно, и сегодня он бы меня тогда точно окончательно и бесповоротно разочаровал...

Теперь я понимаю, что нет никакого смысла обвинять Достоевского во всех смертных грехах, и я, в частности, не имею на это никакого права, так как он, в сущности, не виноват в том, что читатели романа «Идиот» сами оказались идиотами. От этого, в конце концов, сам этот роман ничуть не становится хуже. И пусть мотивы поведения его персонажей кажутся мне теперь смешными и высосанными из пальца, этот роман навсегда останется одной из самых загадочных и магических книг мировой литературы, а его оторванность от реальности в каком-то смысле только подчеркивает его загадочность. Сказки Андерсена или «Портрет Дориана Грея» тоже весьма слабо соотносятся с реальностью, но от этого не утрачивают своего обаяния, и я по-прежнему, как и в детстве, люблю эти книги. Так в чем же передо мной провинился Достоевский? Да, в сущности, ни в чем! После некоторых мучительных сомнений я вынуждена это признать. Ну разве что дифирамбы Пушкину в знаменитой юбилейной речи меня и сегодня по-настоящему раздражают, но ведь Достоевский произнес ее, когда был уже очень болен и стар, так что это тоже можно понять...

А самым влиятельным читателем Достоевского в русской литературе, видимо, все-таки стал Розанов. Не случайно ведь он оказался едва ли не единственным в русской литературе «смельчаком», который даже отважился свести счеты с самим Гоголем, обвинив его в сатанизме. Правда, приходится признать, что Розанов совершил этот наезд крайне осторожно, со множеством оговорок, и как я уже говорила, вроде бы и не от своего имени, а ссылаясь на жену. Я имею в виду вторую жену Розанова, которую не стоит путать с первой, любовницей Достоевского Аполлиinarieй Суловой. Сама же Аполлилария Сулова, как известно, в свое время с большим трудом дала согласие на развод Розанову, доставив ему тем самым множество хлопот и неприятностей. Но этого мало, она потом до конца своих дней отказывалась читать Розанова, всякий раз отмахиваясь от тех, кто предлагал ей это сделать: «Что может написать такой мелкий и чиновный человек!» Эта русская женщина с твердым характером и суровым нравом невольно чем-то напоминает мне любовницу Селина,

американскую танцовщицу Элизабет Крейг, бросившую не весьма преуспевающего материально писателя ради богатого американского еврея, что отчасти и явилось причиной пресловутого антисемитизма Селина – существуют такие предположения. Аналогичный случай, кстати, произошел с Достоевским, Сусловой и одним остроумным французом. После чего Достоевский, я думаю, и стал называть в своих книгах французам не иначе как «французишками»... Так вот, я где-то читала, что один из журналистов сравнительно недавно (лет двадцать назад) обнаружил Элизабет Крейг в каком-то американском доме престарелых. Она уже с трудом соображала и, как выяснилось, за все эти годы умудрилась ничего не услышать о Селине и его всемирной известности. «А, это тот самый малыш Детуш!» – это все, чего в конце концов удалось добиться от нее пытливого журналисту...

Возвращаясь теперь к приведенной мной выше метафоре с «бассейном и пловцами», я могу сказать, что это для меня не совсем пустые слова, так как в детстве я сама немного занималась плаванием: ходила в бассейн, куда отдали меня родители, и добилась даже некоторых успехов в этом виде спорта, получив второй взрослый разряд. Поэтому, окидывая взглядом всех описанных мной выше персонажей, я могу констатировать, что мои симпатии все-таки не совсем на стороне, например, Элизабет Крейг. Однако как «профессиональный пловец» я просто вынуждена признать в ней «перворазрядницу», совершившую отчаянный рывок в сторону Вечности. То есть, несмотря ни на что, мнение Элизабет Крейг о Селине, так же как и мнение Аполлинии Сусловой о Розанове, кажется мне гораздо более существенным, важным, весомым, значительным, заслуживающим внимания, наводящим на мысли, заставляющим задуматься, повергающим в растерянность, характеризующим, неопровержимым, предопределяющим дальнейшую судьбу русской и французской литературы и т.п., чем, например, мнение того же Набокова о Достоевском...



Глава 2

Чаадаев, Фонвизин, Радищев

Чаадаев представляется мне брюнетом с бледным лицом и воспаленным взглядом. Может, он таким и не был, и мне надо бы свериться, навести справки, посмотреть какие-нибудь старинные гравюры с его изображением, но почему-то не хочется. Не то чтобы лень, а просто жаль расставаться со своими представлениями: а вдруг они окажутся иллюзией! К тому же в детстве мне больше нравились брюнеты и почему-то кажется, что Чаадаев был именно таким.

Чаадаев усомнился в историческом предназначении России, и за это его объявили сумасшедшим. В общем, он был первым русским диссидентом и даже невольно предвосхитил их судьбу, «подвергся психиатрическому преследованию». Свои «Философические письма» он написал по-французски, видимо, из чувства некоторой брезгливости к своему родному языку. И я его понимаю, ведь русский язык должен был звучать в то время примерно так же, как звучит теперь украинский, ну, может быть, чуточку благороднее, однако все равно в нем было еще слишком много народной непосредственности. Гоголю, правда, и этой непосредственности показалось мало, и он часто обращался к тогдашнему украинскому, добавлял его к русскому для пущей выразительности. А Чаадаев решил облачить свои русофобские мысли в более приличный костюм иностранного пошива. Оно и понятно. Таким образом ему удалось достичь единства формы и содержания. А сегодня русский язык находится примерно в таком же отношении к украинскому, в каком во времена Чаадаева французский находился к русскому, то есть если бы можно было построить пропорцию, то получилось бы приблизительное равенство - такое, с волнистыми черточками. И если бы какой-нибудь уроженец Украины захотел сегодня, к примеру, достать своих соотечественников, описать их прирожденную тупость, наглость и лень, то лучше всего это, пожалуй, было бы сделать на русском. Хотя французский и сегодня сохраняет свое универсальное значение для подобных целей.

Кроме того, видимо, по той же самой причине, чтобы окончательно отстраниться и облачиться во все иностранное, Чаадаев объявил себя католиком. Все эти обстоятельства заставляют меня думать, что в советские времена он все-таки стал бы, скорее, не диссидентом, а фарцовщиком, так как именно фарцовщики испытывали по-настоящему глубокое отвращение и к отечественным тряпкам, и к родному языку, предпочитая изъясняться на специально изобретенном ими жаргоне, составленном главным образом из иностранных слов и выражений. В сущности, они и были тогда настоящими мучениками и борцами за стиль и моду – куда там Солженицыну! А сейчас, кажется, вообще никого не осталось - деятели культуры на них (стиль и моду) давно наплевали. Все это мне очень понятно, и не случайно сам Чаадаев адресовал свои «Философические письма» женщине.

Таким образом, Чаадаев был первым русским «фарцовщиком», а первым русским диссидентом был, видимо, Радищев, который жил еще во времена Екатерины II, в XVIII веке. Честно говоря, у меня всегда было не очень хорошо с датами, поэтому заранее прошу меня извинить, если я что в этом плане перепутаю.

Кстати, эта моя неосведомленность в хронологии невольно вызывает в моей памяти образ еще одного забытого мной писателя XVIII века – Фонвизина. Героиня его пьесы «Недоросль», помнится, недоуменно восклицает: «Зачем география? Извозчики же всюду довезут!» В начальной школе, когда мы проходили эту пьесу, меня эта фраза очень смешила. Я тогда была круглой

отличницей, и меня совершенно искренне забавляла непосредственность мамыши главного недоросля Митрофанушки, который, под стать своей родственнице, называл дверь прилагательным, так как «она прилагается к косяку», и т.п. Все это казалось мне образцом вопиющей глупости. К тому же у нас в школе почти в каждом классе над доской висел небольшой плакат, на котором крупными белыми буквами было написано: «Знание – сила!». Эту надпись и тогда в детстве, и уже много позже я очень часто встречала в различных учреждениях - настолько часто, что практически перестала ее замечать, от этого ее смысл несколько стерся, утратил свою новизну и свежесть, но в то же время приобрел значение некоего непреложного факта, стал в моем сознании чем-то вроде самоочевидной истины. Признаюсь, за всю свою дальнейшую жизнь мне практически ни разу не пришлось натолкнуться хоть на какое-нибудь отдаленное подтверждение этого высказывания – скорее, наоборот. Известно, что жители Соединенных Штатов Америки, например, почти не учат иностранных языков, так как им это не нужно, потому что английский знают практически все обитатели более слабых и зависимых от США государств. В данном случае знание языка является явным признаком слабости, а не силы. Да и незнание географии матушкой Митрофанушки тоже, если вдуматься, было признаком ее привилегированного аристократического положения по отношению к извозчикам, которым знание географии было жизненно необходимо. Сейчас я понимаю, что этот повсюду мелькавший плакат был чем-то вроде двадцать пятого кадра, не совсем корректной рекламой знаний. Цель этой рекламы мне, правда, до сих пор так и осталась не ясна. Наверное, она была выгодна учителям, так как знание – это их хлеб. Но, скорее всего, она отражала распространенное в то время заблуждение, которое могло быть вполне искренним.

В принципе, такого рода заблуждения могут возникать у людей по совершенно не зависящим от них обстоятельствам. Я помню, например, как в начале 90-х к моей знакомой в Петербург приехал один немецкий профессор. В то время как раз была очень большая разница между курсом рубля и марки, не в пользу рубля, и вообще, на всех приезжих иностранцев у нас тогда смотрели с неподдельным восторгом, а тут еще перспектива познакомиться с гостем из Берлина и получить туда приглашение... В общем, моя знакомая таскала этого профессора по гостям, и везде его принимали, угощали и заворуженно слушали все, что он говорил. А говорил он без умолку, так как действительно много знал. Но как я могла заметить, в голове у него была настоящая каша. Короче говоря, этот профессор, на мой взгляд, вполне бы мог после этой поездки прийти к заключению, что знание – это сила. То есть субъективно у него вполне могло сложиться такое впечатление от восприятия его речей окружающими. К тому же он был жуткий урод, поэтому иллюзий насчет того, что красота – это сила, у него вроде бы возникнуть не могло.

То-то и оно! Кажется, само это утверждение насчет знаний принадлежит английскому просветителю XVIII века Гоббсу, физиономия которого, судя по старинным гравюрам, напоминала амбарный замок, иначе говоря, насчет собственной внешности он не должен был обольщаться. Но если у него было кое-какое состояние и положение в обществе, то, приезжая, например, куда-нибудь в деревню, он вполне мог наталкиваться на почтительное к себе отношение со стороны местных крестьян. Допускаю также, что он был начитан и образован, особенно в сравнении с крестьянами. Так что у него тоже субъективно вполне могла возникнуть эта иллюзия насчет знаний, которую потом подхватили другие люди, время от времени оказывавшиеся в схожих ситуациях.

Что касается меня, то я этих иллюзий уже совершенно лишилась. Более того, у меня даже есть некоторое искушение воскликнуть, почти как мамаша

Митрофанушки, что хронология мне совсем не нужна, так как существуют же для чего-то литературоведы, которым за их знание точных дат, в отличие от меня, еще и платят бабки. Но, пожалуй, я этого делать не стану. Старушка из пьесы Фонвизина поступила неправильно, и впоследствии представители ее сословия заплатились за подобные опрометчивые высказывания и поступки. Надо было вести себя поумнее. Знания должны утешать извозчиков и литературоведов, иначе они могут взбунтоваться. Пусть уж лучше думают, что хотя бы в этом их сила.

Но вернемся к Радищеву. Этот «первый русский диссидент» совершил свое путешествие из Петербурга в Москву, а затем описал свои впечатления от этой поездки в разоблачительной книге примерно в то же время, когда вдоль маршрутов возможных путешествий Екатерины ее фаворит князь Потемкин выстраивал свои знаменитые «потемкинские деревни». Эти деревни представляли собой что-то вроде умело расставленных декораций, предназначенных для создания у императрицы иллюзии полного благоденствия и идиллии в ее владениях. Я не уверена, что маршрут путешествия Радищева полностью совпал с одним из маршрутов путешествия императрицы, но даже если их маршруты и не совпали, мне почему-то кажется, что именно наличие таких декоративных деревень и спровоцировало Радищева на его дерзкую разоблачительную книгу. Так как Потемкин был, в сущности, едва ли не первым в России сознательным творцом виртуальной реальности, призванной подменить собой реальность настоящую. А борцом с такой виртуальной реальностью и должен был, прежде всего, ощущать себя Радищев, то есть, как и положено диссиденту, он ощущал себя носителем некоей правды, умело и намеренно скрытой, по его мнению, от глаз остальных людей, включая императрицу. Именно этой правдой Радищев и хотел поделиться с окружающими.

Однако не прошло и полутора столетий, как сам Радищев вместе со своей книгой были взяты на вооружение творцами новой виртуальной реальности, которая, как впоследствии выяснилось, оказалась еще более неправдоподобной и иллюзорной, чем потемкинские деревни. Коммунисты сделали Радищева своим предтечей, чем-то вроде пророка, и он, сам того не желая, оказался в роли архитектора виртуального Нового мира. А вот новые диссиденты, борцы за правду при социализме, кажется, уже вовсе не склонны были видеть в Радищеве своего предшественника...

Пример Радищева заставляет задуматься над относительностью такого понятия, как «правда». В самом деле, я до сих пор не понимаю, что заставляло людей в конце 80-х выстраиваться в длинные очереди к кинотеатрам, где показывали фильм «Маленькая Вера», имя режиссера которого мне сейчас уже трудно вспомнить. Почему им так важно было увидеть грубую брань и грязь на экране? Неужели им недостаточно было того, что они постоянно видели это в жизни? Или же виртуальная кинореальность для них важнее жизни? А может быть, никакой реальности вообще не существует, а есть только бесконечная борьба и смена реальностей виртуальных?..

В самом деле, еще каких-то двадцать лет назад, совершая путешествие от своего дома на улице Марата, например, до Невского проспекта, и созерцая разбросанный по тротуару мусор или же обвалившуюся штукатурку с фасадов домов, я, вероятно, должна была бы ощущать себя носителем страшной тайны, и точно такими же обладателями тайны должны были себя ощущать десятки идущих рядом со мной прохожих, а теперь и этот мусор, и штукатурка больше никого не интересуют. Что, собственно, произошло? Разве все это, попав на экраны, перестало быть правдой?

Честно говоря, я никогда не ощущала в себе способностей к систематическому мышлению, и мне трудно додумать эту мысль до конца. Вообще, всякий раз, когда я пытаюсь слишком сосредоточиться на какой-нибудь мысли, то сразу же начинаю чувствовать, как она теряет очертания, ускользает от меня, становится какой-то бесплотной... Тем не менее, чтобы избавиться от своей навязчивой идеи, я пару лет назад даже решила совершить небольшое путешествие, точнее, прогулку от своего дома до Невского проспекта – мне хотелось сосредоточиться на этой мысли и проверить собственные ощущения, удостовериться в том, какие чувства вызывает у меня теперь вечная грязь на улице. Я даже уже вышла на лестничную площадку, на которой тоже было полно всякого мусора и пахло мочой, и тут навстречу мне попался сосед, живущий этажом выше, обрюзгший жирный мужик в потертом задрипанном пальтишке бомжовского вида. Честно говоря, я вообще со своими соседями по лестничной площадке не здороваюсь, поэтому и на него никогда никакого внимания раньше не обращала. Так, видела иногда мельком, кажется, пару раз он был в милицейской форме, поэтому я его и запомнила, а так бы вообще не знала, кто это такой. Он тоже со мной никогда раньше не здоровался, и на сей раз тоже прошел мимо меня вверх по лестнице, не проронив ни слова. И вдруг обернулся и сказал: «Спасибо вам большое за книгу!» – «За какую?» - с неподдельным изумлением спросила я. «За «Кэреля» Жана Жене», - ответил он и пошел дальше. Откуда этот классический по виду обыватель, вроде бы даже милиционер, узнал о Жене, а тем более о том, что я его переводила, ведь мы с ним не были даже знакомы?! Самое интересное, что после этого мы опять с ним больше никогда не здоровались. Первое время я, правда, при встрече с некоторым интересом на него косилось, но он, как и раньше, тяжело и с одышкой тащился к себе на этаж, понуро глядя под ноги... Как бы то ни было, но тогда эти его слова окончательно сбили меня с толку, и я почувствовала, что мне, видимо, никогда уже не суждено понять, что, собственно, так волновало в свое время Радищева, какая «правда». Я даже решила отказаться от своей познавательной прогулки и вернулась домой. Махнула на все это рукой!



Глава 3 Наше все. Метод дедукции

И все-таки, несмотря на то что туристы, прибывая в Петербург, первым делом отправляются вовсе не на Мойку, 12, а в музей Достоевского на Кузнечном, так как именно Достоевский в глазах всего мира является «нашим все», сами русские, как известно, отвели эту роль Пушкину. Помню, раньше, когда Достоевский был моим кумиром, такая подмена казалась мне жуткой несправедливостью. Теперь я отношусь к подобным вещам гораздо спокойнее. Еще одним конкурентом Достоевского в этом отношении является Толстой. Мне даже кажется, что если бы главенствующее место в русской культуре не занял Пушкин, то на эту роль обязательно бы назначили Толстого...

Вообще причины, по которым люди выбирают себе «великих», а тем более «самых великих», никогда до конца не были мне понятны. Об этом можно только догадываться. Толстой и Пушкин, мне кажется, гораздо больше устраивают в этом качестве отечественных обывателей, чем Достоевский. Их духовность, способности к литературе и вообще бросающиеся в глаза основательность и солидность куда больше подходят для получения всевозможных дотаций, грантов и прочих финансовых вливаний со стороны государства или же частных лиц. Так, вкладывая свои деньги в культуру, буржуа не должен сомневаться, что тратит их на что-то серьезное, духовное и заслуживающее уважения, и чем очевиднее для всех эти качества у объекта вложения, тем лучше. А вдаваться в детали, разбираться по существу обычно людям некогда. Если же сам источник вкладываемых в культуру денег вызывает некоторые подозрения, то представляющие эту культуру личности должны быть как можно более солидными и не вызывающими ни у кого сомнений. Достоевский, пожалуй, для этих целей слишком маргинален: эпилептик, каторжник и вообще до сих пор слишком многим кажется психически не вполне здоровым. Он притягивает отечественных обывателей в их спонтанном и, скорее всего, в не совсем трезвом состоянии. Можно сказать, Достоевский – это то, что у них на душе, поэтому они и вспоминают о нем в подпитии. Зато Толстой и Пушкин куда более презентабельны.

Где-то в самом конце восьмидесятых мне попала на глаза заметка о каком-то прибывшем на гастроли в СССР из Америки ресторанном певце, кажется, это был Вилли Токарев, точно уже не помню. Журналист заметил у него на столике в гостиничном номере не что-нибудь, а именно томики Толстого и Пушкина. И естественно, в ходе беседы выяснилось, что это его любимые писатели. Не сомневаюсь, что если на улице любого российского города останавливать прохожих и расспрашивать о литературных пристрастиях, то примерно девяносто процентов из них опять-таки назовут Толстого и Пушкина. По этой же причине внешней презентабельности, видимо, в свое время и критик Страхов переметнулся от Достоевского к Толстому и даже, кажется, обрушился на Достоевского с обличительным письмом... Суть этих метаний и колебаний Страхова лично мне совершенно ясна.

И в самом деле, Толстой был граф, состоятельный человек, что немаловажно, поэтому спокойно мог позволить себе заниматься литературой. Представьте себе, барин в халате в собственной усадьбе встает утром, заказывает себе чашечку кофе, садится за письменный стол и пишет фундаментальную книгу солидного размера – «Войну и мир». Ясно, что это труд на века! Куда там затравленному эпилептику Достоевскому! По этой же причине и Горький с Лениным разглядели в Толстом «матерого человечика»... Однако, по моим наблюдениям, обыватели, признающиеся в любви Достоевскому, несмотря ни на что, куда менее опасны,

чем те, что любят Толстого и Пушкина. На месте налоговой инспекции и других правоохранительных органов я бы уже давно обратила на последних более пристальное внимание.

Каждый раз, когда я приезжаю в Париж, мы обедаем в ресторане *Parc aux Cerfs* (Олений парк) с Люси, которая возглавляет в издательстве «Альбан Мишель» русскую коллекцию, беседуем, а потом мирно расходимся и забываем друг друга до следующего раза. Люси родилась в Москве, поэтому прекрасно говорит по-русски. Помню, я как-то спросила ее, кто из писателей сейчас в Париже наиболее популярен и интересен. На этот вопрос, который я добросовестно задавала всем своим знакомым, все отвечали по-разному: кто-то (как, например, Пьер Гийота) говорил, что других писателей, кроме него, вовсе нет, кто-то начинал методично излагать длинейший список имен, кто-то называл два-три имени, да и то с некоторым сомнением, а Доминик Фернандес, например, и вовсе просто перечислил мне имена всех своих знакомых юношей, каждый из которых, наверное, что-то пишет, во всяком случае, я на это надеюсь.

Ну а что касается Люси, то она сначала назвала мне пару имен, а потом вдруг, как бы спохватившись, заметила, что, пожалуй, самая интересная на данный момент французская писательница – это Паскаль Роуз. К тому же она получила Гонкуровскую премию за свой роман «*Chasseur Zero*» (что можно примерно перевести как «Охотник Ноль»), но еще она написала небольшую книжку – «Летнее письмо» - о Льве Толстом и за нее тоже получила какую-то премию, потом еще что-то написала, и тоже без премии не обошлось. В общем, ни книги без премии. Я как вежливый человек все ей кивала, кивала головой, мол, да, это очень интересно. Тогда она предложила мне последнюю книгу Паскаль Роуз, чтобы я лучше себе представила эту замечательную писательницу, которая к тому же пишет о Толстом, что меня как представителя русской культуры, без сомнения, заинтересует. Кстати, прямо сейчас можно и сходить за книгой, издательство-то тут, недалеко. Ну, мне отказываться было неудобно, мы с ней и пошли. Там она дала мне маленькую желтенькую книжечку «*Lettre d'été*» и уж заодно еще вторую, потолще – про охотника. Обе книги были украшены красными бумажными лентами с названием соответствующей премии.

Я взяла эти книги, сказала Люси «спасибо» и отправилась домой, а поскольку времени свободного у меня было полно, я решила почитать, хотя книг уже давно не читала, ну хотя бы эту тоненькую книжечку про Толстого, что-то забавное там наверняка можно найти. В самом начале автор описывала то, как она заболела и чуть не умерла (правда, и Люси мне что-то такое говорила, ей, кажется, даже долбили черепушку, у нее в мозгу лопнул какой-то сосуд), потом постепенно поправляется, приходит в себя, и все это происходит благодаря Левочке (Левочка – это Толстой), она обращается к нему в своей книге исключительно на «ты». «Ах, Левочка, ты ненавидел женщин - и правильно, они сами виноваты, они никогда тебя не понимали, а ты, несчастный, вынужден был общаться с ними, и даже когда Соня привезла тебе эту подушечку, ты был прав, что отказался класть ее себе под голову, для тебя это было очень болезненно, как ее навязчивая забота не давала тебе почувствовать себя свободным. Ты все понял тогда, Лева, Левочка, когда увидел ее глаза...» - и вот такой херней было исписано страниц сто, не меньше, но я все это прочла. После этого я, поскольку уже давно не читала книг и отвыкла от этого процесса, сразу же взяла ее вторую книгу и решила прочитать сразу две: сказав А, почему бы не сказать и Б. Вторая книга, кажется, была посвящена японскому летчику-камикадзе; начиналась она с описания семейного обеда: мама, дочка – мама накладывает дочке салатик и приговаривает, что это приготовлено по рецепту ее покойной бабушки, а потом и

тортик будет, и тоже по тому же рецепту... На самом деле и сама мама тоже уже давно покойница, просто это дочка ее вспоминает, а папа у дочки, наверное, и был легчик, «летчик-ноль» – тут меня чуть не стошнило, не стоило так сразу перебирать.

На следующее утро раздался звонок от Люси, она интересовалась, как мне книги Паскаль Роуз. Я, естественно, ответила: «Да, очень интересно, какое глубокое понимание русской литературы!» – «А-а, видите! – в скрипучем голосе Люси послышалось торжество. - Ну так вот, приходите завтра в 11 утра в издательство, я хочу кое-что вам предложить, очень интересное! Приходите, не пожалеете!» - и она повесила трубку. Я весь вечер думала, что она такое хочет мне предложить. Все-таки русская коллекция в крупном парижском издательстве - чем черт не шутит! Утром я ровно в 11 часов стояла перед дверями ее кабинета. Люси, как всегда, бодрая, накрашенная, напоминающая старый сморщенный пожелтевший корень, уже сидела на месте. «Здравствуйте, здравствуйте, заходите, вы как раз вовремя!» И только я успела сесть, как дверь открылась и в кабинет легкой походкой вошла дама, я бы даже сказала, девушка, но нет, все же не девушка, лет уже под полтинник. Но вполне хорошо сохранившаяся, с черной челочкой на лбу и хвостиком на затылке, очень милая, улыбчивая, приветливая - типичная француженка, поздоровалась с Люси, со мной и уселась за стол напротив.

«Ну вот, - произнесла Люси по-французски, смакуя каждое слово и торжествуя глядя на меня, - вы хотели интервью с Паскаль Роуз, вы его получили!» Я прямо оторопела от такой наглости, у меня просто челюсть отвалилась, я уставилась на Люси, а она тоже смотрела на меня и улыбалась своей кровожадной улыбкой, кажется, вполне удовлетворенная, даже кайф наверняка поймала. Но я никогда не могла научиться хамить людям, которые старше меня, а она-то уж меня гораздо старше, поэтому я в результате проямлила что-то нечленораздельное, покорно полезла в свою сумку и извлекла оттуда ручку и свою записную книжечку, другой бумаги у меня с собой не оказалось. От одного взгляда на эту записную книжечку, которую я так любила, во мне поднялась жуткая злоба, я ее недавно себе завела, решив записывать туда только свои самые важные мысли, а вот теперь я должна ее испортить из-за этой старой суки, причем своими собственными руками, а она сидит там в углу за этим огромным столом, ослабившись, рот до ушей, вылитый щелкунчик с огромными зубами... Но я вместо того чтобы встать и выйти, хлопнув дверью, или хотя бы сказать Люси какую-нибудь гадость по-русски, ведь писательница все равно ничего не поймет, я покорно взяла ручку, открыла книжечку и села, напряженно уставившись на Паскаль Роуз. Надо сказать, меня приятно поразил ее внешний вид, я представляла ее себе полусумасшедшей истеричкой, похожей на стареющую хозяйку борделя. Таких писательниц я уже навиделась достаточно - с безумным взглядом, вцепляются тебе в рукав и, брызжа слюной, несут какой-то бред, - нет, эта вполне приличная, на сумасшедшую не похожа – и на том спасибо. А она тем временем быстро и деловито мне что-то рассказывала, и все про Толстого, что она, когда прочитала Толстого, испытала озарение, это величайший писатель, она влюбилась в Россию... Я ей все кивала головой, но книжечку все же решила не пачкать, просто делала вид, что что-то записываю. Люси удовлетворенно наблюдала за мной и периодически кивала головой – все шло по ее сценарию, без сучка и задоринки, она, наверное, и сама не ожидала такой удачи. Ну вот, вроде все, теперь можно и попрощаться, я все же решила уйти первой, чтобы эти две подружки остались тут без меня и спокойно обсудили свои дела, они, кажется, намылились в Ясную Поляну, как раз и письмо Левочке кстати пришлось.

Потом вечером мне опять позвонила Люси и проскрипела: «Я бы очень хотела, чтобы вы перевели маленькую книжечку Паскаль Роуз на русский язык!» Но тут я уже просто сослалась на свою большую занятость в настоящий момент, надо, мол, сначала разделаться с огромным томом Селина, а уж потом, само собой, обязательно. Люси, кажется, была разочарована и не скрывала этого, им же так хотелось успеть к юбилею в Ясной Поляне. Ну а я со своей стороны никак не могла понять, каковы были причины столь пылкой любви к писательнице Паскаль Роуз со стороны Люси. Поэтому я попыталась нащупать в этой истории с Паскаль Роуз хоть какие-то корни, но всюду обламывалась – Люси сразу заводила разговор о замечательном таланте писательницы, так мое любопытство и осталось неудовлетворенным.

А тут как-то недавно по телевизору снова показали французский фильм «Анна Каренина», я его, правда, уже смотрела, когда он только вышел на экраны, в Париже, в 1997 году, мне тогда еще журнал «Премьер» заказал о нем статью. Фильм, кстати, сейчас, задним числом могу сказать, не так уж плох (особенно после «Евгения Онегина» Марты Файнз – все познается в сравнении). Все красавцы и красавицы, и вокруг все тоже очень красивое, тут тебе и «конфетки-бараночки», и «словно лебеди, саночки», и «гимназистки румяные», короче – полный набор. Режиссер – Бернар Роуз. И тут меня как осенило – дошло, можно сказать.

Я вспомнила, как этим летом в Париже встречалась с писательницей по фамилии Роуз, влюбленной в Толстого! И сама писательница Паскаль Роуз тогда, кстати, в своем так называемом интервью не раз зачем-то мне повторяла: «В кино я не хожу, кино меня вообще не интересует!» - это я уже потом, задним числом вспомнила.

Вот так, при помощи дедуктивного метода, мне, кажется, удалось приблизиться к самой сути. Осталось уточнить только кое-какие детали: степень родства двух звезд французской культуры. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.



Глава 4 Иллюзия величия

Вообще, человек в чем-то подобен айсбергу. Либо ты видишь его целиком, и он сразу способен тебя своим видом испугать и оттолкнуть, зато ты можешь от него отдалиться и обойти стороной. Либо какая-то самая опасная и неприятная его половина скрыта от тебя, и ты рискуешь в любой момент на нее натолкнуться со всеми вытекающими отсюда последствиями. Видимо, таков закон жизни, которая всегда стремится к полноте. Я, например, заметила, что если официальная часть какого-нибудь торжественного мероприятия проходит чересчур чопорно и казенно, то во время неофициальной его части, на банкете, все обязательно напьются, будут ползать на четвереньках и набьют друг другу морды, хотя это все часто и остается «за кадром». А вот если такого разбиения на «официальное» и «неофициальное» нет, то риск участия в подобном мероприятии гораздо меньше, хотя внешне все выглядит куда менее гладко. Так и Россия с Толстым и Пушкиным «на поверхности» тоже представляет собой нечто вроде айсберга и гораздо более опасна, чем Россия Достоевского. Впрочем, все происходящее сегодня в культуре, мне кажется, уже давно к жизни не имеет практически никакого отношения. Все самое главное вершится где-то там в темноте, «под водой», и спрятано от глаз посторонних. Наверное, так было всегда, просто сегодня это становится все очевидней и очевидней. Я бы даже сказала, что в этом вечном театре жизни люди всегда делились на зрителей и актеров, то есть на посвященных и толпу, просто сегодня пространство освещенной светом сцены очень сильно сузилось и стремительно продолжает сужаться, - порой даже кажется, что осталось только какое-то жалкое световое пятно от прожектора, совсем как на арене цирка, куда периодически выталкивают каких-нибудь клоунов, вроде Толстого, Достоевского или Пушкина, чтобы отвлечь внимание зрителей от происходящего в темноте, где тем временем готовят очередной номер и расставляют клетки для тигров.

Хотя, возможно, все не так и цинично. Я, например, допускаю, что и Вилли Токарев, и Паскаль Роуз, и Люси, да и все остальные тоже по-своему искренне любят Толстого, который олицетворяет для них что-то очень важное и необходимое им в жизни, нечто такое, чего я просто не способна до конца понять. Мне кажется, что в этой бесконечной борьбе всевозможных виртуальных реальностей, которые порой совершенно резко и неожиданно сменяют друг друга, каждый человек в какие-то мгновения способен испытывать растерянность, а то и страх. Я помню, что такие чувства растерянности и страха очень часто посещали меня раньше, особенно в детстве. Да и сегодня периодически меня вдруг охватывает ужас, и я вдруг, совсем как в детстве, теряю ориентацию в пространстве, будто погружаюсь в какой-то сон, и окружающий мир снова начинает казаться мне непомерно сложным и непостижимым. Хотя, в принципе, сегодня в таких состояниях для меня уже нет особой загадки, и я, вероятно, бессознательно даже слегка подыгрываю себе, чтобы отвлечься от чрезмерной простоты и скуки происходящего вокруг.

Известно, что Сталин, например, запрещал изображать на картинах рядом с собой фигуры людей, которые были выше его ростом. А может быть, даже и сами художники догадывались об этом тайном желании вождя, так что и запрещать особенно ничего не приходилось. Как бы то ни было, но по монументальным полотнам с изображениями Сталина его реальный рост восстановить практически невозможно. Такой же эффект часто возникает и при просмотре всевозможных телепрограмм. Я часто ловлю себя на мысли, что не могу с уверенностью определить рост того или иного телеведущего, пока рядом с ним в кадре не окажется какой-нибудь хорошо известный мне человек. Этот эффект

часто используется и в современном кино при съемке различных трюков. Можно разыграть, например, сцену автокатастрофы, используя не настоящие машины, а игрушечные. Действительно, можно снять и фильм о гибели «Титаника» в ванне, а потом выдать все за происходящее в открытом море. И в том и в другом случае взгляду непосвященного будет очень трудно заметить подмену. Однако стоит только в кадр случайно попасть какой-нибудь спичке или маленькой щепочке, как сразу же все становится на свои места — весь эффект теряется, подлинные пропорции происходящего восстанавливаются!

В этом, я думаю, и заключается предназначение художника, которому вовсе не обязательно, подобно Радищеву, стремиться к некой иллюзорной правде, а достаточно просто быть такой маленькой «щепочкой», восстанавливающей реальные пропорции. Во всяком случае, я допускаю, что для какой-то группы людей Толстой, например, может служить подобной единицей измерения, задающей масштаб всего происходящего вокруг, так как в реальных масштабах именно его личности они не сомневаются. Поэтому, собственно, его и называют «великим». Точно так же, как для кого-то до сих пор великими остаются и Ленин, да и тот же Сталин. Просто их поклонникам важно, чтобы пропорции мира были именно таковы. Так же как и самому Сталину было почему-то важно чувствовать себя человеком большого роста. В конце концов, он, вполне возможно, свыкся с этой мыслью и действительно считал, что ему удалось перехитрить вечность, так как потомки будут судить о нем только по картинам, а остальные свидетельства до них не дойдут. В результате же он, скорее, достиг комического эффекта, так как в споре с реальностью он уже предстает не всемогущим «отцом народов», а всего лишь слабым человеком, не способным достичь поставленной перед собой цели. Вообще с годами я научилась не доверять слишком явным символам человеческого величия и духовности - именно они, как правило, и используются для того, чтобы сбить с толку толпу, увести людей по ложному следу. Теперь мой взгляд прежде всего инстинктивно ищет менее заметные детали, ускользающие от поверхностного взгляда обывателей.

И Толстой, как я помню, с детства давил мне на психику. Конечно, его значительность, величие, непререкаемый авторитет не могли в то время вызывать у меня сомнений, однако чтение его книг никогда не приносило мне никакого удовлетворения. Сам вид Толстого – злобного лохматого старикана с развевающейся седой бородой и сейчас меня угнетает: воплощенный титан, кирпич, такой же, как и его книги. Главное ощущение, которое до сих пор связано в моем восприятии с личностью Толстого, – это ощущение тесноты и тяжести. Видимо, масштаб мира, в основу которого были положены личности Толстого и Пушкина, все-таки абсолютно не совпадает с моим. Я всегда чувствовала себя в этом мире как в тесной комнате, в которой постоянно натыкаешься на какие-то ненужные и раздражающие предметы. Поэтому и чтение Достоевского после Толстого было для меня как глоток свежего воздуха. Правда, тогда я этого до конца не понимала...

Взять, к примеру, «Смерть Ивана Ильича» или же «Крейцерову сонату» – это же просто диагноз, совершенно явный. Мне кажется, в молодости у Толстого из-за его ужасных комплексов были серьезные проблемы с женщинами, вот он и начал писать, чтобы реализоваться. Когда я прочитала «Смерть Ивана Ильича», то целую неделю ходила больная. Что-то есть в этом мерзкое, какая-то ужасная тоска, безысходность - не знаю даже, как определить. Мне кажется, он нарочно это написал, чтобы всех достать своей старческой злобой, своим маразмом.

В детстве я читала его дебильные рассказы – про сливы и косточку, - с тех пор я сливы терпеть не могу. Еще «Детство. Отрочество. Юность». Особенно мне

запомнился эпизод с перчатками, когда герой надел почему-то старые потертые перчатки вместо хороших и новых, зачем – к сожалению, не имею ни малейшего представления, кажется, назло своему папаше. Из этого произведения я окончательно уяснила себе одно – Толстой был закомплексованным уродом как в детстве и отрочестве, так и в юности. Немудрено, что потом он всю жизнь издевался над своей женой, а она в ответ – над ним. Кажется, дочь свою он тоже изрядно помучил. И сразу становится понятно, почему в его романах все положительные герои тоже закомплексованные уроды: Пьер Безухов, княжна Марья, даже Болконский и Наташа – все отмечены печатью какой-то неполноценности. Во всем романе «Война и мир» мне нравится только одна героиня – Элен Безухова, холодная светская красавица, обращавшаяся со своим жирным дебилом-мужем именно так, как он того заслуживал. Еще там был гусар, кажется, Дорохов, тоже ничего, вполне сносный персонаж. А на остальных просто клейма негде ставить: разжиревшая Наташа Ростова с огромным количеством детей и маниакальной озабоченностью грязными пеленками, - думаю, они неплохо смотрелись вместе с Пьером, как говорится – подобное ищет подобное. И уродина княжна Марья со своими какими-то нечеловечески огромными лучистыми глазами - просто персонаж из фильма про инопланетян, - и ее братец князь Болконский с рассуждениями о небе и дубах, и их папаша - старый маньяк, лелеющий свои комплексы и третирующий детишек... Пожалуй, единственное произведение Толстого, главный герой которого не вызывает у меня откровенного отвращения, это «Живой труп», да и цыгане в качестве фона очень оживляют повествование.

Помню, перед выпускными экзаменами я тщательнейшим образом проштудировала весь роман «Война и мир», не пропуская ни одной страницы, одна моя подруга уверяла, что может читать только мир, а войну читать ей скучно. Она оказалась не права – как война, так и мир в изложении Толстого представляются мне одинаково тошнотворными. Я прочла даже описание купания Наполеона и его жалкой фигуры, его жирного желтого антиэстетичного тела. Эта сцена потом все время путалась у меня в мозгу со сценой купания отца Федора из фильма «Двенадцать стульев»: стриженный в скобку мужичок в белых кальсонах, зажав уши, окунается в море и выныривает оттуда весь черный. Именно такая метаморфоза и приключилось с Наполеоном после соприкосновения с Толстым. Вообще, надо было обладать достаточно плохим вкусом и практически полным отсутствием чувства стиля, чтобы так грубо втискивать в роман целые инородные куски доморощенной философии о войне, как это делает Толстой в своем романе «Война и мир». А между тем именно эта философия – едва ли не единственное, что отличает этот роман от «Унесенных ветром», культовой книги американских обывателей, написанной домохозяйкой. Я думаю, моя школьная подруга, читавшая у Толстого «про мир», впоследствии нашла все, что искала, в «Унесенных ветром». Вот эту книгу ей наверняка было уже не скучно читать всю целиком. Просто в советские времена она была большим дефицитом, а может быть, даже еще и не переводилась. Наташа Ростова и ее первый бал – тоже один из стереотипов, по сей день давящих на сознание русских барышень. «Ну ты прям как Наташа Ростова перед первым балом», – помню, говорила мне другая моя школьная подруга, Оля, когда мы с ней собирались идти курить марихуану к ее знакомой, жившей в каком-то притоне на Петроградской стороне. Тогда, помню, я волновалась, потому что все это происходило очень поздно, и я не знала, что скажу родителям, - нужно было срочно придумать, куда это я иду. После ее слов я срочно ощутила необходимость хоть на мгновение почувствовать себя именно Наташей перед первым балом, изобразить такую же радостную улыбку до ушей, так же вытаращить глаза, я уже

видела себя стоящей в распахнутых дверях этой обшарпанной коммуналки в трепетном порыве, и на меня все собравшиеся смотрят с восторгом и восхищением, а я такая легкая и неземная, и вот этот синдром Наташи Ростовой надолго во мне запечатлелся. Правда, когда мы пришли, там сидел чеченский дядя подруги, приехавший из города Грозного, она называла его «грозный дядя», пара обкуренных грузин и еще здоровенный юноша по кличке «Основной», - все они, кажется, не обратили на наш приход ни малейшего внимания, а продолжали живо обсуждать достоинства плана, привезенного только что тем же «грозным дядей». Где-то через пару часов двери комнаты опять распахнулись и на пороге предстала еще одна Наташа Ростова - на сей раз действительно в длинном белом платье. Это пришла здоровенная квадратная девица с вытарашенными белесыми глазами, в соломенных волосах, подрезанных на лбу ровной челкой и распущенных по плечам, была вплетена синяя ленточка. Она едва держалась на ногах, потому что у них в школе в тот день как раз был выпускной вечер. Эту девицу звали Клава, но она настаивала, чтобы ее называли Эвой. «Эвочка, что это на тебе за саван такой?» - только и смогла вымолвить обкуренная подруга. А Эвочка молча твердым шагом подошла к сколоченному из фанеры шаткому столику, взяла бутылку водки и прямо из горла отхлебнула чуть ли не половину. Примерно лет шесть назад, когда мы с Олей встречались в Париже, она сообщила мне, что Эвочка умерла от передозы.



Глава 5 Пуговицы Тютчева

В принципе, Тютчев не был совсем лишен способностей. Худенький старичок со взъерошенными остатками седых волосок вокруг лысины, в круглых очках – таким его всегда изображали на всех портретах, - какое-то порхающее неземное существо, учитель танцев. Моя школьная подруга, маленькая крепенькая девушка с длинной косой, доходившей ей до задницы, очень любила стихи Тютчева, иначе, пожалуй, мне бы и в голову не пришло обратить на него внимание: кроме стихов о природе, в школьную программу, кажется, ничего не

входило. «Люблю грозу в начале мая» – это стихотворение в детстве напоминало мне некое загадочное мнемоническое упражнение для тренировки памяти. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя...» – никогда не могла понять, что означает это подробное описание природного явления... Впрочем, школьные учебники литературы, и особенно для младших классов, видимо, представляют собой нечто вроде интеллектуальной свалки, куда отправляется все, что уже утратило интерес для взрослых, морально и физически устарело. Где сегодня можно еще натолкнуться на таких поэтов, как Майков, например? Только там – иначе о нем бы уже давно забыли! И «Люблю грозу в начале мая» – это, по-моему, тоже что-то вроде полностью истощенной «интеллектуальной руды» или же отработавшего свой срок аккумулятора.

Ну а что касается детей, то с ними и вовсе никто никогда не считается. Оно и понятно. Ведь дети беззащитны и не способны за себя постоять. Например, в школе нас каждый год водили на осмотр в стоматологическую поликлинику. И я до сих пор не могу без ужаса вспоминать, с каким остервенением набрасывались на мой рот врачи – им почему-то непременно хотелось вылечить сразу все мои зубы, и мне приходилось проводить в зубокабинете по несколько часов. Не случайно все мои одноклассники испытывали панический страх перед зубными врачами, причем не только девочки, но и мальчики. Однажды один мальчик даже по дороге в поликлинику сбежал, и его потом пришлось долго, чуть ли не целый день разыскивать. В конце концов, его обнаружили на кладбище, где он прятался среди могил, – это кладбище находилось неподалеку от зубной поликлиники. Зато позднее, когда я выросла и впервые пришла на прием к зубному врачу, меня просто поразили вежливость и гуманность, царившие там. Мне предложили сделать всего один зуб, причем, если я захочу, с уколом. А в детстве меня даже никто ни о чем никогда не спрашивал! А какое неприятное зловещее жужжание издавали тогдашние аппараты для сверления зубов! Вот с этим надоедливым пугающим жужжанием зубокабинета у меня почему-то и ассоциируются до сих пор тютчевские строки: «Когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет...» Может быть, это из-за повторяющихся «р» – кажется, это называется «аллитерацией» – или же из-за страха перед плохой отметкой за невыученное стихотворение, за которую меня могли дома наказать и даже побить?.. Не знаю, не могу точно сказать. Но как бы то ни было, это моя самая первая устойчивая ассоциация, связанная с Тютчевым!

Однако у моей подруги Ольги было еще дореволюционное издание стихов Тютчева, и она дала их мне почитать. Сперва мне было скучно – я никогда особенно не любила читать старые книги, разные непонятные буквы только затрудняли чтение, мешали глазам спокойно скользить по страницам, но я все же вчиталась, через силу... Из предисловия к этой книге я узнала, что у Тютчева на старости лет случился роман с дамой много моложе него, и это закончилось для нее печально – их связь выплыла наружу, начались сплетни и все такое, а несчастная девушка в конце концов заболела и умерла. Причиной этой драмы стали разница в возрасте и сословные предрассудки. Ничего особенного, в общем-то! Сравнительно недавно нечто подобное приключилось в Голливуде с американским режиссером Вуди Алленом, который внешне чем-то даже слегка напоминает Тютчева – такой же хрупкий старичок в очечках. Правда Вуди Аллена уличили в связи со своей несовершеннолетней падчерицей, что, по-моему, гораздо серьезней! Моя подруга Ольга часто говорила мне, выразительно положив палец на губы: «Молчи, скрывайся и тай...» – и это мне помогало, особенно в те мгновения, когда меня заносило, и я начинала трепать все, что в голову придет.

Кстати, в этом же сборнике я натолкнулась на окончание «Грозы в начале мая», которое, как я теперь понимаю, составители учебника литературы выбросили. И должна признать, что они поступили в высшей степени предусмотрительно и гуманно, потому что мне теперь даже страшно подумать, я себе этого даже не представляю, какие ассоциации запечатлелись бы в моем неокрепшем детском сознании от столкновения с подобными зубодробительными строками:

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Ольге очень нравилась романтическая история любви Тютчева; кажется, она даже отождествляла себя с несчастной жертвой этого романа - она была влюблена в одного старшеклассника, и, зашифровав его имя в виде анаграммы, писала его везде: на своих тетрадях, учебниках, на партах и даже на стенах, - а я никак не могла догадаться, кто же это такой. Она называла его своим «предметом обожания», как было принято в XIX веке, и, наконец, показала его мне - это был приземистый юноша, стриженный в скобку, с неестественно черными бровями и такими же красными губами, очень похожий на сутенера. Ольга была настроена романтически, говорила, что будет до гроба любить своего Павла и что «не имеет права его забывать», но она только издали на него смотрела и вздыхала, не решаясь даже заговорить со своим «Подем» - именно так она его называла, на французский манер. Потом, уже после окончания школы, я как-то пригласила ее на одну вечеринку - на самом деле, это была классическая пьянка - и Кузя (это было ее прозвище) напилась в мясо, в результате она уехала оттуда с каким-то подозрительным типом, кажется, промышлявшим фарцовкой.

А тогда, когда она была влюблена в Поля, она стала приставать ко мне, чтобы я тоже выбрала себе «предмет» среди старшеклассников, и хотя там были одни деградировавшие уроды, мне все же пришлось сделать выбор, иначе она бы от меня не отвязалась, и я указала подруге на тощего длинного прыщавого белесого юнца с мутным взглядом, кажется, его звали Николай, и с тех пор Кузя стала заговорщически спрашивать у меня: «Ну как Николая?» Мне, в общем-то, было плевать на Николая, единственное его достоинство заключалось в том, что он подходил мне по росту, но в общем он вызывал у меня тошноту, даже издали. Мне казалось, что он ужасно похож на одного из любимейших коммунистами поэтов - Некрасова, только без его козлиной бородки и красного алкоголического носа, но с такой же унылой физиономией, как бы вобравшей в себя всю мировую скорбь. Во всяком случае, именно такое лицо у Некрасова на картине Перова, где он сидит на кровати, полуприкрытый пледом, и что-то пишет. Мы как раз тогда проходили поэму «Кому на Руси жить хорошо», в которой меня больше всего поразило описание того, как древний дед «скормил свиньям» грудного младенца, хотя в общем-то не со зла, а просто по недосмотру; но я все равно, помню, несколько раз тщательно перечитала этот отрывок, стараясь понять, не ошиблась ли я, правильно ли все поняла, именно оттуда я впервые узнала о том, что свиньи жрут детей, а, следовательно, и людей вообще. С тех пор я стала относиться к свиньям с некоторым предубеждением и отчасти с уважением. А Некрасов, свиньи, его портрет работы Перова, и вообще вся живопись передвижников еще и теперь сливаются для меня в нечто совершенно единое и практически неотличимое друг от друга, причем объединяет их вовсе не идейная близость, внимание к быту простого народа, его тяжелому положению и т.п., а, прежде

всего, любовь к уродству и всевозможным формам его проявления в жизни. Позднее соцреалисты, мне кажется, полностью позаимствовали эту любовь к уродливым формам у передвижников и Некрасова.

Кузя же на школьных вечеринках часто, сидя в углу, запрокидывала голову к стене, сжав зубы и закрыв глаза, и застывала так надолго – тем самым она подчеркивала трагизм своей неразделенной любви и смаковала ее. Кузя, кстати, несмотря на свой небольшой рост, была довольно-таки сильная: у нее были крепкие мускулистые ручки и очень твердые кулаки, иногда она могла дать мне очень больно кулаком в поддых или в бок, если я что-то не то говорила про ее «протеже», или даже просто не с той интонацией. В общем-то, она была хорошая девушка, добрая, тогда даже почти не пила, хотя курила очень много и еще периодически жрала «колеса».

Сейчас я понимаю, что Тютчев вряд ли мог даже предположить, что его стихами когда-нибудь будут доставать маленьких детей. Он ведь написал очень немного и вообще относился к своим стихам крайне небрежно, кажется, его знакомым поэтам приходилось их очень сильно редактировать, чуть ли не дописывать, при подготовке к печати. А однажды он даже по ошибке сжег свою рукопись – по-моему, это был перевод «Фауста»... Столь же легкомысленно он относился и к своим служебным обязанностям, к своей карьере, был даже как-то уволен из-за этого со службы, несмотря на то, что работа, насколько я понимаю, у него была совсем не пыльная: он служил тогда в дипломатическом представительстве за границей, кажется в Турине. Конечно, Тютчев принадлежал к старинному роду и в работе особенно не нуждался, хотя, насколько я помню, средства к существованию ему все-таки были нужны.

Однако, по-моему, дело не только в этом. Просматривая всевозможные биографии Тютчева, я постепенно начала приходить к выводу, что небрежность является едва ли не самой характерной чертой его личности. Особенно мне почему-то запомнилось, что на всевозможные балы и приемы он часто являлся в застегнутом не на те пуговицы сюртуке, то есть к своей одежде он тоже относился крайне небрежно. Уже не помню, где я об этом читала, но данная характерная деталь отчетливо врезалась мне в память, кажется, я даже натолкнулась на этот небрежно застегнутый сюртук сразу в нескольких статьях и воспоминаниях о Тютчеве. И вот эти неправильно застегнутые пуговицы на сюртуке окончательно убедили меня в том, что именно небрежность была самой характерной чертой его личности. Однако природа подобной небрежности до сих пор остается мне не совсем понятной.

Были ли пуговицы на сюртуке Тютчева неправильно застегнуты потому, что он хотел таким образом продемонстрировать свое презрение к мнению окружающих, или же эта небрежность в одежде просто являлась следствием его поглощенности своими мыслями и рассеянности? Естественно, практически все отечественные исследователи творчества Тютчева склоняются к последнему. Что вполне объяснимо, так как люди всегда склонны судить о других по самим себе. И для ученых-литературоведов вполне естественно видеть в Тютчеве такого же, как они, погруженного в свои мысли интеллигента, позабывшего ради этих мыслей обо всем на свете, в том числе и о собственной одежде. Но все-таки не стоит забывать, что Тютчев был поэтом, то есть вроде бы не совсем ученым...

И тем не менее должна признаться, что образ Тютчева для меня как-то двойится. Иными словами, мне не совсем понятно, был ли Тютчев влюбленным в самого себя денди или же просто зачуханным интеллигентом, чем-то вроде «человека рассеянного», который «вместо шапки на ходу» был способен надеть даже сковороду, а не только небрежно застегнуть пуговицы на своем сюртуке. И до сих пор я так и не пришла к какому-то окончательному выводу на этот счет.

Иногда мне кажется, что – да, он был аристократом и денди, но уже в следующее мгновение этот образ вдруг замутняется, и я начинаю думать, что он был типичным интеллигентом, к тому же еще и в очечках и т.п., а потом опять все сначала. А может быть, он был духовным денди? Ну это уже, пожалуй, какая-то пустая игра слов... Такое впечатление, будто сам Тютчев так и не сделал свой окончательный выбор между интеллигентностью и дендизмом, так и застрял где-то на перепутье.

В общем, неправильно застегнутые пуговицы на сюртуке Тютчева пока так и остаются одной из самых больших загадок русской литературы. Стоит ли говорить, что подобная двойственность одной из ключевых фигур отечественной литературы самым роковым образом сказалась на ее дальнейшем развитии!



Глава 6 Волнующий шепот Фета

Долгое время стихи Фета сливались у меня в сознании со стихами Тютчева, Майкова, Плещеева и прочих поэтов, описывавших природные явления. А потом вдруг случайно я где-то увидела его портрет и сразу почувствовала к нему глубокую симпатию: он чем-то походил на моего любимого кота – с большим носом, огромными, обведенными темными кругами глазами и с черной бородой. В школе наша учительница литературы Александра Павловна вообще Фета терпеть не могла и все повторяла, что он был настоящим, типичным «крепостником» и любил наблюдать за тем, как пороли крестьян: уютно устраивался в беседке в саду под раскидистыми липами, пил чаек с блюдечка и с наслаждением слушал вопли истязаемых крепостных. Как ни странно, но именно такая характеристика заставила меня обратить более пристальное внимание на стихи Фета, уж больно этот образ отличался от стандартной модели поведения, которую нам постоянно навязывали в школе, и постепенно Фет стал моим любимым поэтом.

Был такой период в моей жизни, когда я работала ночной уборщицей в кинотеатре на Невском. Помню, однажды мне позвонила подруга моей напарницы Иры и сообщила, что вчера Иру замели в ментовку - она попала в фарцовку. Я в очень мрачном настроении поплелась на работу – значит, мне придется пахать без отдыха. Был ноябрь, слякоть, мокрый снег, а тут еще и ментовка, и эти огромные пустые залы кинотеатра, забросанные использованными билетами, фантиками, разными бумажками, черный затоптанный пол, ряды деревянных кресел – полная тоска, а я и так уже чувствовала ужасную усталость, хотя мне еще предстояло подметать и мыть эти бесконечные пространства. И вот я взяла ведро, швабру, встала посреди зала, подняла голову вверх и неожиданно для самой себя вдруг запела романс на стихи Фета «Сияла ночь, луной был полон сад». И весь этот грязный обшарпанный зал вдруг превратился в пустынный гулкой готический собор, наполненный разными прекрасными неожиданными звуками и образами, и я уже не думала о том, что мне предстоит, я вообще перестала замечать окружающее, я все читала вслух стихи Фета и даже не заметила, как все закончилось, все оказалось убрано, а ведь прошло целых четыре часа, а мне показалось, что это длилось не больше пятнадцати минут! Потом знакомый психиатр сказал мне, что это определенный симптом, так начинаются некоторые психические заболевания: тебе кажется, что пять минут тянутся как пять часов, или наоборот, пять часов пролетают, как пять минут. Но тогда я об этом не думала. Я вышла на пустынный Невский, увидела в небе одиноко светившую и озарявшую мне путь бледную луну, потому что фонари уже не горели, и я так и пошла домой, и у меня в ушах все звучали эти стихи, и мне было совершенно все равно, что вокруг грязь, слякоть и сырость, мерзкая промозглая питерская погода – я чувствовала себя счастливой, все неприятное ушло куда-то в дальний угол сознания и совершенно закрылось чем-то красивым, легким, мелодичным и прозрачным.

А Фет и на самом деле был настоящим помещиком: сперва купил одно небольшое имение, потом еще, гораздо больше, а потом даже и дом в Москве. Правда, ему всю жизнь пришлось добиваться дворянского звания, даже поступить ради этого на военную службу, но одновременно с его повышением по службе повышался и ценз, необходимый для получения этого звания. И вообще, судьба обошлась с ним несправедливо, ведь дворянское звание полагалось ему от рождения, но получилось так, что потом ему всю жизнь пришлось за него биться. И все из-за темной истории, связанной с женитьбой его отца, Шеншина, на госпоже Фет, лютеранке, которая, будучи уже беременной, сбежала с ним от мужа! То, что этот муж, то есть настоящий отец Фета, был ко всему прочему вроде бы еще и еврей, придает всей этой ситуации особенно пикантный смысл. Уже практически перед смертью Фету все-таки удалось получить и звание и фамилию - Шеншин. В конце жизни он вообще стал богатым человеком, то есть получил все, о чем мечтал. Есть что-то волнующее и в смерти Фета. Говорят, он тяжело болел и, желая прекратить свои страдания, схватил кинжал. За ним погналась горничная, убегая, он поскользнулся и со словами: «Черт!» - упал и умер. Правда ли это? Но все равно красиво! Такое впечатление, что из множества нелепых деталей, жестов и поступков вдруг родилась еще одна строчка его стихотворения. Самая последняя!

«Шепот, легкое дыханье, трели соловья...» – эта строчка Фета, насколько я помню, вызвала бурную и крайне негативную реакцию Чернышевского, который в одном из своих писем даже написал, что «такие стихи может сочинить и лошадь». Самого же Фета Чернышевский назвал «идиотом, каких мало»... Не помню уже, где я натолкнулась на это письмо Чернышевского, но его суждения

навсегда оставили в моем сознании неизгладимый след. Видимо, потому, что Чернышевский, сам того не желая, как бы задал амплитуду колебаний русского духа: от крайнего эстетизма до полного и беспросветного уродства.

Правда, Чернышевского Фет тоже не переносил, и когда прочитал его роман «Что делать?», то вообще пришел в ужас и написал такую злобную статью, что даже известный реакционер Катков отказался ее печатать. Но мне кажется, Фет мог бы и не реагировать столь бурно на творчество Чернышевского. Теперь, по прошествии времени, совершенно очевидно, что если бы этого противостояния в русской литературе не было, то его стоило бы придумать. Кажется, раньше в Испании знатные дамы специально носили с собой маленьких обезьянок, чтобы те своим уродством еще больше оттеняли их совершенство и красоту. Вот роль такой уродливой обезьяны, по-моему, невольно и взял на себя в данном случае Чернышевский, так как его собственное творчество замечательно оттеняет эстетизм поэзии Фета, делая ее еще более совершенной и волнующей. В этом отношении можно даже сказать, что в России и сегодня самый благоприятный фон для любых проявлений эстетизма. А «Шепот, легкое дыханье...» и поныне остается одним из самых эпатажных стихотворений во всей русской поэзии. Маяковский со своим «Вам!» отдыхает!

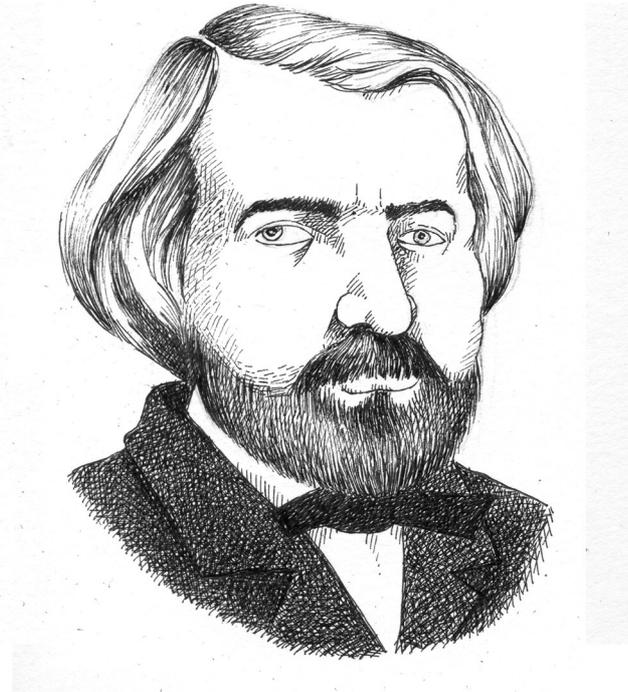
Ну а Чернышевский и внешне был настоящим уродом: близко посаженные близорукие глазки, огромный лошадиный нос, тяжелая челюсть и низкий лоб, как у питекантропа, – ко всему прочему он состоял в гражданском браке с некой Лялечкой, которая, кажется, была еще и прототипом его любимой героини Веры Павловны, чьи «пророческие» сны он так подробно описал в своей патологической книжице под многозначительным названием «Что делать?». То, что эта книга до сих пор присутствует в школьных программах, кажется мне в высшей степени непедагогичным, так как, насколько я помню, именно она в свое время заронила в мою душу первые серьезные сомнения в умственных способностях учителей.

Тем не менее сегодня я не испытываю никакого желания ниспровергать Чернышевского, точнее, не вижу в этом никакого смысла. Я бы даже сказала, что сегодня любой из претендентов на роль так называемого «гения» в чем-то подобен джинну, которого однажды выпустили из бутылки – его уже невозможно загнать обратно, никакие слова не помогут! И «Что делать?» – теперь такой же вечный и неразрешимый русский вопрос, как и спор о гениальности Ленина, например! Целые тома изошреннейшей эмигрантской философской схоластики, апелляции к Богу, традиции, «царству духа», нравственности и т.д. и т.п. не способны переубедить иступленно размахивающего томиком «великого вождя» полуграмотного пенсионера. Потому что именно Ленин говорит простые и понятные пенсионеру вещи, и это его, пенсионера, шанс на вечность и величие, от которого он теперь никогда уже не откажется. Веками люди задавались вопросом о том, что первично: материя или идея? И вот теперь наконец-то разгадали эту загадку – можно реорганизовывать Рабкрин и участвовать в соцсоревновании.

И это касается далеко не только Чернышевского или Ленина. Помню, когда я перевела «Историю глаза» Батая, я первое время никак не могла понять, что, собственно, такого в этой крайне небрежно и грубо написанной повести, целиком состоящей из однообразных перечислений всевозможных извращений, среди которых мне не попало даже ни одного более или менее оригинального. Чувствуется, что автору самому в душе было скучно писать, и он как будто хотел поскорее спихнуть с себя эту задачу, поспешно и приблизительно все описать самыми грубыми штрихами. Поначалу я даже ввязалась в какую-то дискуссию по поводу Батая, но теперь понимаю, что это было совершенно бесполезно. Научные

работники и библиотекари будут вечно пихать в нос окружающим Батая, так как именно этот всю жизнь проработавший в библиотеке писатель позволяет им почувствовать себя маркизами де садами, не покидая своих мягких кресел. Сам де Сад, по моим наблюдениям, притягивает их гораздо меньше, потому что его пример не гарантирует им полной свободы самовыражения с минимальным ущербом для собственного комфорта. Примерно то же самое, вероятно, можно было бы сказать и о поклонниках Толстого или же Набокова. Подобное тянется к подобному, а слова больше ничего не решают – все решает расклад сил! Несколько раз в своей жизни я встречала почитателей Хайдеггера и должна признаться, что не могу пока сказать о них ничего определенного – наверное, у меня просто мало материала для обобщения: всего каких-то два-три человека. Но есть примеры более очевидные! Художники из объединения «митьки» в меру своих возможностей превозносят такого же неряшливо одетого, как они, поэта Олега Григорьева, а учащиеся лицеев и ПТУ – солиста группы «Иванушки International». Не так давно по телевизору показали, как в Иерусалиме на знаменитой Стене Плача неожиданно образовалось влажное пятно (как впоследствии выяснилось, вроде бы из-за неисправности водопроводной трубы), и сразу же возле этого места возникла целая толпа каких-то косматых приплясывающих придурков с пейсами и дудочками, которые, заглядывая в телекамеры, наперебой начали предсказывать явление нового Мессии. По правде говоря, я бы не удивилась, если бы в результате с неба и действительно спустился такой же приплясывающий дегенерат, что знаменовало бы собой Конец Света. Безусловно, люди, апеллирующие к Богу, то есть к чему-то трансцендентному и неопределенному, по-своему поступают более хитро, однако и в этом случае можно догадаться об облике того, кого они ждут, кому поклоняются, - если бросить более внимательный взгляд на них самих, то есть от обратного, так сказать. Лично я очень хорошо представляю себе Бога, которому поклоняются современные православные, например, так как он притягивает к себе совершенно специфическую и особую породу людей. Думаю, что это не случайно...

Но в конце концов, все это – не более чем символы, указательные знаки, обращая внимание на которые можно избежать соприкосновения с теми или иными не слишком симпатичными вам группами людей, объединившихся под общим знаменем. Главное - не допускать чересчур глубокого вторжения этих групп на свою территорию, как это произошло в случае с Лениным или же Чернышевским. А спорить с ними бесполезно!



Глава 7 Тургеневские юноши

Мне почему-то всегда казалось, что Тургенев мог бы стать маньяком, хотя под теорию Ломброзо он, конечно, и не подпадает – внешность у него вполне благообразная и даже елейная. Своими белоснежно-седыми стриженными «под горшок» волосами, бородкой, нежно-розовым цветом лица и выразительными большими глазами он чем-то напоминает мне мою бабушку. У бабушки тоже была точно такая же прическа, такие же белоснежные волосы, и она постоянно курила «Беломор», к тому же очень любила этого писателя. Тургенев ведь тоже курил какие-то «пахитоски»!

Окладистая борода, седые волосы, симметричные черты лица – типичный писатель второй половины XIX века. Его, по-моему, можно даже перепутать с каким-нибудь писателем тех лет, а может быть, даже врачом или адвокатом – борода вообще сильно сглаживает индивидуальные черты лица, но без бороды я его себе не представляю. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я невольно ловлю себя на мысли, что, пожалуй, не смогла бы с уверенностью сказать, что это именно он, если бы мне вдруг случайно попался на глаза его портрет. И это несмотря на то, что портреты Тургенева я вижу достаточно часто. Тургенев – едва ли не единственный русский писатель, чье лицо я так до сих пор и не смогла толком запомнить. Думаю, что позднее именно такие не запоминающиеся лица были взяты на вооружение различными спецслужбами. Впрочем, в XX веке борода спецслужбами уже почти не использовалась, так как не только вышла из моды, но и вообще стала признаком маргинальности – если маленькие бородки, как у Чехова, агентам, косившим под каких-нибудь физиков-ядерщиков, еще и могли подойти, то такие окладистые, как у Тургенева, – вряд ли. Как бы то ни было, внешность Тургенева меня всегда настораживала – с того самого момента, когда я впервые увидела его портрет, и, как позднее выяснилось, настораживала не напрасно. Тургенев и вправду мог стать маньяком – у него были очень сложные отношения с матерью...

Маму Тургенева в детстве избивал и домогался отчим, она убежала к дяде, но и дядя обращался с ней не лучше. Правда, после его смерти она унаследовала солидное состояние, благодаря чему и смогла выйти замуж за смазливую, но крайне недалекого и легкомысленного юношу, который был намного ее моложе. Она и своих детей точно так же избивала и издевалась над ними, не избежал этого и ее любимый сын Иван. Кстати, когда он сошелся с супружеской четой Виардо, она вообще перестала давать ему бабки, и несчастный Иван Сергеевич, уже во вполне взрослом возрасте, месяцами жил на чужих заброшенных дачах и питался чем Бог послал. Кстати, мамаша Тургенева ненавидела все русское, и в семье говорили исключительно по-французски, так что даже русскую литературу писатель начал читать только с подачи своего крепостного слуги, а его мать всего этого терпеть не могла. Думаю, именно по этой причине он и написал свое известное стихотворение в прозе, посвященное «великому» и «могучему» русскому языку – в пику матери! Только после ее смерти у Тургенева появились деньги, и он смог хоть какое-то время пожить по-человечески. А жил он, как известно, в основном за границей, вместе с супружеской четой Виардо. В Париже я однажды мельком видела его дом, но только мельком. Один мой парижский знакомый как-то предложил мне этот дом показать – мы как раз проезжали неподалеку на его машине, – но когда мы к этому дому подъехали, он вдруг разогнал машину до бешеной скорости и начал беспорядочно сигналить. Он вообще любил такие шутки и тогда остался вполне доволен собой, а я в результате практически ничего не увидела!

Однако первые воспоминания, связанные непосредственно с творчеством Тургенева, у меня все же самые приятные. Помню, как-то я плохо себя вела и мама не взяла меня на прогулку за город, уехала с братом, а меня на целый день заперла дома одну. Я тогда жевала все запасы жвачки, обнаруженные в баре у отца. Он недавно приехал из Англии и привез офигительно вкусную жвачку – в каждой пачке было по пять пластиков, и все они были разные: малиновый, лимонный, ванильный, клубничный и, кажется, ананасовый. Я все жевала и жевала и параллельно читала Тургенева – у нас было академическое собрание сочинений в серых суперобложках, и на каждой был изображен седовласый Тургенев в кресле. Тогда я прочитала за несколько дней все его романы и повести, и до сих пор они ассоциируются у меня с восхитительным вкусом этой жвачки. Потом в школе, когда мы писали сочинение по «Отцам и детям», я исписала, кажется, полтетради, и все про балахон с кистями, в котором обычно ходил Базаров; учительница была очень недовольна, потому что я «не раскрыла тему». «Проблема балахона с кистями гроша ломаного не стоит!» – заявила она, но я была с ней категорически не согласна.

Образ отца, видимо, тоже сильно сказался на творчестве Тургенева. Все эти безвольные юноши, которые влюбляются в фатальных женщин старше себя, скорее всего, несут на себе отпечаток его личности. В совсем раннем детстве я часто слушала по радио пьесу, действие которой разворачивается в первые годы советской власти – кажется, эта пьеса называлась «Человек с ружьем», а может быть, и «Третья патетическая», в общем, что-то в этом роде. Из всей пьесы я почему-то отчетливо запомнила только одного персонажа: юношу, видимо, «из бывших», которого за взятки на службе приговорили к расстрелу. Его родственники подали апелляцию самому Ленину, и юноша в ожидании окончательного решения своей судьбы по ходу пьесы, сидя за роялем, постоянно декламирует: «Как хороши, как свежи были розы...» Насколько я помню, в конце концов его апелляцию все-таки отклоняют. Видимо, по замыслу создателя пьесы все это должно было продемонстрировать непреклонность и принципиальность вождя революции – на меня же, помню, такая развязка произвела крайне

гнетущее впечатление и впервые заставила усомниться в доброте «дедушки Ленина». Разве может какая-то «взятка» стоить человеку жизни?! К тому же я тогда вообще плохо понимала значение этого слова: «взятка». А когда мама мне его доходчиво объяснила, я и вовсе перестала понимать смысл столь неотвратимого наказания. За какие-то деньги?! Это просто не укладывалось у меня в голове! Поэтому я так внимательно всякий раз и слушала эту пьесу, – а ее в то время почему-то очень часто повторяли, – так как мне казалось, что я все же чего-то недопоняла и в другой раз развязка будет иной: Ленин изменит свое решение и помилует несчастного юношу...

Тогда я еще не знала, что эти стихи про «розы» принадлежат Тургеневу. А когда узнала, то образ этого изломанного юноши, порывисто набрасывающегося на рояль и как бы пытающегося раствориться в звуках музыки и собственного голоса, чтобы исчезнуть, стать бесплотным и избежать столкновения с тяжелой и неотвратимой реальностью, окончательно слился в моем сознании с образами большинства героев его произведений. Непреклонная воля вождя очень хорошо подчеркивает полное безволие тургеневских персонажей мужского пола, гораздо лучше, чем их фатальная любовь к роковым женщинам!

Хотя, вообще-то, в этом отношении у Тургенева в русской литературе имеется серьезный конкурент в лице Гончарова. Все главные герои-мужчины Гончарова тоже отличаются практически полным отсутствием воли и, действительно, очень сильно напоминают персонажей Тургенева, за исключением разве что Обломова. Не случайно Гончарову даже казалось, что Тургенев засылает к нему агентов, которые роются в его черновиках и всю информацию передают Тургеневу, а тот сразу присваивает все себе: и сюжеты и героев. Впрочем, я где-то читала, что у Гончарова была тяжелая наследственность – его предки были пациентами психушек, – так что, возможно, это у него с возрастом просто развилась мания преследования. Но причины для такой мании, на мой взгляд, были и в реальности.

Определенную конкуренцию в этом отношении, мне кажется, мог бы составить Тургеневу и Захер-Мазох, у которого мужчины тоже полностью подчинены женщинам, хотя это и не важно, так как к русской литературе напрямую уже не относится.

Впоследствии образ такого безвольного и немного женственного мужчины плавно переключался в качестве отрицательного персонажа в большинство советских фильмов. Именно так, например, изображены практически все мелкие жулики, спекулянты и фарцовщики в сериале «Следствие ведут знатоки», которых допрашивал следователь с квадратной головой по фамилии Знаменский – актера на эту роль тоже, наверное, специально подобрали, для контраста, чтобы зрители лучше могли почувствовать разницу между положительным и отрицательным героем. Хотя, вообще-то, в физиономии этого следователя у самого было что-то бабье, но уж никакой утонченности в нем точно не было.

Примерно такого же отрицательного героя играет и Андрей Миронов в комедии «Бриллиантовая рука». Впрочем, когда я недавно случайно еще раз посмотрела этот фильм по телевизору, я невольно поймала себя на мысли, что Миронов, пожалуй, играет уже типичного гомосексуалиста – по манерам, по всему... А чего стоит сцена, когда персонаж Миронова идет по подиуму и безуспешно пытается отстегнуть штанину у джинсов, чтобы превратить их в шорты! Конечно, я почти не сомневаюсь, что у создателей фильма и в мыслях не было как-то принизить или даже просто изобразить «представителя секс-меньшинства» – на эту тему в то время было наложено строжайшее табу. Но, видимо, по мере угасания классового боя при социализме нелюбовь ко всему

аристократическому и утонченному постепенно трансформировалась в бессознательную гомофобию. Во всяком случае, мне так кажется. Можно даже сказать, что таким образом произошло еще одно вырождение аристократии – на сей раз в виртуальном пространстве.

Одним словом, все эти «тургеневские юноши» из советского кино, преступавшие закон исключительно по мелочам, обычно получали за свои проступки какие-то чересчур суровые наказания, совсем как в той зловещей пьесе «про взятку». С одной стороны, мне всегда это казалось вопиющей несправедливостью, а с другой – невольно пробуждало в моей душе подозрение, что режиссеры этих фильмов просто чего-то недоговаривают, и эти персонажи провинились в чем-то еще, или же на худой конец и в самом деле отмечены еще каким-то тайным грехом, вроде нетрадиционной сексуальной ориентации. Наверное, было бы логично, если бы в России появился свой Хичкок, и один из этих героев все-таки наконец оказался бы маньяком. К тому же и сложные отношения самого Тургенева со своей мамашей также полностью укладываются в открытую Хичкоком в «Психо» «формулу маниакальности», на которую теперь опирается подавляющее большинство создателей триллеров. Тогда, возможно, этот дисбаланс между преступлением и наказанием был бы устранен, равновесие восстановлено и справедливость бы восторжествовала! Лично я начала бы такой фильм с какой-нибудь безобидной взятки, рояля, «свежих роз», а уже потом...



Глава 8 Коллеги

Константин Леонтьев писал о России как о больном, находил симптомы болезни, ставил диагноз, прописывал лечение. «Подгнила Россия, надо бы подморозить!» – звучит, почти как заключение патологоанатома по поводу трупа. Будучи врачом по специальности, он как бы невзначай перепутал Россию со своим пациентом. Кажется, метафора в переводе с греческого буквально означает «перенос». Вот и самое главное в творчестве Константина Леонтьева было, в

сущности, таким *переносом* его личного профессионального опыта в сферу литературы, на белый лист бумаги. Думаю, с формальной точки зрения такой подход не выдерживает никакой критики. Трупы, разложение... А при чем здесь государство и его история? Я бы даже сказала, что все это чем-то напоминает шулерский прием, потому что подобная метафора незаметно подбрасывается писателем в культурный обиход, совсем как нужная карта из рукава, а увлеченные игрой партнеры по столу поначалу ничего не замечают. Когда же до них что-то доходит, то уже слишком поздно, даже шум поднимать бесполезно. Партия разыграна, ловкий игрок сорвал куш и удалился... в небытие!

Но, с другой стороны, чем еще является литература, как не собранием подобных метафор, то есть переносов людьми своего жизненного опыта на белый лист бумаги?! Сидящим за столом игрокам только кажется, что партия играется по правилам. На самом деле эти правила существуют исключительно в головах литературоведов или еще критиков, которые, как я могла заметить, в литературе обычно мало что смыслят, ну разве что, в свою очередь, тоже переносят свой профессиональный литературоведческий опыт на жизнь, и тогда получается... Честно говоря, мне даже трудно определить, что тогда получается. Может быть, получается литературоведение? То есть литературоведение и есть собрание переносов многочисленных литературоведческих наблюдений на жизнь? Пожалуй, это было бы логично... Но для чего?.. Признаюсь, моя голова не выдерживает подобного логического усилия. Помню, одна моя парижская знакомая, селинистка, то есть литературовед по специальности, однажды в разговоре со мной с неподдельным пафосом воскликнула по поводу вдовы Селина Люсетт Детуш: «Что может понимать в Селине какая-то танцовщица!» Более того, думаю, что если бы она выпила еще, – а мы как раз сидели с ней в ресторане на рю Муфтар и выпивали, – то она вполне могла бы воскликнуть еще и так: «Что может понимать в Селине какой-то Селин, ведь он же был врачом!» Во всяком случае, я бы не удивилась. И самое главное, по-своему она была бы права!

Селин, на мой взгляд, действительно, не слишком хорошо разбирался в литературе, в том числе и в собственных произведениях. А уж о Константине Леонтьеве и говорить нечего! Иногда простота последнего даже пугает, например, когда в качестве примера «цветущей сложности» он ссылается на философию Гегеля. В такие моменты, признаюсь, он, по-моему, мало чем отличается от крестьянского паренька Есенина, испытывавшего настоятельную необходимость непременно «сесть за Маркса», или даже от того же Вилли Токарева, в ожидании журналистов заботливо раскладывающего на своем столике в гостиничном номере томики Пушкина и Толстого. И Вилли Токарев тоже, вслед за Леонтьевым, вполне мог бы добавить к ним еще и томик Гегеля, чтобы продемонстрировать журналистам сложность своего духовного мира... Короче говоря, и Селин и Леонтьев были совершенно посторонними людьми в литературе – лично у меня в этом нет никаких сомнений. И тем не менее оба сорвали неплохой куш! И все благодаря своей хорошо припрятанной в рукаве козырной карте! Своему богатому жизненному и профессиональному опыту, который они ловко перенесли в совершенно иную сферу!

Однако для того чтобы уже сидящие за игорным столом не заметили этот самый опасный момент подмены и позволили вновь пришедшему постороннему человеку включиться в игру, этот посторонний должен постараться как-то отвлечь их внимание. Например, вырядиться в экстравагантный костюм, завести речь на отвлеченную, не относящуюся к данной конкретной ситуации тему или же просто поднять шум, короче, сделать что-нибудь необычное, приковывающее к себе внимание окружающих. Вообще, когда прокручиваешь пленку, снятую

подвешенной к потолку казино скрытой камерой, то все представляется более-менее очевидным и понятным, но в момент игры в пылу азарта непосредственным участникам событий бывает во всем этом разобраться не так и просто. Поэтому всегда полезно мысленно прокрутить для себя такую «пленку» несколько раз, чтобы лучше все осмыслить и сделать для себя соответствующие выводы на будущее.

Константин Леонтьев, мне кажется, поразил внимание окружающих тем, что, сядя в экипаж, непременно бил палкой извозчика – в то время это было совершенно не принято! Все отвлеклись, перепутали Россию с человеческим телом, ну а потом уже игра пошла своим чередом: болезнь, смерть, разложение, гниение... В общем, дальше все логично, все по правилам! Более того, Константину Леонтьеву таким образом удалось проникнуть даже в философию, где эти правила вроде бы еще более строгие и жесткие: все должно опираться на логику или же на худой конец на диалектику – не знаю точно значения этого слова, но когда-то его слышала. Может быть, потому, что в философии, в отличие от литературы, философы так и не сумели отделиться от философствователей и смешались с ними в одну кучу. Видимо, именно поэтому, из-за этой неразберихи, в философии внешне теперь все выглядит очень строго и логично, хотя на самом деле, по сути, философия наверняка мало чем отличается от литературы. И пример Константина Леонтьева лишний раз это подтверждает. Врач Селин тоже, кстати, очень любил использовать в своих романах образ смерти, тщательно, со множеством анатомических подробностей описывая картины разложения как человеческого тела, так и всей человеческой цивилизации. Но дальше литературы Селин все-таки так и не пошел, видно, не рискнул...

Еще одним врачом в русской литературе и, пожалуй, самым известным, был Чехов. Однако профессия врача – видимо, единственное, что объединяет Чехова с Леонтьевым. Больше никаких точек пересечения этих двух писателей я не знаю. А почему, собственно, они должны были пересекаться? Конечно, забавно было бы сделать их обоих героями какого-нибудь произведения, типа «Коллеги», где Леонтьев был бы, естественно, гнусным карьеристом и эгоистом... А так... Да, врачи! Ну и что?! Чехов, в частности, наоборот всячески старался избегать в своем творчестве физиологии и, кажется, совсем не использовал никаких анатомических образов, даже в качестве метафоры. Герои его произведений почти столь же бесплотны, как и он сам. Думаю, именно поэтому его образ в советские времена был почти что канонизирован. Маленькая борода клинышком, пенсне и слегка виноватый взгляд прищуренных глаз – так и только так должен был выглядеть настоящий русский интеллигент! Образец и пример для подражания для каждого советского интеллигента! Такой не подведет, будет себе работать врачом за мизерную зарплату, да даже и не за зарплату вовсе, а просто из любви и сострадания к людям. Если ему что и не понравится, то он все равно ни за что и никогда не выскажет своего негодования вслух, а просто тихо сядет где-нибудь в уголке и будет молча смотреть оттуда на своих обидчиков с легкой укоризной. В своем роде наиболее экономичный и удобный тип человека, выведенный в течение многовековой селекции, причем именно в России. Новый человек, в котором все должно быть прекрасно: и лицо, и глаза, и руки.

Трудно сказать, что непосредственно в самом творчестве Чехова провоцировало на такую трактовку его образа – лично меня всегда настораживали достаточно явно присутствующие у него женоненавистнические мотивы, особенно в таких рассказах, как «Душечка» или же «Попрыгунья»... Видимо, все-таки это произошло из-за полной бесплотности его персонажей, побуждающих думать, что и их создатель тоже крайне неприятелен в своих

физических потребностях. Как бы то ни было, но Чехов оказался одним из первых русских писателей, который прошел полный фэйс-контроль при посадке на поезд, отправляющийся в будущее, а вот таких как Селин или же Леонтьев отсеивали еще на пути к платформе.

Внешний облик Чехова настолько очаровал советских людей своей очевидной духовностью, вызвал у них такое глубокое уважение и преклонение, что, очевидно, по аналогии с Чеховым, заодно был канонизирован и его практически полный визуальный двойник – Чайковский. Такая же бородка клинышком, такой же застенчивый взгляд слегка прищуренных глаз, ну разве что без пенсне! Допускаю, что пенсне в жизни у Чайковского тоже было, но его просто специально убрали с некоторых портретов – во избежание путаницы... Короче говоря, Чайковский был назначен на роль «настоящего русского интеллигента № 2», даже крупнейший международный музыкальный конкурс был назван его именем, тот самый, на котором выступал кумир советских домохозяек – американский пианист Ван Клиберн. Однако по иронии судьбы образ Чайковского впоследствии претерпел радикальную метаморфозу: этот «настоящий русский интеллигент» на поверку оказался отъявленным извращенцем, подпадающим под статью советского Уголовного кодекса. Одно из первых в России гомосексуальных сообществ стало даже называться его именем и поныне составляет незримую конкуренцию несколько поблекшему музыкальному конкурсу, что, впрочем, не мешает его участникам продолжать соревноваться в духовности. В общем, с Чайковским произошел небольшой облом! И кто бы мог подумать, что такое случится?!

Смутно помню фильм режиссера Таланкина о Чайковском, повествующий о сложных отношениях композитора со стареющей дамой по фамилии фон Мекк. Казалось бы, затронутая в фильме тема дает широкий простор режиссеру для игры с властью, а именно такие игры в то время так любила вести советская интеллигенция – самый что ни на есть удачный контекст, – но, насколько я помню, даже там, в этом фильме, нет и малейшего намека на то, что великий русский композитор жил с кучером. Судя по всему, режиссер этого просто не знает и даже не в состоянии себе такого представить. Впрочем, насчет режиссера я не уверена – должен же был человек обратиться хотя бы к архивам, приступая к съемкам подобного фильма! — а вот непосредственность советских руководителей в данном случае не вызывает у меня ни малейшего сомнения, да и большинства зрителей тоже.

Думая об этом историческом казусе, произошедшем с Чеховым и Чайковским, я невольно ловлю себя на мысли, что, может быть, гипотеза Леонтьева об общем состоянии здоровья и возрасте русской нации и вправду верна, то есть Леонтьев все-таки не совсем ошибся в своем *переносе*, кое-что угадал. В самом деле, медицинские аналогии напрашиваются сами собой: такое впечатление, будто какой-то незримый окулист усадил во врачебное кресло отечественных обывателей и устроил им небольшую проверку зрения. И это уже даже и не метафора почти, а сама реальность. Диагноз неутешительный! Впрочем, окончательный вывод делать пока преждевременно, заключений терапевта, окулиста и даже патологоанатома недостаточно, есть ведь еще и другие специалисты: стоматологи, невропатологи, ухогорлоносы и, конечно же, психиатры...



Глава 9 Синие брызги алкоголя

Порой я ловлю себя на мысли, как же плохо я знаю родную литературу! Почти ничего не помню про такого поэта, как Аполлон Григорьев, например. Ну разве только то, что он много пил и довольно рано умер... Просто какая-то амнезия, настигшая меня в результате автомобильной катастрофы или чего-то в этом роде. Автомобиль перевернулся, голова закружилась, и в мозгу все перемешалось! Какая-то каша! Или вот еще: никогда не читала книг Философова, но зато мне доподлинно известно, какой замечательный у него был зонтик, с какой изящной ручкой. Стоит только мне услышать имя Философова, как перед глазами сразу же встает этот зонтик, можно сказать, как живой. Хотелось бы понять, откуда я это знаю? Вот этот прочно засевший в моем мозгу «зонтик Философова», пожалуй, настораживает меня больше всего, больше всего заставляет опасаться за свой разум. В самом деле, ничего не знать про человека и точно знать, какой у него зонтик, – это странно! Опасный симптом, настораживающий...

И самое главное, что я вроде бы почти не пью... А почему, интересно, пил Аполлон Григорьев? Точнее, зачем? «Почему» – в отношении поэтов так вопрос вообще нельзя ставить: поэт, как и любой художник, все должен делать с умыслом, иначе и говорить не о чем. То есть я хочу сказать, что любой писатель, помимо текстов, всегда является еще и творцом контекста собственного творчества, и если кто-то по какой-либо причине этого недопонимает, то это исключительно его личная проблема. Говорят, русские купцы специально приглашали в ресторан своих деловых партнеров и смотрели: если человек не пьет, значит, ему доверять нельзя. Может быть, и Григорьев принадлежал к купеческому сословию? Вполне вероятно... То есть таким образом он хотел расположить к себе читателей на свой, на купеческий манер. Некрасов, во всяком случае, этим приемом очень успешно пользовался. Все знают, что он пил и еще играл в карты, и эти его «вредные привычки» и по сей день сильно

облагораживают личность Некрасова в глазах потомков. Более того, только эти «привычки» и придают, пожалуй, некоторый шарм его поэмам, часто напоминающим плохо срифмованную прозу. Еще бы, человек не вмещается в узкие рамки этого убогого мира, тоскует и заливает тоску водкой!..

Есенин, кстати, одно время очень увлекал мое воображение – и тоже в основном своими стихами, написанными в пьяном бреду. Помню, накурившись до глюков, моя школьная подруга Лана заплетающимся языком, в упор глядя на меня, все повторяла: «Что ты смотришь так синими брызгами или в морду хошь?!» Она и на самом деле была способна дать в морду, но до мордобоя, к счастью, дело тогда не дошло, хотя могло бы – Лана была очень сильная и агрессивная. Она, кстати, познакомила меня со странными московскими тусовщиками: одного звали Ганс, а другого – юноша Боков. Ганс был похож на потомка североамериканских индейцев, с длинными, черными, как смоль, волосами. Лана сообщила мне, что у него на лбу прыщи: когда они ехали вместе в метро, там дул сильный ветер от проходящих поездов, и он рукой постоянно придерживал свою челку, чтобы этих прыщей не было видно, но она все равно разглядела. А юноша Боков оказался страстным поклонником Есенина, мы собрались тогда на квартире у Ланы, и он с безумным подвыванием стал декламировать поэму «Черный человек», прыгал, скакал и со словами: «И летит моя трость прямо к морде его, в переносицу!» – какой-то палкой изо всех сил долбанул по красивому старинному зеркалу в золотой раме, оно разлетелось вдребезги, в общем, устроил такой небольшой перформанс. Моей подруге потом здорово влетело от родителей. У юноши Бокова были почти белые бледно-голубые глаза, бесцветные жидкие волосы, они с Гансом, кажется, оказались классическими наркоманами, точнее, «наркомаи», как тогда говорили. Лана любила повторять: «На зло, на подлость, на обман – на все способен наркоман!». Где-то, кажется, через месяц, она сообщила мне, что юноша Боков повесился. Я сперва подумала, что это прикол – но нет, оказалось, что на самом деле.

Тогда как раз по рукам ходила поэма про джинсню, шузню и наркоту, которую, как потом выяснилось, сочинил Гребенщиков. Эта поэма даже тогда показалась мне совершенно дебильной, до сих пор помню строки: «Взял у фирмы он джинс крутой и сдал его за восемь ноль. А мне сказал, что сдал за пять. Не верю! Врешь! Едрена мать! Да ты не верь, но ты ответь: Хотела б ЛСД иметь?» – и дальше все в том же духе. Помню, Лана тогда с пеной у рта доказывала, что «едрена мать» – это выражение совершенно не центровое, а вот юноша Боков с ней почему-то спорил, хотя на самом деле она была абсолютно права. Короче говоря, тогда я была совершенно уверена, что лучшие свои стихи Есенин написал в алкогольном бреду и белой горячке, и поэтому его так и по сей день любят в России – до сих пор у него очень много горячих и искренних поклонников и подражателей.

А сегодня профессиональному литератору Некрасову, да и крестьянскому поэту Есенину я больше не доверяю. Во-первых, потому что в литературу никто никого насильно не тянет, и в самом факте вовлеченности в эту сферу деятельности уже есть что-то избыточное, не оправданное чистой прагматической необходимостью – в мире существует множество занятий, неудовлетворенность которыми выглядит куда более правдоподобно и естественно: работа на конвейере например. Так что большинству писателей вполне можно было бы и не пить, раз уж они занимаются чем-то необязательным, а для начала можно было бы просто попытаться сменить профессию, заняться чем-нибудь более интересным, тем, что их больше устраивает, – так мне кажется... Но я не доверяю Некрасову, наверное, еще и потому, что в дальнейшем советские писатели довели этот фокус с алкоголем до абсурда. Почти все

советские писатели, как известно, постоянно квасили, закладывали за воротник и нажирались, во всяком случае, постоянно об этом долдонили, так как это, видимо, по их мнению, должно было символизировать непомерную широту их натуры, не вмещавшейся в рамки их убогих произведений, ограниченных жесткими рамками официальной цензуры, иными словами, таким образом они пытались изменить не слишком благоприятный контекст своего творчества. Официально об этом, конечно, в то время никогда не говорили, зато на бытовом уровне постоянно. Не знаю даже, откуда просочилась ко мне эта информация, так как я вроде бы с писательской средой тогда почти не соприкасалась, но в голове с детства что-то такое засело, наверное, из разговоров взрослых. И сегодня эта информация тоже постоянно просачивается из многочисленных мемуаров бывших членов «совписа», которые я тоже, вроде бы, не читаю, но все равно... Мне кажется, что если бы кто-нибудь когда-нибудь и взялся написать «подлинную историю советской литературы», то она непременно на девяносто процентов должна была бы состоять из кулуарных историй и анекдотов, повествующих о всевозможных попойках и пьяных мордобоях, а вовсе не из примеров подлости и «стукачества», как это представляется так называемым диссидентам. Возможно, именно в пьянстве советские поэты вслед за Некрасовым видели свой шанс на Вечность.

Однако именно этот тайный порок стал наиболее явным эстетическим знаком провинциальной ущербности советской культуры. После падения «железного занавеса», повлекшего за собой резкое расширение культурных границ, неожиданно выяснилось, что в то время, как отечественные писатели и поэты квасили и кирали, их зарубежные коллеги уже всю тащились, ширялись и кололись, то есть занимались чем-то по-настоящему противозаконным, так как употребление наркотиков во всем мире сопряжено с гораздо большим риском и даже влечет за собой уголовную ответственность, чего никак не скажешь об алкоголе. На этом неожиданно открывшемся фоне романтический жест советских поэтов, косивших под Некрасова и Есенина, только еще больше отделил их от обывательской законопослушности.

Этот печальный опыт советской литературы не прошел для меня бесследно. Сегодня я невольно ловлю себя на мысли, что, в отличие от русских купцов, пожалуй, гораздо больше инстинктивно не доверяю пьющим людям, чем ведущим трезвый образ жизни. Это в жизни, а об искусстве и говорить нечего. Мне кажется, что человек, наделенный элементарным эстетическим чувством, никогда не признается сейчас вслух в своей пристрастии к алкоголю, и тем более не сделает это частью своего писательского имиджа, даже если на самом деле он и употребляет спиртное. Сегодня в России пить не то чтобы аморально или же асоциально, все гораздо серьезнее – пить эстетически не актуально, можно даже сказать, не модно. Образно говоря, эта затасканная и изрядно надоевшая деталь в наряде писателя сегодня жутко раздражает взгляд, особенно если сам писатель этого не замечает. Алкоголь как эстетический феномен, кажется, окончательно перешел в разряд совершенно исчерпавших себя вещей и выглядит столь же банально, как, например, любовь мужчины к женщине, о которой я уже говорила.

Наверное, поэтому и некогда столь любимый мной Есенин, певец алкоголя и женщин, вкупе с остальными крестьянскими поэтам, сегодня напоминает мне солиста поп-группы «На-На». Просто наваждение какое-то, от которого невозможно избавиться: такие же кудри, голубые глаза... Один к одному! А Клюев у группы этих розовощеких поэтов, наверное, был за Алибасова. Да возможно, так и оно и было, или почти... Особенно поначалу, до революции. Есенин – классический простачок, провинциал, которому благодаря протекции Клюева, возможно, даже воспользовавшись его нетрадиционной сексуальной

ориентацией, удалось втереться в высшее общество, где он разгуливал всюду с льняными кудрями, в вышитых рубахах и лаптях, нараспев декламируя:

Выткался на озере алый цвет зари.
На бору со звонами плачут глухари...

И Аполлона Григорьева мне, видимо, так уже никогда и не прочитать. Не могу себя заставить преодолеть инстинктивное недоверие к созданному им образу. Сознательно я, естественно, понимаю, что отцы за детей не отвечают, но ничего не могу с собой поделать. Скучно!

Теперь мне гораздо ближе директор гимназии Анненский, для которого алкоголем и были его собственные стихи, то есть он отводил душу в собственном творчестве. Вот Анненский уж точно тяготился своей чиновничьей должностью, в этом я почему-то не сомневаюсь...



Глава 10 История болезни

Помимо врачей, к концу XIX века в русской литературе не менее явственно себя обозначили и их потенциальные пациенты. Хотя, вообще-то, и Чехов, как известно, страдал чахоткой, подолгу жил в Ялте и достаточно рано умер... Но все равно он вошел в литературу, прежде всего, в качестве внимательного доброго доктора с бородкой, пристально взирающего на своих персонажей и читателей сквозь пенсне. Пример Чехова лишний раз показывает, что писатель способен произвольно выбирать себе ампула больного, врача или там алкоголика, вне зависимости от своего реального физического состояния и склонностей.

Надсон, например, в свое время меня заинтересовал именно тем, что очень рано умер, причем причиной его преждевременной смерти стала все та же чахотка. За свою короткую жизнь он достиг настоящей славы. Огромные для того времени тиражи его книг разлетались в мгновение ока, хотя стихов его сегодня я уже почти не помню – кажется, он в основном писал о природе. Думаю, разгадка

его популярности кроется исключительно в его болезненной внешности, производившей неизгладимое впечатление на домохозяек, которые в основном и составляли тогда в России публику, читавшую поэзию. У туберкулезников обычно бывает такая эффектная неземная внешность – фарфорово-белая кожа, легкий нежный румянец, отрешенный взгляд, и они так мало живут, долго не отвечивают, короче говоря. Туберкулез в XIX веке вообще был, пожалуй, самой романтической болезнью – это уже в XX веке, после изобретения пенициллина и других антибиотиков, его место окончательно занял СПИД. А возможно, Надсон еще и ассоциировался у обывателей с одним из «униженных и оскорбленных» героев Достоевского, многие из которых, впрочем, тоже страдали чахоткой.

Имя Гаршина в детстве тоже было окружено для меня романтическим ореолом. Одна моя подруга под большим секретом как-то поведала мне, что он покончил с собой: сиганул в пролет лестницы с четвертого этажа. А мне тогда любое самоубийство казалось чрезвычайно романтическим, поэтому Гаршин сразу встал в моем сознании в ряд таких же писателей с трагическими судьбами, не способных справиться с грубостью жизни, не умеющих постоять за себя, которым я всей душой сочувствовала. У нас в классе, помню, увлечение подобными личностями да и самим фактом суицида приобрело воистину пугающие масштабы. Одна девочка, Аня Тарасова, носившая фетровую шляпу с широкими полями и с бельевой резинкой под сильно скошенным подбородком, истерично махая руками, периодически устремлялась на проезжую часть под автобус. За ней бежали и удерживали ее вечно сочувствующие и озабоченные девочки, затем начинали укорять в бесчувствии юношу, в которого она была безнадежно влюблена, но юноша цинично сплевывал на землю и говорил, что Аня напоминает ему проститутку 30-х годов. От такого определения бедная Аня заливалась горькими слезами и канцелярской скрепкой пыталась расцарапать себе вену на левой руке. К счастью, ничего серьезного так и не случилось. Вскоре в школу пришел анин папа, высокий мужик в золоченых очках, в длинном, черном, застегнутом на все пуговицы плаще и черной шляпе, очень похожий на пастора. Он перевел дочку в другую школу. Но и с уходом Ани декадентские настроения в школе продолжали нарастать.

В конце концов, я прочитала рассказы Гаршина, но мне они, против ожидания, совершенно не понравились – какая-то бодяга о свободолобивых студентах. Кроме того, я изучила его биографию и обнаружила, что это был действительно психически больной человек – даже ходил к Толстому в Ясную Поляну и обсуждал с ним планы устройства счастья всего человечества. Да и портрет Гаршина меня разочаровал: дебильная физиономия в форменной фуражке, блаженный взгляд вытаращенных глаз. Гаршин же, судя по фуражке, вроде был железнодорожником, так что в каком-то смысле это еще хорошо, что он решил посвятить себя литературе, направил свою энергию в этом направлении. Сумасшедший железнодорожник – такой вполне мог бы и стрелки не туда перевести. Кажется, его сказки до сих пор цитируются в учебниках по психиатрии как наиболее яркие иллюстрации клинической картины определенных заболеваний.

Все, впрочем, познается в сравнении. Был ведь еще и некто Успенский, который описывал жуткую тяжелую жизнь крестьян, сладострастно смакуя подробности их беспросветного существования. Помню, когда я прочла пару его рассказов, то после этого целую неделю не могла прийти в себя, впала в депрессию. И книги его, целое собрание сочинений, стоявшее в книжном шкафу в большой комнате, все были в твердых добротных картонных переплетах темно-коричневого цвета дерьма. Меня до сих пор передергивает, стоит мне вспомнить

этого писателя. Там у него постоянно то младенцы тонут в корытах, то крестьян давят тяжелыми телегами, они надрываются от непосильного труда, ну и пьют, естественно. В общем, чистый мрак, настоящая «чернуха». Прическа у Успенского была примерно такая же, как у Тургенева или у Чернышевского, очевидно, такие тогда были в моде.

Сегодня мне даже немного жаль, что в школе я ничего не знала про такого поэта, как Александр Добролюбов. Пожалуй, он был поколоритнее Гаршина и Надсона. Тоже писал какой-то горячечный бред, стремясь слиться с природой, с Богом и со всяким живым существом; при этом организовал среди студентов декадентскую тусовку и на собраниях воспевал красоту самоубийства, курил гашиш, а у себя в комнате даже выкрасил в черный цвет стены и потолок. Кажется, под его влиянием несколько человек и в самом деле покончили с собой. В конце своей творческой карьеры он обрядился в лапти, посконную рубаху и отправился странствовать по Руси, в общем, так и исчез где-то, окончательно слившись с природой... А может быть, это и хорошо, что в детстве ни я, ни девочка Аня Тарасова ничего не слышали про такого поэта, как Александр Добролюбов? Кто знает?..

Одним словом, история русской литературы где-то к концу девятнадцатого столетия, и вправду, начинает немного смахивать на историю болезни. Как будто скрытые до той поры симптомы вдруг выплыли наружу, проступили, как пятна на лице, обрели законченную форму, нашли своих выразителей... Однако историк литературы не должен поддаваться на все эти болезненные провокации – пусть домохозяйки оплакивают печальную участь гаршиных, надсонов и успенских, а историк литературы себе такого позволить не может. Ведь он всего лишь бесстрастный арбитр, а не человек. И писатель для него тоже уже не совсем человек, а прежде всего именно писатель, который живет и умирает вместе с литературой, подчиняясь суровым законам искусства, а не природы. Поэтому историк литературы должен уметь безо всякого колебания подавлять в себе малейшие проявления жалости (в соответствии с наставлением Ницше): он должен быть способен подтолкнуть падающего, подкрасться, например, сзади к склонившемуся над лестничным пролетом Гаршину и помочь ему совершить свой последний полет. Пусть летит себе, голубчик! Все-таки это его единственный шанс взволновать воображение безмозглых школьников.

Один мой парижский знакомый (ныне очень известный писатель) несколько лет назад в приливе откровенности признался мне, что вынужден был отнять у умирающего писателя Максимова кислородную подушку и не отдавать до тех пор, пока тот не подписал ему рекомендацию в ПЕН-клуб. Вот и историк литературы должен, по-моему, любить литературу не меньше, чем этот мой знакомый – ПЕН-клуб. Без колебаний он должен отнимать кислородную подушку у таких, как Надсон, – пусть задыхаются! Тому же, кто не чувствует в себе подобной твердости, лучше за историю литературы и не садиться... Что касается меня, то я, кажется, вполне созрела для подобной миссии. Не то чтобы Гаршин или Надсон не способны меня теперь разжалобить своими болезнями, но в случае необходимости я могла бы, наверное, запросто подорвать пару домов с мирно спящими слегка простуженными писателями и домохозяйками или же пустить под откос целый состав с чахоточными поэтами, направляющимися на отдых в Коктебель. И все потому, что я очень хорошо себе представляю, что бывает, когда кому-нибудь из болезненных представителей творческой интеллигенции удастся вышибить у своих почитателей хотя бы самую скупую слезу. Последствия не заставят себя долго ждать! Уж так устроены люди: стоит им только почувствовать, что что-нибудь отломится, если они будут вести себя в литературе тем или иным образом, как они сразу же всей кучей кидаются в этом

направлении и начинают всех нещадно доставать... Своими страданиями, например.

Никогда не забуду, как доставали меня в детстве стихами слепого поэта-фронтовика, особенно про отставшую от поезда собачку... Да и другие поэты-фронтовики, в общем-то, тоже были ненамного лучше, даже вспоминать не хочется. Был еще какой-то фокусник, умудрившийся написать целую книгу пальцами ног, потому что в результате аварии лишился обеих рук. Книга называлась «Всем смертям назло», а вот фамилию автора я уже не помню, да и книгу, к счастью, так и не прочитала, хотя учительница литературы настоятельно рекомендовала ее для внеклассного чтения.

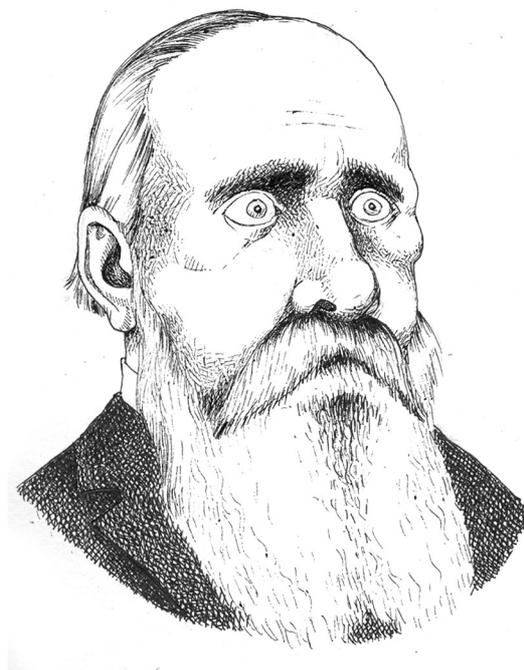
И «культовый» советский писатель Николай Островский тоже был совершенно слепой и, кажется, даже не мог ходить, передвигался в инвалидном кресле, хотя точно не знаю, были ли тогда такие кресла, может, он просто сидел дома в обычном кресле, и его переносила прислуга. Островский родился в городе Шепетовке, где жила моя бабушка, и я каждое лето к ней приезжала на каникулы. Я, кстати, тогда совершенно случайно, исследуя центр города Шепетовки, обнаружила там рядом с кинотеатром небольшой домик, выкрашенный в голубой цвет, с табличкой: «Дом-музей Николая Островского». Поскольку вход туда был бесплатным, я частенько в этот музей заходила, это стало для меня способом провести время до начала очередного сеанса в кинотеатре – других развлечений в городе Шепетовке не было.

Вот тогда я и узнала, что Островский родился именно в Шепетовке, а следовательно, все события, описанные в его романе «Как закалялась сталь», разворачивались именно там. Помню, в этом музее были под стеклянными колпаками представлены очень искусно и с любовью сделанные маленькие домики, в которых якобы раньше жил Островский и его родители, – вот только до сих пор не понимаю, почему этих домиков было несколько. Там даже можно было нажать на выключатель – и в окошечках домиков загорался свет, поэтому особенно приятно было приходить в музей вечером, когда уже было темно. Но, к сожалению, музей закрывался уже в шесть часов, так что только зимой, в ранние сумерки, мне удавалось в полной мере насладиться этим зрелищем, однако зимой я в Шепетовку практически не приезжала, только, наверное, один раз, на зимние каникулы. Особенно мне в этом музее нравилась маленькая хатка, или мазанка, как говорят на Украине, вокруг которой были сделаны сугробы снега из ваты – когда в окошечках горел свет, она выглядела особенно уютно. Я все подолгу ее рассматривала, заглядывая в окошечки, тщетно надеясь, что вот сейчас здесь появятся маленькие гномики – к тому же, через окошечки можно было разглядеть печь, стол, покрытый вышитой скатертью, стульчики, кровать, на печи даже стояли чугуны и мисочки. Но вот гномиков не было ни одного. А в соседнем зале музея красовался огромный памятник Островскому, сидящему в кресле, судорожно вцепившись в подлокотники своими тощими жилистыми руками, запрокинув назад голову, настоящий череп, ноги его были закрыты пледом. В витрине также были выставлены тарелка с обитыми краями, алюминиевые ложка и вилка, а еще обгрызанный карандаш и картонка с пробитыми в ней линейками – при помощи этого он писал, чтобы строчки получились ровными. Хотя, кажется, сам Островский писал мало – в основном диктовал свои произведения жене, выполнявшей при нем функции секретарши. Но больше всего времени я проводила в зале с маленькими домиками. Остальные комнаты меня мало интересовали – там было холодно, пусто и скучно. Да, рядом были еще выставлены подарки, которые местные предприятия преподносили музею на очередной юбилей Островского. Сахароперерабатывающий завод подарил сахарный бюст писателя, железнодорожники – красное паровозное колесо с

портретом Островского в центре, трикотажная фабрика —великолепный огромный рушник с вышитым опять-таки портретом Островского, фарфоровый завод — вазу, чашку и блюдце, на которых были профили писателя, и так далее, всего я, к большому сожалению, не запомнила.

Когда я потом, уже через много лет, опять приехала в Шепетовку, я больше не нашла там того маленького музейчика, зато через дорогу, на холме, которого здесь раньше не было, возвышалось огромное строение, по виду напоминавшее бетонный бункер, а рядом стоял здоровенный монумент Островскому, в полный рост, в спадающей до пят серой шинели, кажется, за его плечами реяло огромное красное знамя. В общем, какой-то такой памятник в духе конструктивизма — что-то среднее между памятником героическому комсомольцу, установленному в 1967 году на Комсомольской площади в Ленинграде (правда, комсомолец был в **буденовке** и в распахнутой шинели, под которой он оказался совершенно голым — необычное для того времени решение!), и памятником Феликсу Эдмундовичу, не так давно украшавшим Лубянскую площадь в Москве. Нет, скорее тот Островский был все-таки ближе к Дзержинскому — те же мрачные и строгие линии, только голова немного другая, хотя издали вполне можно было и перепутать.

А вот саму книгу «Как закалялась сталь» я помню гораздо хуже. Смутно припоминаю, что главный герой, сидя в вагоне поезда, испытывал какие-то неясные чувства к своему товарищу по партии Рите, и больше вообще ничего не помню. Хотя название вообще-то хорошее, но Островский, по-моему, идею испортил, не сумел воплотить. Лучше было бы без Риты.



Глава 11 Уроки классики

Что такое отчуждение? Маркс, наверное, понимал это слово как-то по-своему. А мне кажется, что отчуждение — это когда, например, вдруг становится ясно, что все «положительные герои» в окружающем тебя искусстве, да и в мире вообще, кажутся тебе отрицательными. Но этого мало, это, так сказать, только

первая стадия отчуждения. Последняя наступает, когда «положительными» становятся все «отрицательные» персонажи. Вот тогда круг замыкается! И ты окончательно погружаешься в отчужденный мир.

Лично я с детства ощущала недоверие ко всем «положительным героям» русской литературы. Оно и понятно! Разве способен всерьез противостоять Максим Максимыч Печорину, Каренин – Вронскому или же Тихон – Ставрогину... Впрочем, школьные учителя и составители учебников литературы, насколько я помню, были почему-то в этом вопросе чрезвычайно снисходительны к писателям. Считалось вполне нормальным и естественным, к примеру, что Тургенев хотя и старался изобразить нигилиста Базарова как можно более отрицательным в назидание своим согражданам и потомкам, но «его талант ему этого сделать не позволил». И в результате у него получился вполне импозантный молодой человек, настолько привлекательный, что даже великий поэт Маяковский с детства мечтал сыграть его в кино... И это странно, то есть я хочу сказать, что такая снисходительность со стороны учителей и историков литературы к русским писателям меня сегодня немного смущает. Писатель ведь не просто водит рукой по бумаге в полной пустоте, а тоже имеет дело с некоей тонкой материей, именуемой смыслом, наподобие того, как музыкант, к примеру, имеет дело со звуками. Никому и в голову не придет, наверное, сказать, что музыкант и рад бы играть правильно, но ему талант не позволяет не извлекать фальшивых звуков. А вот писателям почему-то позволено «бренчать на расстроенном рояле», и это никого не смущает. И русская литература чем-то напоминает мне именно такой расстроенный рояль.

Мне почему-то кажется, что когда-то, очень давно, этот рояль, может, и был более или менее настроен, но потом постепенно струны в нем ослабли. Не иначе как без вражеской помощи не обошлось. Ведь все это не так и безобидно, если подумать. Сколько напастей свалилось на голову России в XX веке, а, с другой стороны, людей, воспитанных на такой литературе, по-моему, ничего другого ждать и не могло. Порой я даже думаю, что кайзер не только финансировал партию большевиков, чтобы развалить Россию, но и мода на русскую литературу в начале XX века – это тоже неспроста... А самое главное, что и сегодня эта вражеская деятельность не прекращается. Несколько раз я садилась за составление заявки на грант Сороса и всякий раз где-то на четвертой-пятой фразе чувствовала, что все – больше писать не могу, сейчас меня стошнит от избытка духовности и доброты, которые я должна продемонстрировать. Поневоле согласишься с депутатами Госдумы, подозревающими Сороса в подрывной деятельности. Лично я это на собственном опыте почувствовала.

Стоило бы, кстати, проанализировать с этой точки зрения и творчество лауреатов российских литературных премий за последние десять лет. За что и кто дает деньги? И хотя я не помню практически ни одной фамилии, но почти уверена, что и тут спонсоры действуют в унисон с Соросом, с той же подрывной целью: превратить русских в расслабленных добрых идиотов. К счастью, в России есть люди, которые совсем не читают книг, – на них вся надежда, можно сказать, последняя. Правда имеется, к сожалению, еще и телевизор... Никакого настоящего, последовательного и в высшей степени поучительного насилия, чтобы зрители поняли, как это обычно бывает в жизни, и готовились. Куда там! Все гоняются за маньяками, совсем затравили несчастных.

Конечно, и во всей мировой литературе сегодня дела обстоят ненамного лучше, чем в русской. Но все-таки там есть кое-какие проблески здравого смысла. Допускаю, что каким-нибудь замшелым критикам, находящимся под воздействием давно вышедшей из моды русской литературы XIX века, персонаж Селина Бардамю и кажется антигероем, но самому автору он таковым не кажется:

для Селина Бардамю – это герой, и более того alter ego. И для Жана Жене матрос Кэрель, убивающий и предающий своих друзей, – это тоже предмет восхищения и герой. Во всяком случае, никаких положительных альтернатив авторы этим своим персонажам никогда не предлагают. А вот русский классик Гончаров непременно заставляет ломать голову своих читателей над тем, кто же все-таки предпочтительней: Обломов или же Штольц. И все постепенно начинают склоняться к мысли, что все-таки Обломов, хотя сам автор вроде бы считал, что Штольц, но талант опять ему чего-то там не позволил. Лично мне сегодня глубоко плевать и на Обломова, и на Штольца, у меня и без того много проблем, чтобы забивать еще себе голову подобной чушью. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы бесконечное брэнчание на расстроенном рояле немного поутихло, потому что порой все это очень сильно начинает действовать на нервы. В конце концов, музыкант (он же писатель), садясь за свой «рояль», должен знать хотя бы сам, что, нажимая на ноту «до», он извлекает именно этот звук, а не «соль» или «ля». Это, по-моему, должно быть минимальным требованием, самым элементарным, чтобы признать писателя талантом, а тем более классиком, то есть образцом для подражания.

Если же подражать русской классической литературе, то, как показало время, можно прийти к очень-очень интересным результатам, в высшей степени поучительным. Советская литература, например, своих классиков не дала, но, кажется, во всем старалась подражать русской. И надо сказать, советским писателям талант очень много чего не позволил: у них уже все отрицательные персонажи однозначно воспринимались как положительные, и соответственно, наоборот. До такой степени, что неважно даже, понимали это сами писатели или нет, так как тут уже началась настоящая какофония. И самое главное, что своей цели, воспитания нового человека, эта литература достигла. Было, кажется, такое произведение в разгар так называемого «застоя» под названием «И это все о нем» – очень, по-моему удачное название, точное. Потому что, как позднее выяснилось, советская литература и была «вся о нем», о будущем вкладчике «МММ». Если сейчас это произведение прочитать, то, наверняка, можно будет там обнаружить его портрет, портрет этого вкладчика, хотя я, признаюсь, деталей уже не помню.

Однако если продолжить аналогию с музыкой, то вообще-то, надо признать, что не только музыканты виноваты, но и у слушателей тоже должно быть не все в порядке со слухом, если они громко аплодируют тому, кто фальшивит. Поэтому так и опасна тонкая фальшь, что она постепенно притупляет слух, приучает к фальши слушателей. А потом вдруг приходит какой-нибудь совершенно отмороженный тип и начинает так брэнчать на рояле, путая все звуки, что после него все вообще перестают что-либо понимать. В русской литературе первым таким абсолютным отморозком был, по-моему, Салтыков-Щедрин. Тоже по-своему классик, надо признать. Его, мне кажется, в этом отношении так до сих пор никому и не удалось переплюнуть. Самое интересное, что его почему-то называют сатириком, хотя, ко всему прочему, он, по-моему, был начисто лишен чувства юмора: лично я что-то не помню, чтобы его книги хоть раз вызвали у меня улыбку.

И видок у него был соответствующий: с вытаращенными глазами, напоминающими перезрелый крыжовник. Лицом он мне всегда очень напоминал Ивана Грозного с картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына», такой же всклокоченный и безумный старик. Не говоря уж о том, что такие лица обычно бывают у людей, больных базедовой болезнью, а зоб, наверное, скрывался под его длинной всклокоченной бородой, его на портрете видно не было. Забавно, но где-то я прочитала, что в лице этого писателя запечатлелась мучительная боль,

страдание за всю нашу несчастную родину. Ко всему прочему из-за своей фамилии Салтыков-Щедрин еще и прочно ассоциировался у меня в детстве в сознании с Салтычихой – какой-то помещицей, прославившейся своей жестокостью, применявшей к своим крепостным самые изощренные пытки. А Салтыков-Щедрин, в общем-то, и был русским маркизом де Садом. Только Сад совершал насилие над плотью, а Салтыков-Щедрин положил начало изощренной традиции русского духовного садизма, подхваченной впоследствии советской литературой, тоже отличавшейся, как известно, особой духовностью. Салтыков-Щедрин ведь постоянно совершал насилие над духом, точнее, над своими персонажами, не оставляя им никакой возможности для самозащиты, сразу же навешивая на них обличительный ярлык в виде «говорящего» имени, вроде Иудушки, а порой и целый город у него с ходу становился Глуповым... Таким образом, он очевидно компенсировал полное отсутствие чувства юмора. Сатирик все-таки как-никак, надо же как-то это продемонстрировать, чтобы все поняли... Альтернативой же всему этому собранию моральных уроков и дураков, которые населяли его книги, он, судя по всему, считал самого себя.

До сих пор не могу понять, что такого отрицательного, например, в образе Иудушки Головлева, кроме имени? Если бы не имя, то, мне кажется, никто бы никогда не догадался, что это отрицательный персонаж. Чем так уж плох Иудушка? Он своих беспутных племянниц из дому не гнал, поил, кормил и к мамаше относился с уважением. А то, что он был экономный, – только говорит в его пользу. Вообще из всего романа «Господа Головлевы» мне больше всего запомнился образ Любиньки, племянницы Иудушки: она отравилась спичечными головками. Интересно, как ей это удалось? Или спички тогда были другие? Кстати, лучше всего Салтыков-Щедрин описал разгульную жизнь провинциальных актрис – со знанием дела и со вкусом. Это просто бросается в глаза – настоящего извращенца сразу узнаешь.

Кстати, и мою школьную подругу Свету очень вдохновлял образ Иудушки. Мы с ней ходили в литературный клуб «Дерзание» при Дворце пионеров, и ей очень нравился наш преподаватель, она часто повторяла с придыханием: «Да это же настоящий Июдюшшка!» – и в этих словах звучало скорее восхищение, нежели осуждение. Помню, как-то она даже звонила преподавателю домой и потом в деталях описывала мне разговор с его женой: «Я спросила Александра Моисеевича, а жена очень ревнивым голосом мне: «А кто его спрашивает?!» - наверное, изменяет ей направо и налево. А я так устало: «Да какое это имеет значение!» – и бросила трубку!» Мы с подругой тогда долго веселились, причем самому Александру Моисеевичу она так ничего и не сказала, только мне часто описывала воображаемые любовные сцены с этим учителем. Потом, правда, воображение моей подруги больше стали занимать священники, в своих фантазиях она представляла, как придет в церковь, якобы на исповедь, и совратит какого-нибудь батюшку. Только ей придется поискать, выбрать из них наиболее привлекательного, а тут уж придется попотеть, потому что красавцы среди них встречаются не часто. «Вот представляешь, я прихожу в церковь, и говорю: «Батюшка, я хочу исповедаться!» Он: «Слушаю тебя, дочь моя!» А сама все ближе к нему, ближе. А я буду в платье с декольте, в таком коротком и в обтяжку, а сверху надену черный платочек. И тут у меня вдруг – бац! – лопается лямка лифчика, ее можно заранее подрезать, чтобы она на одной ниточке держалась...»

А вообще, когда я читала в школе Салтыкова-Щедрина, то чувствовала себя каким-то Вичиным из фильма «Кавказская пленница» – когда он стоит в середине, а по бокам его держат за руки Никулин и Моргунов, а прямо на него едет машина, и он так дергается в ужасе, дергается, но не в силах вырваться, падает на колени и затихает. Вот так и я тоже – по бокам стоят мрачные

Островский и Лесков, похожие на жирных баб, а прямо на меня надвигается упырь Салтыков-Щедрин, уставился на меня своими выпученными глазами, бородой трясет и размахивает суковатой палкой, сейчас в лоб влепит, а мне деваться некуда, просто вырваться сил нет.



Глава 12 Антиэстетика

Вообще, пора бы мне, наверное, закончить с XIX веком, надоело уже: вроде бы, кажется, все, ан нет – того забыла, этого забыла, за ниточку потянешь, а она, оказывается, так перепуталась с другими, что пока все не вытащишь, не успокоишься, и все новые и новые переплетенные разноцветные шелковые ниточки, скользкие, прочные, все в узелках, конца не видно. Как будто сидишь в своем маленьком уютном уголке, защищенном от любых внешних воздействий, и никакие слова окружающих, никакие звуки вообще до тебя не доходят, разбиваются о невидимую преграду, а внутри, как за тонкой стеклянной, но очень прочной стенкой, нахожусь я, и не так уж мне вроде и интересно что происходит там, снаружи, но все равно я их всех вижу, а они меня – нет...

Приблизившись в своей истории к рубежу девятнадцатого и двадцатого столетий, я вдруг отчетливо начинаю видеть, как эти два века отразились один в другом, совсем как в зеркале. Все, буквально все представления о добре и зле, идеи, образы положительных героев... вдруг перевернулись и с зеркальной симметрией перешли в другой век, превратившись в свою противоположность. И даже красота с уродством, кажется, тоже полностью поменялись местами.

Одним из главных итогов русской литературы XIX века, видимо, стал выдвинутый Достоевским тезис: «Красота спасет мир!» Вспоминая это пророчество сегодня и оглядываясь по сторонам на окружающую реальность, я честно говоря, с трудом могу сдерживать улыбку. Хотя, может быть, высказывание Достоевского следует понимать вовсе не как императив: мол, красота обязательно, в любом случае, непременно спасет мир, – а просто как

предположение, в том смысле, что если что-нибудь когда-нибудь и спасет мир, то это будет красота... Если же логически развить эту мысль, то соответственно получается, что *уродство мир погубит*. И вот это утверждение, на мой взгляд, уже гораздо ближе к истине, то есть с большим основанием может восприниматься в качестве императива! Современник Достоевского Леонтьев, судя по всему, тоже отдавал себе в этом отчет, поэтому, наверное, и предполагал, что подлинный «эстетик» в любых обстоятельствах непременно должен противопоставлять себя господствующей в обществе точке зрения, то есть ставить себя в самое затруднительное положение и, тем самым, в общем-то хоронить, добровольно уступая дорогу тем, кто никаким «подлинным эстетизмом» себя не утруждает и спокойно обделывает свои дела. Вне всякого сомнения, эти «практические» рекомендации Леонтьева объективно способствуют, «дают зеленый свет» и т.п. грядущему торжеству уродства, бросающиеся в глаза признаки которого можно ныне повсюду наблюдать...

Я, к примеру, не могу без некоторого внутреннего содрогания даже думать о предстоящем праздновании трехсотлетия Петербурга, даже слабые отголоски приготовлений к этому событию – вроде конкурса на лучший текст к «Гимну великому городу» и т. п. - меня немного пугают. Честно говоря, мне бы вообще хотелось где-нибудь отсидеться и не выходить из дома во время этого торжества. И самое главное, что дело тут не только в том, чтобы не подпускать к отпущенным на это мероприятие бабкам никого, у кого еще сохранилось хотя бы минимальное эстетическое чувство – это само собой! Дело еще и в том, чтобы провести все как можно более уродливо и безвкусно – так, чтобы всех достать. В этом, мне кажется, главный смысл и кайф всех подобных мероприятий, из которых в целом и состоит жизнь современного человека.

Таким образом, самые «жестокие таланты» русской литературы Достоевский и Леонтьев, в сущности, тоже выглядят сегодня наивными утопистами. Что касается меня, то я вообще никогда не понимала, почему практически все существующие на сегодняшний день антиутопии в той или иной степени носят морально-этический, а не эстетический характер. Настоящая антиутопия, по моему, еще не написана, так как к морали она никакого отношения не имеет и должна называться «Власть уродов» или как-то в этом роде. Впрочем, кажется, именно такую антиутопию и пишет теперь сама жизнь.

Короче говоря, сегодня, в конце XX и начале XXI века, можно с уверенностью констатировать, что уродство очень скоро окончательно погубит мир. И осуществится это при помощи деятельности «подлинных антиэстетиков», которые при любых условиях, в любых жизненных ситуациях будут тупо обделывать свои дела, ничему и никому себя не противопоставляя, а, наоборот, всячески подстраиваясь под обстоятельства. На этот счет ни у кого не должно быть никаких иллюзий, так как альтернатив данной перспективе, в сущности, нет никаких, и чем больше претенденты на роль эстетов будут грузить себя всевозможными проблемами и отвлекаться на всякую чепуху, тем скорее все это осуществится.

Помню, давно, уже, наверное, лет пятнадцать назад я купила в «Букинисте» старое издание Апухтина, кажется, 1905-го года, своего рода собрание сочинений в одном большом томе, так как там были и стихи и проза. Книга была не в очень хорошем состоянии, отсутствовали некоторые страницы, а конца вообще не было, поэтому и стоила она не так уж дорого. Но я все-таки ее купила, так как стихи Апухтина мне раньше, еще в школе, нравились, а его прозу я не читала, и мне было интересно ее почитать. Я даже сходила в библиотеку, переписала там от руки недостающие страницы, а затем отпечатаала их на машинке и вставила в книгу - туда, где они должны были находиться изначально. А потом решила

отдать ее в переплет – но не в переплетное ателье, где у меня незадолго до этого украли старое издание Ходасевича, да еще на меня же и наорали – а частнику, чтобы ничего не потерял и все сделал как можно лучше. В газете я нашла объявление, позвонила и договорилась о встрече.

В убогой комнатухе в коммуналке на Суворовском проспекте меня встретил смуглый темноволосый мужик, внешне очень похожий на хачика, и говорил он тоже с небольшим южным акцентом. Он внимательно меня выслушал, все кивал мне, кивал, а в конце заломил какую-то несусветную цену, но торговаться я не стала, постеснялась.

Однако когда я пришла получать заказ, этот хачик, едва я переступила порог, торопливо пихнул мне книгу в ярко-красном грубо сделанном переплете, страницы были обрезаны криво, те, что я напечатала на машинке и вставила, торчали, некоторые страницы даже были перепутаны местами – я чуть не заплакала от жалости к безнадежно испорченному изданию. А этот придурок, пока я рассматривала книгу, сюсюкал с уродливым голым младенцем, распеленутым на кровати, рядом умильно улыбалась его жирная жена. Я пыталась объяснить ему, что он сделал не то, о чем мы договаривались, но он смотрел только на своего отпрыска, беспорядочно сучившего кривыми красными ручками и ножками, и, судя по всему, даже не думал слушать мои претензии: его интересовали только булькающие звуки, которые издавал младенец. Правда, в конце концов, он все же повернулся ко мне и доверительно сообщил: «Это я все ради своего сыночка работаю. Я теперь должен деньги зарабатывать, ведь у меня сыночек родился!» Очевидно, сыночек родился именно тогда, когда он переплетал моего Апухтина – неделю назад здесь я никакого ребенка не видела. Был только хорошенький рыжий кисуник с белой мордочкой, который сидел на столе и вылизывал свою шерсть. Из-за этого кисуника, собственно, я и торговаться с этим придурком не стала, оставила ему книгу, которую он так безжалостно испортил.

К чему это я?.. А к тому, что если человек хочет что-нибудь сделать в этом мире, то ему нужно хотя бы не размножаться. В противном случае он если не себя, то любое дело обязательно загубит, наподобие того, как этот олигофренческий хачик испортил мне книгу Апухтина. А большего от современного человека, по-моему, требовать просто глупо! Несколько раз, кстати, я наталкивалась в разных современных критических статьях на разоблачительные попытки отождествить практически любые проявления эстетизма с гомосексуальностью. И должна признать, что в подобных наблюдениях, действительно, есть доля истины. Гомосексуалисты хотя бы не размножаются, и то хорошо. Поэтому они и могут себе позволить хоть какие-то прихоти и красивые жесты, в отличие от остальных людей, особенно тех, что плодятся, как тараканы. И потом, гомосексуалист всегда невольно является как бы немного женщиной среди мужчин и, наоборот, мужчиной – среди женщин, то есть он, пожалуй, как никто другой сегодня все еще подпадает под определение эстетизма, предложенное Леонтьевым, причем для этого ему даже совсем не нужно напрягаться: слово «должен» ему не подходит – он может оставаться эстетом и при этом спокойно обделывать свои дела, идти в ногу со временем, конкурировать с «антиэстетиками» и т.п. Хотя, конечно, в то время, когда я впервые прочитала стихи Апухтина, я вообще об этом не задумывалась и не догадывалась, естественно, почему это Чайковский так часто писал романсы на его стихи – это только потом до меня дошло.

Позднее я как-то случайно натолкнулась на могилу Апухтина на Волковском кладбище и даже цветок ему положила – белую розу... Правда я тогда хотела найти могилу Блока и отправилась на Волковское кладбище, но почему-то пошла

в обход и все брела вдоль речки Волковки – а она все не кончалась – по каким-то рытвинам, буграм, чуть не свалилась в речку в одном месте, состояние у меня было какое-то ненормальное, как будто заблудилась в трех соснах. Весь окружающий мир виделся мне жутким и враждебным, поэтому я даже у прохожих боялась спросить, у них у всех были такие мрачные злобные хари.

Помню, однажды я отправилась в Москву за бельгийской визой. И вот ранним утром на Ленинградском вокзале, совершенно не выспавшись, я спросила у какой-то жирной бабы, где здесь находится бельгийское посольство. А она с видимым наслаждением и радостной готовностью отправила меня на станцию метро «Тимирязевская». Я тогда плохо знала Москву, села в метро и поехала, как зомби, хотя уже по дороге почувствовала что-то неладное: какое-то животное чутье мне подсказывало, что не может посольство располагаться так далеко от центра. К счастью, у меня хватило ума уточнить эту информацию у пожилого бородатого мужика в очках. Выяснилось, что ехать нужно было совсем в другую сторону, а та сука специально отправила меня в ложном направлении. В общем, я сразу вернулась обратно и успела как раз к открытию. С тех пор я дорогу предпочитаю ни у кого не спрашивать, особенно у баб, ну разве что в самом крайнем случае.

Вот и тогда, на Волковом кладбище, мне казалось, что меня кто-то отправил не туда, что это не здесь, я ничего не найду, но я все равно тупо и упорно брела вдоль этой речки и в конце концов-таки нашла вход на кладбище и Литераторские мостки, и могилу Блока – новенькую, с блестящими золотыми буквами и корзинами цветов, кажется, даже венки от городской администрации там были. На самом же деле настоящая могила Блока находится на Смоленском кладбище под огромным дубом, а на Литераторские мостки его перенесли только через двадцать лет после первых похорон, и к тому времени там, скорее всего, и праха даже не осталось, ну может быть какие-нибудь жалкие косточки. Просто большевики любили все систематизировать и упорядочивать, вот и решили всех писателей собрать в одном месте, для удобства: раз уж ты пришел на Литераторские мостки, то все писатели должны быть здесь, тем более Блок – автор революционной поэмы «Двенадцать». Я взяла с собой белую розу, но когда об этом подумала, то решила вдруг положить эту розу на могилу Апухтина, которую неожиданно заметила неподалеку и на которой цветов совсем не было. А к Блоку мне пришлось идти отдельно.



Глава 13 Ускользящая красота

До самого последнего времени в русской литературе присутствовала четкая дихотомия, которая даже была в чем-то сродни христианскому делению на *этот* и *иной* мир, Царствие Небесное и Ад... В школьные программы, например, писатели попадали как бы за грехи, а точнее, за те или иные эстетические просчеты. И чем больше было таких «грехов» на душе писателя, тем больше места ему уделялось в учебнике литературы, тем обширнее становились посвященные ему статьи в литературных энциклопедиях. Стоило только, к примеру, желчному и всегда ненавидевшему все советское Бунину слегка «расслабиться» и отозваться с похвалой о натужной поэме Твардовского «Василий Теркин», как он тут же удостоился девяти томного собрания сочинений. В СССР Бунину простили все, включая «Окаянные дни», и этот в общем-то довольно камерный писатель тоже очутился в школьной программе, во всяком случае, его рекомендовали старшеклассникам для внеклассного чтения. Хотя, на мой взгляд, эта «счастливая» метаморфоза, произошедшая с Буниным, явилась прямым следствием его старческого маразма. Бунин в старости, признающийся в любви Твардовскому, чем-то напоминает мне дряхлеющего Вертинского, жеманно исполняющего под фортепьяно песни на стихи советских поэтов в провинциальном театре советской эстрады. Образец дурного вкуса!

Выпускники советских школ, воспитанные на подобном курсе литературы, мне кажется, не нуждаются ни в каком Законе Божьем, так как интуитивно они и без того всегда будут испытывать глубокое недоверие ко всему посюстороннему: школьным программам, признанию, энциклопедиям, премиям и прочим атрибутам суетного тленного мира. Коммунисты, видимо, сами того не желая, сделали все возможное, чтобы привить устойчивое отвращение ко всему этому душам людей! Лично я невольно ловлю себя на мысли, что до сих пор воспринимаю школьную программу не иначе, как ад для писателя, а литературную премию – как суровое испытание, и может быть, даже наказание, хотя мой разум этому и противится, но я ничего не могу с собой поделать. Более

того, я, кажется, могла бы продолжить начатую мной аналогию между литературой и христианством и дальше – сравнить литературное произведение с человеческим телом. И тут, в этом отношении, я тоже не могу избавиться от ощущения, что любые признаки посюстороннего признания как бы обрекают литературное произведение на преждевременное гниение после смерти автора, и наоборот: чем более спорным, сомнительным, рискованным, с точки зрения большинства людей, это произведение является, тем больше у него шансов стать вечным и нетленным. В общем, все почти как с мощами святого... «Почти», но видимо, все-таки не совсем, так как в таком понимании литературы нет и малейшего намека на мораль или там нравственность, – более того, автор, желающий сделать свое произведение бессмертным, вполне может прибегнуть к самым рискованным с точки зрения морали и нравственности приемам. Сад, Жене или Берроуз очень мало напоминают христианских святых. И вообще, писатель, уличенный при жизни в симпатиях к чему-нибудь крайне одиозному, например фашизму или антисемитизму, тоже, по моим наблюдениям, получает неплохие шансы на Вечность. Что бы там ни говорили, но эти рискованные пристрастия являются проверенными «прививками», предохраняющими творческое тело творца от быстрого гниения. Признаюсь, я пока сама не до конца понимаю природу этого явления, поэтому просто ограничусь констатацией факта.

Даже классик русской литературы Достоевский угодил в советские школьные программы, видимо, исключительно благодаря своей знаменитой юбилейной Пушкинской речи, которую опять-таки произнес совсем незадолго до своей смерти: по всей вероятности, и тут тоже не обошлось без симптомов старческого маразма. В этой речи Достоевский, как известно, предсказал наступление всеобщей идиллии и гармонии на земле. Прогрессивно настроенная публика в зале пришла в неопиcуемый восторг, и, само собой, эта мысль Достоевского пришлась впоследствии по душе коммунистам – за это ему простили даже «Бесов»... Показательно, что именно за эту речь Достоевский был подвергнут яростной критике Константином Леонтьевым, который, кажется, сам по сей день так и не вошел не только в школьные, но и в вузовские программы. И признаюсь, этот факт до сих пор довлеет над моим сознанием: мне всегда казалось, что Леонтьев – один из немногих русских писателей, который сумел сделать себе серьезную «прививку» от преждевременного тления.

Однако впервые я услышала о Константине Леонтьеве не в школе, и даже не в университете, а чуть позже. Один мой знакомый работал в котельной и почти все свое свободное время проводил в Публичной библиотеке, где читал, кажется, исключительно философов. Во всяком случае, я сделала для себя такой вывод, так как при встрече он неизменно заводил со мной философские беседы и начинал ссылаться на всевозможные имена, многие из которых были мне тогда еще не известны, отчего сливались в какую-то ничего не значащую череду фамилий. Да и большинство мыслей, которые с таким жаром пытался донести до меня мой приятель, должна признаться, тоже от меня ускользали. В общем, я слушала его не слишком внимательно, скорее, даже просто из вежливости, но он этого не замечал, и всякий раз пускался с жаром мне что-то рассказывать и объяснять. Он даже в Публичную библиотеку записался, кажется, по поддельным документам, то есть с риском для себя, потому что высшего образования у него не было, а при записи там требовался диплом и справка с соответствующей работы. Не знаю, как это ему удалось, но, кажется, он попросил одного своего друга записаться вместо него, а потом просто вклеил в читательский билет свою фотографию. В принципе, это было вполне реально, так как милиционеры на входе смотрели читательский билет не особенно внимательно и других

документов никогда не требовали — все-таки это был не банк и не какое-нибудь секретное учреждение, а всего лишь библиотека...

Однажды я вместе с этим своим знакомым оказалась в пьяной компании в гостях, где, кроме нас, было еще множество каких-то совершенно отмороженных личностей. Один жуткий тип, насколько я помню, напившись, сразу же полез под стол и стал хватать всех за ноги, причем, главным образом, лиц мужского пола. Он и моего приятеля тянул под стол, предлагая ему там «попиздеть о Боге» — так, во всяком случае, мне послышалось. Однако мой знакомый не обращал на него никакого внимания — он сидел и увлеченно о чем-то беседовал с какой-то накрашенной девицей. Я не слышала, о чем они говорят, но почти не сомневалась, что он беседует с ней о философии. И действительно, позже мой знакомый признался мне, что эта незнакомка совершенно поразила его воображение тем, что знала Леонтьева. «Ты представляешь, — возбужденно восклицал он, — ведь это имя не знают даже филологи!» Кажется, он даже едва не женился на этой девушке. Правда потом выяснилось, что она имела в виду совсем другого Леонтьева — Валерия, а вовсе не Константина! И их брак расстроился... Тем не менее этот случай все-таки подействовал на меня, и я навсегда запомнила это имя, — даже сходила в библиотеку, чтобы «почитать Леонтьева»...

Леонтьев является автором самых парадоксальных суждений о русской литературе XIX века. Он ставил графа Вронского выше Толстого, а Чичикова — выше Гоголя. И именно Леонтьеву принадлежит, пожалуй, самое меткое определение эстетизма, в соответствии с которым «подлинный эстетик при демократии должен быть немного за деспотизм, а в период деспотизма — за демократию...» Сам он тоже полностью соответствовал этому определению,

последовательно выступая за деспотизм вопреки господствовавшему в его время общественному мнению, что в целом и предопределило его не слишком счастливую творческую судьбу при жизни, а также долгие годы забвения после смерти. Кроме того, своим непостоянством он довел до помешательства собственную жену, а закончил свои дни, постригшись в монахи.

Мне почему-то больше всего запомнился факт биографии Леонтьева, связанный с Тургеневым, горячим поклонником творчества которого Леонтьев был в молодости. Не помню уж, как они там оказались вместе, но однажды Тургенев, стоя рядом с Леонтьевым на одном из швейцарских холмов, вдруг обмолвился о видневшихся вдали аккуратных двухэтажных домиках как о чем-то идеальном, к чему неплохо бы стремиться и России. На что молодой поклонник Тургенева отреагировал совершенно неожиданно: «Вы действительно видите в этом пошлом мещанском однообразии идеал? Ну тогда я больше не желаю больше с вами иметь ничего общего!» Точно я не помню, но смысл восклицания Леонтьева был именно таков. И с этого момента Леонтьев, и вправду, вроде бы оборвал все отношения с Тургеневым. Я хорошо запомнила эту сцену, потому что в ней ярче всего запечатлелась самая суть личности Леонтьева, который навсегда останется в истории русской литературы одиноким героем, отважно бросившим вызов чуть ли не всей мировой пошлости.

Я не знаю, как сложилась судьба того моего знакомого, фанатичного поклонника Леонтьева — как-то так получилось, что я давно уже ничего о нем не слышала. Но я прекрасно себе представляю, на чьей стороне, например, должны были бы быть его симпатии сегодня в этой тотальной схватке с мировым терроризмом. Очень хорошо себе представляю! Облаченный в живописный белый наряд арабский шейх и ненавистный Леонтьеву человек в пиджаке, «средний евро-американец как идеал и орудие всемирного разрушения»!

Леонтьев фактически не оставляет своим поклонникам выбора!.. И обрекает на поражение!

Что касается меня, то, должна признаться, меня слегка смущает подобная предопределенность и простота выбора. Красота, по-моему, по своей природе все же менее уловима. Лично я, например, совсем не уверена, что рациональный европейский пиджак эстетически сильно уступает наряду арабского шейха, и даже наряд какого-нибудь казака с живописной шашкой не кажется мне сейчас эстетичнее практичной формы спецназовца или же десантника. Более того, казак в своих брюках с лампасами сегодня представляется мне фигурой опереточной и в чем-то даже уродливой. То же самое в некотором смысле относится и к современным поклонникам Леонтьева, чьи вкусы выглядят сегодня чересчур архаичными и, я бы даже сказала, литературными.

Помню, когда-то давно я смотрела фильм Херцога, в котором американские нефтедобытчики натываются на упорное сопротивление австралийских аборигенов из-за того, что вновь открытое ими месторождение нефти оказалось на месте, куда, по мнению аборигенов, «приходят помечтать зеленые муравьи». В тот момент, когда я смотрела этот фильм, мои симпатии были полностью на стороне аборигенов, которые казались мне чуть ли не олицетворением природы, гибнущей под натиском человеческой цивилизации. Но позднее, хорошенько поразмыслив, я постепенно пришла к выводу, что все это – не более чем романтический штамп. На самом деле американские нефтедобытчики в своем стремлении добывать себе средства к существованию – пусть даже в виде нефти, – пожалуй, гораздо ближе к тем же муравьям, да и вообще, к природе, чем аборигены. Представления же аборигенов о мире куда более надуманные, неестественные и даже декадентские, поэтому их обреченность на вымирание вполне закономерна. Примерно то же самое можно было бы сказать и о причинах поражения американских индейцев или же гибели цивилизации ацтеков, о которых было так много уже написано всевозможных слащавых книг. В животном мире есть сила и красота, но нет шаманов, колдунов и литературы! И в дизайне машины и современного оружия тоже есть своеобразная природная красота и магия, так как их форма подчинена единственной цели – победе.

Приблизительно так же постепенно трансформировалось и мое отношение к поклонникам Константина Леонтьева, которые тоже сегодня чем-то напоминают мне обреченных на вымирание аборигенов.



Глава 14 Борьба видов

Конечно, каждый ищет в книгах и литературе что-то свое, то, что ему наиболее близко и дорого, что представляется ему самым характерным и важным. Меня, например, почему-то больше всего всегда интересовало и продолжает интересовать: а кого из русских писателей можно было бы назвать самым тупым? И стоит мне только задуматься над этим вопросом, как перед глазами сразу же возникают различные образы, целая картинная галерея, настоящий паноптикум... После долгих размышлений я все-таки постепенно начинаю склоняться к мысли, что самым тупым в русской литературе, видимо, был Горький. Честно говоря, я пришла к этому выводу после некоторых колебаний, и не только потому, что в русской литературе у Горького в этом отношении очень много конкурентов, но еще и потому, что к моему восприятию Горького примешивается много личных воспоминаний. И тем не менее приходится признать, что тупость, пожалуй, самая характерная черта этого писателя – от него прямо так и веет тупостью, даже на солидной временной дистанции.

Внешне Горький был чем-то похож на моего дедушку, который жил в городе Шепетовке и работал машинистом на паровозе. Скошенный назад лоб, короткий нос, запавшие щеки, залызанные назад волосики, раскосые хитрые глазки – такие лица бывают у железнодорожников, электриков, токарей, плотников, слесарей-сварщиков, сантехников-инструментальщиков и прочих представителей пролетариата. Мне почему-то кажется, что на носу у Горького росли волосы – хотя ни на одном портрете это и не запечатлелось, но я уверена, что точно росли. В школе мы распевали оперу «Мать»: «Павел, Павел, твою мать, мать твою... арестовали!», а хор подпевает: «Твою мать! Твою мать!» И естественно, мы учили «Песнь о Буревестнике» наизусть.

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник...» Интересно, что хотел сказать этими словами автор? Не

исключено, кстати, что Горький, подобно Азефу, состоял на службе в царской охранке, то есть был тайным агентом, и, пользуясь своими связями в революционных кругах, пытался таким образом проинформировать начальство о том, что откуда-то из-за океана, а может быть, просто по Балтийскому морю из Швеции или же Германии направляется гонец с революционной «маявой», которого нужно срочно перехватить, причем лучше всего это сделать в Финляндии, где в это время как раз находился агент по кличке «пингвин», с ударением на первый слог. Это смещенное ударение, кстати, вполне могло быть ключом ко всей этой шифровке, делавшим понятным его смысл для посвященных... Во всяком случае, такая трактовка этого стихотворения Горького очень многое объясняет в его судьбе. И в частности, способна пролить свет на причины его невероятной популярности в начале XX века, так как Горький в то время был очень здорово раскручен. Его перевели почти на все языки. Несколько раз даже приглашали в Америку, где в его честь устраивались торжественные приемы на самом высоком уровне... И все это несмотря на сомнительные связи с большевиками!

«Песнь о Буревестнике» я до сих пор помню слово в слово. К несчастью, память у меня всегда была хорошая. Как-то я даже участвовала в конкурсе «Города-побратимы», где все должны были заучить как можно больше информации о финском городе Турку, который был тогда побратимом Ленинграда, а может, и сейчас остался – не знаю. И я выучила наизусть несколько толстых книг, где излагалась история этого города, описывалась его экономика, природные ресурсы и все, что только можно. Главным призом за участие в этом конкурсе была поездка в город Турку, но меня, к сожалению, этим призом так и не наградили – наверняка, как это обычно бывает, все уже было решено заранее: кто поедет, а кто нет, и все остальные участники просто должны были изображать массовку, и я - в их числе.

А мой дедушка не только сам был похож на Горького, но еще и очень любил Горького. Он считал его «красавцем-мужчиной» – Горького и еще актеров Николая Крюкова и Анатолия Кторову, в которых воплотился для него настоящий идеал мужской красоты. Кторову я смутно помню по любимому фильму дедушки – «Праздник Святого Иоргена», он играл какого-то жулика и, кажется, вправду был ничего. Дедушка у меня был хороший на самом деле, очень добрый. Он часто уезжал на рыбалку и когда возвращался, привозил мне хлеб якобы «от зайца», говорил, что этот хлеб передал мне заяц из лесу. Иногда, хотя это бывало редко, заяц передавал мне цветное драже – бледно-голубое, бледно-розовое или пряник. Только сейчас я поняла, что это не заяц передавал, а просто дедушка скармливал мне то, что у него оставалось из припасов, взятых с собой на рыбалку. Но мне этот хлеб даже казался удивительно вкусным, я верила, что его на самом деле передавал мне заяц. Однажды дедушка взял меня с собой на рыбалку, мне было мучительно тяжело вставать в четыре часа утра, я всегда с большим трудом просыпалась рано утром, для меня это настоящий подвиг – встать раньше полудня. Но на сей раз дедушка обещал познакомить меня с зайцем, тем самым, который регулярно передавал мне гостинцы. И я, стиснув зубы, с огромным трудом заставила себя вылезти из теплой постели и потащиться с дедушкой по холодным, застланным белым туманом улицам к вокзалу. Помню, мы ехали на товарном поезде под навесом, в самом конце вагона, там было сделано что-то вроде такого балкончика с крышей наверху...

Когда дедушка читал мне «Детство», я даже плакала над судьбой несчастного мальчика, мне было его очень жалко. Потом я сама начала писать стихи, и дедушка всячески поощрял эти мои наклонности. Мы завели специальную тетрадочку для стихов, и за каждое новое стихотворение дедушка давал мне

конфетку. Помню, я написала стихотворение про соседского мальчика, который слишком рано пристрастился к табакокурению, оно называлось «Про Юрку и окурки», а заканчивалось так: «Вот наш Юра сделался старым стариком. Вот что значит дым всосать вместе с молоком!» Потом во Дворце культуры железнодорожников был праздник, и я под руководством бабушки выучила наизусть огромную поэму про Зину и перо: суть заключалась в том, что Зина, выйдя из магазина, уронила на землю перо, и ей лень было даже нагнуться, чтобы его поднять, а ведь чтобы сделать это перо, трудились разные сталевары, геологи и прочие рабочие, пролетарии. Все это описывалось в стихотворной форме, настоящая поэма. Я все это выучила, и мы с бабушкой отправились на праздник. Там толстая тетка с начесом на башке, облаченная в железнодорожную форму, объявила конкурс: стала приглашать на сцену детей прочитать стихи. Но в этот момент я почему-то вжалась в сиденье и никакими силами не могла заставить себя подняться. Напрасно бабушка всячески подбадривал меня, пытался воодушевить – я никак не могла встать со стула. Наконец на сцену вышел тщедушный бритый наголо мальчик с торчащими ушами и прочитал какое-то жалкое четверостишие, ему все бурно зааплодировали и подарили, кажется, полкило конфет «Школьных», а я тоже очень любила эти конфеты, поэтому мне было обидно.

А Горький, очевидно, так и войдет в историю мировой литературы как автор романа «Мать» и «Песни о Буревестнике», так как во всех остальных своих произведениях он очень вторичен и не оригинален, мечется где-то между Чеховым и Толстым и никак не может себя найти. А «Мать» и «Песня о Буревестнике» – произведения оригинальные и новаторские. «Мать», ко всему прочему, еще и одна из самых скучных книг во всей мировой литературе. Один мой знакомый психотерапевт даже рекомендовал мне эту книгу в качестве средства от бессонницы. А когда я призналась ему, что у меня ее нет дома, то он даже сказал, что это не имеет никакого значения, достаточно просто, лежа в постели, попытаться вспомнить какие-нибудь детали или подробности этого произведения, и все, сон гарантирован. Лично я хорошо помню только собрание революционных рабочих и то, какими строгими и возвышенными были их лица, совсем как лицо Христа, направляющегося в Вифлеем, или что-то в этом духе...

Вообще, я ни разу в жизни еще не встречала человека, который дочитал бы этот роман до конца. Причем в отличие от книг Джойса, Пруста или там Гомера никто никогда не стесняется признаться в том, что так и не смог дочитать роман «Мать» до конца. Удивительный феномен! В этом отношении Горький является прямым предшественником писателей-постмодернистов, и, в частности, представителей «нового романа», считавших занимательность чуть ли не знаком дурного тона. К тому же в романе Горького припрятана еще одна небольшая обманка, своеобразная интеллектуальная ловушка. Название на первый взгляд будто бы отсылает к Фрейду, но каждый, кто попытается трактовать роман при помощи психоанализа, непременно обломается, так как ничего там не поймет, ну разве что мать с сыном совместно травят отца – единственное понятное и близкое современному человеку движение души. А в остальном – сплошные извращения. Кто кого там на самом деле любит, к кому испытывает влечение, даже бессознательное – понять абсолютно невозможно! И все дело в том, что по большому счету эта книга отсылает... к Марксу. Думаю, лет так через сто очень многие в эту ловушку попадутся и окончательно запутаются!

Что касается «Песни о Буревестнике», то это (помимо того, что я уже о ней сказала), во-первых, один из первых русских верлибров и, наверное, самый известный. Кроме того, в этой «Песне» автор как бы попытался соединить иносказательность басни с возвышенностью торжественной оды, то есть вывести

абсолютно новый для поэзии жанр при помощи приема, чем-то отдаленно даже напоминающего скрещивание видов в ботанике. Таким образом, Горький в каком-то смысле предвосхитил еще и опыты Мичурина с растениями. И хотя в данном случае у Горького ничего не получилось, и этот новый жанр в литературе не прижился, попытка, по-моему, заслуживает уважения. Во всяком случае, в лице самого Горького русская литература получила уникальный тип особо живучего и выносливого писателя, которому удалось одинаково успешно и безбедно существовать как до революции, так и после нее. А этот рубеж, как известно, оказался роковым для подавляющего большинства русских литераторов. Если же продолжить аналогию с растительным миром, то можно сказать, что Горький чем-то напоминает мне еще и особо стойкое растение, неподверженное самым резким переменам климата в окружающей его среде. Ну а тупость, или даже дубовость, свойственные этому писателю, – это видимо, всего лишь неизбежные издержки этого его замечательного свойства: живучести.

Правда и Михаил Кузмин, например, после революции продолжал жить точно так же, как и до, ритм его жизни никак не изменился, разве что работать, пожалуй, ему пришлось чуть больше – он зарабатывал переводами, – а во всем остальном жизнь его осталась почти такой же: светские вечеринки, чайные церемонии, прогулки на Острова... Кузмин сидел у себя в комнате на расшитых подушках, рядом – Юркун, а соседи по коммуналке вынуждены были через них переступать.

Как-то, помнится, мне попался на глаза отзыв Горького о «Крыльях», в котором Горький обзывает Кузмина последними словами, называя его «безграмотным мещанином» и «воинственным циником». Честно говоря, я долго не могла понять этой неприязни Горького к Кузмину, ведь Кузмин, в отличие от Горького, даже в момент наибольшей популярности издавал свои книги камерными тиражами и вообще жил довольно скромно, так что завидовать, вроде бы, было особенно нечему... И только недавно я поняла, до меня дошло наконец, что, вероятно, злоба Горького была проявлением скрытой борьбы видов, и Горький углядел, точнее, на животно-растительном уровне почувствовал в Кузмине конкурента по живучести, к тому же еще в противоположность ему Кузмин оказался куда более утонченным и изысканным «цветком». Не случайно ведь они даже умерли почти в одно время, в 1936-м... А к Блоку, например, Горький нормально относился, даже, скорее, с симпатией – наверное, чувствовал, что тот ему не конкурент.

Но, с другой стороны, если вспомнить, что Кузмин умер в Ленинграде и своей смертью, от воспаления легких, несмотря на неприязнь влиятельного в те годы Горького, то приходится признать, что, может быть, Горький все-таки был не таким уж и злым человеком, ну, может, не таким добрым, как мой дедушка, но все равно.



Глава 15 Предназначение писателя

Вот написала, что уродство погубит мир, а потом подумала: «Как?.. Каким образом?..» Ну останутся одни уроды вокруг, и что?! Вот если наоборот, в мире останутся одни красавцы-гомосексуалисты, которые больше не будут размножаться, тогда действительно все закончится. Таким образом, получается, что вовсе не уродство, а *красота погубит мир!* Так, пожалуй, будет правильнее, более понятно, во всяком случае... И в самом деле, надо бы мне додумывать свои мысли, а то меня могут обвинить в нелогичности!

А что касается разных разноцветных веревочек, с узелками и без, то самой такой тоненькой и белой веревочкой, почти что ниточкой, в русской литературе был, наверное, Станюкович, который, несмотря на свою невзрачность и незаметность, меня всегда немного удивлял, точнее, даже не удивлял, а интриговал. Адмиральский сын, из богатой семьи, закончил Морской кадетский корпус, мог сделать блестящую карьеру на флоте, а вместо этого вышел в отставку и стал, кажется, народным учителем где-то в глухой деревне. Прямо как в советских фильмах, в которых преуспевающий инженер, врач или преподаватель зачем-то бросал хорошую квартиру в Москве или Петербурге, приличную зарплату, жену и уезжал куда-нибудь на БАМ или на целину... Впрочем, так бывает не только в советских фильмах. Например, пару лет назад во Франции Гонкуровскую премию дали роману под характерным названием «Я ухожу». И в этом романе главный герой тоже все бросает и отправляется на Северный полюс, так что и во Франции наших дней подобное алогичное поведение находит понимание. Кстати, незадолго до того я встречала автора этого романа, Жана Эшноса, в Париже – очень скользкий тип, по моим наблюдениям, он никуда «уходить» не собирался, а, наоборот, был очень озабочен своим имиджем писателя и, как впоследствии выяснилось, стоял в очереди за премией. И вот наконец дождался! Хотя, в отличие от Станюковича,

ему, в общем-то, и терять было особенно нечего, во всяком случае, в тот момент, когда я с ним встречалась, он жил в задрипанной квартирке в типовом доме, к тому же еще в паршивом районе неподалеку от метро Журден, ну разве что в Париже... Пример Эшноса лишний раз показывает, что вовсе не обязательно куда-нибудь на самом деле уходить или там даже ходить по воде, а достаточно просто написать об этом в книге. И все! Все будут довольны! Успех гарантирован!

Во всяком случае, Станюкович все бросил и уехал в деревню вовсе не в виртуальном пространстве романа или же фильма, а в реальности. Трудно сказать, чего он хотел. Лично я, когда сожгла свой диплом и отправилась работать уборщицей и еще Бог знает кем, хотя к тому времени мой отец уже был на дипломатической работе, а сама я – научным сотрудником, так вот, лично я точно знаю, что хотела тогда главным образом досадить своим родителям, которые меня порядком достали. А чем руководствовался Станюкович? Любовью к народу?.. Или, может, к литературе?.. Одно другого стоит по степени идиотизма!

Но вообще-то, вовсе не это «созвучие судеб», не этот маленький узелок на тоненькой бесцветной ниточке привлекает мое внимание к Станюковичу, а то, что он был автором «Морских рассказов». В этом качестве он, собственно, и вошел в русскую литературу, хотя, честно говоря, я самих этих рассказов теперь уже почти не помню, ну разве что историю про негритенка, над которым взял шефство русский боцман. Но все равно, по-моему, важен сам факт обращения к этой теме! Ведь если подумать, то в русской литературе девятнадцатого века о море больше почти никто и не писал. Это тем более странно, что практически вся так называемая русская классическая литература напрямую связана с таким морским городом, как Петербург. Однако у самых типичных петербургских писателей, Гоголя и Достоевского, море, кажется, даже и не упоминается. Петербург у них очень душный и тесный город, а моря они просто не заметили. Удивительно! Потому что не заметить море в Питере практически невозможно, хотя Достоевский и Гоголь родились и не в Петербурге, но тем не менее...

Мне всегда казалось, что стоит приедем появляться здесь, почувствовать на себе свежий морской ветерок, как ему захочется сразу же увидеть море, подойти поближе к чайкам, которые в изобилии летают всюду по городу, залетая даже в самые далекие спальные районы, где никакого моря и близко нет. На самом деле чайки просто концентрируются вблизи столовых, ресторанов и вообще мест, где можно найти пищевые отбросы. Кстати, несмотря на свою романтическую внешность и такие печальные и загадочные крики, чайки вовсе не пользуются особым расположением моряков. Из поколения в поколение передаются страшные истории о том, как во время войны оглушенные воздушной волной моряки на спасательных поясах без сознания болтались в море, а хищные голодные чайки своими мощными клювами выклевывали у них глаза. Поэтому моряки чаек не любят и никогда не кормят их хлебом, в отличие от простодушных туристов и местных обывателей.

В детстве я вообще мечтала стать моряком, а вовсе не писательницей или тем более учительницей. Последняя профессия меня всегда жутко пугала – учителем, по-моему, может стать только человек с садистскими наклонностями, чтобы иметь возможность вдоволь доставать и мучить детей, – нормальный человек в учителя вряд ли пойдет. А уехать на село, где, наверняка, теперь остались одни дегенераты, мутировавшие в результате плохой экологии, – такое, по-моему, может привидеться только в горячечном бреде. Во времена Станюковича, конечно, с экологией было лучше, но плавать по морю, на мой взгляд, все равно гораздо интереснее, чем доставать детей в сельской школе...

На самом деле, я хотела стать не просто моряком, а капитаном, как мой отец, – всегда, когда он приходил из рейса, мы с мамой ходили к нему на судно. У него была такая красивая чистая просторная каюта, и он всегда привозил мне подарки. Однажды из Испании привез большие желтые груши и виноград, и я упорно отказывалась их мыть, чтобы не смыть «пыль Испании». Но мама все равно отняла их у меня и вымыла. Она сказала, что можно подцепить какую-нибудь заразу, даже холеру, и я испугалась. Мама вообще всегда меня пугала, ей это очень хорошо удавалось. Зато мне всегда хорошо удавалось ловить тени прошлого, буквально физически схватывать их за хвосты, и ощупывать, как будто в первый раз.

И район Морского торгового порта мне всегда нравился. Я до сих пор люблю там бывать, наверное, потому что у меня с этим местом связаны самые приятные воспоминания, хотя вообще-то там всегда было довольно грязно и немного жутковато. Помню, как-то один мой знакомый немец, прибывший в Питер на корабле, никак не мог мне объяснить, где же причалило его судно, а когда мы приехали на машине на Турухтанные острова и там остановились, на лице его вдруг отобразился панический ужас, он стал лихорадочно переводить взгляд с меня на шофера, а потом с шофера обратно на меня, и мне вдруг стало ясно: он решил, что мы завезли его в этот страшный район, чтобы здесь убить и ограбить. Впоследствии оказалось, что ему нужно было к Морскому вокзалу, на Васильевский... Въезд в Морской торговый порт оформляют прекрасные монументальные белые с желтым ворота, которые имеют внушительное название Главные ворота порта – к ним обычно и приказывают ехать водителям такси бравые моряки, вернувшиеся из далеких стран. Иногда, правда, с судна, они едут сперва на четырнадцатый или одиннадцатый причал, или на соответствующий склад, а уж потом туда – к самым что ни на есть Главным воротам порта.

Тогда, в далекие семидесятые, считалось модным привозить из южных краев экзотических тварей наподобие попугаев, но их нужно было сдавать в карантин, а там они, как правило, дохли, поэтому моряки шли на самые разные ухищрения, чтобы вывезти свою добычу с территории порта. Самым ответственным был провоз через эти самые Главные ворота – там бдительный страж осматривал машину, и если находил живую тварь, то тут же ее отбирал. Я помню, как мой отец привез из Австралии огромного кремового попугая какаду – этот попугай обошел с ним вокруг света и по полному праву мог считаться его верным товарищем, тем более несправедливо было бы отдавать такого спутника в какой-то там жуткий карантин. Отец спрятал Кокошку (так он назвал попугая) в багажник, посадил меня в машину и сказал водителю адрес, при этом я должна была доставить попугая домой, но перед этим спокойно, не подавая виду, провезти его через Главные ворота. Помню ужасный момент, когда такси остановилось, страж проверил мои документы, вот он захлопнул дверь и кивком головы разрешил водителю двигаться с места, и вдруг в багажнике я услышала ужасный истошный вопль несчастного попугая, запертого в душном, темном и дребезжащем месте. Но тут машина резко дернулась и быстро выскочила на улицу. Оглянувшись назад, я увидела стоящего с угрожающе поднятыми вверх кулаками охранника, но было уже поздно. Это было тем более опасно, что охранники порта часто попадались сумасшедшие. Помню, в течение месяца передававшуюся из уст в уста страшную историю о том, как один охранник внезапно спятил, схватил свой пистолет и побежал к начальнику пароходства. Там он застрелил секретаршу, заместителя, а сам начальник пароходства быстро встал на четвереньки и побежал под стол. Такой прыти от него трудно было ожидать, потому что он был человек уже пожилой и с склонностью к полноте.

Однако же его быстрая реакция спасла ему жизнь – пока охранник за ним гонялся, приехала милиция...

Я хотела стать моряком, потому что моряк постоянно приближен к морю, ему принадлежат все эти великолепные белые корабли, на которых даже и пылинки нигде не найдешь, все сияет чистотой и так хорошо пахнет, а вокруг летают чайки и кричат гортанными голосами. Правда мой отец тоже не любил чаек и рассказывал про оглушенных взрывной волной моряков в спасательных поясах, с выклеванными глазами. Но у меня никаких отрицательных ассоциаций чайки не вызывали, мне они казались красивыми и мирными. Когда я сообщила отцу о своем намерении стать капитаном, он пришел в ужас, сказал, что есть у них в пароходстве одна баба-капитан, кажется, даже герой Советского Союза, – она просто жуткая, ходит всегда в спущенных чулках и в кирзовых сапогах, а уж про ее физиономию и говорить нечего. На меня этот рассказ подействовал, кроме того, мама сообщила мне, что во время обучения мне придется жить долгое время исключительно в компании мужиков, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне это тоже не особенно понравилось, я сразу же живо представила себе царящий в казарме запах грязных носков и потных тельняшек. Поэтому мое намерение стать моряком очень сильно поколебалось, но совсем отказаться от этого я не могла – просто была не в силах распрощаться со своей мечтой о море и кораблях, ведь этот отказ навсегда привязывал меня к убогой и жалкой грязной земле.

Что касается Станюковича, то его судьба кажется мне едва ли не самой жалкой во всей русской литературе. Стоит мне об этом подумать – аж плакать хочется! И дело не только в том, что он ошибся в выборе специальности и отказался от профессии моряка ради занятий литературой и прочей туфтой, а в результате его произведения теперь уже почти никто не помнит. Гораздо важнее, что этот его юношеский уход в деревню, отказ от карьеры, в сущности, противоречит еще и предназначению писателя или, по крайней мере, тому, как понимаю его, это предназначение, сегодня я.

Не знаю точно, не могу с уверенностью сказать, что хотел, к примеру, сказать драматург Островский своей пьесой «На всякого мудреца довольно простоты» – допускаю, что он собирался этой пьесой кого-то обличить. Главный герой этой пьесы Глумов, как известно, долго и старательно втирается в высшее общество, пытается сделать карьеру, но в какой-то момент в руки одной гнусной бабы попадает его дневник, где он поливает грязью всех, кому в жизни льстил и пытался угодить. Я думаю, что Островский, возможно, сам того не желая, в лице Глумова как раз и представил образ идеального писателя. Потому что настоящий писатель и должен, в сущности, точно так же долго и упорно втираться в доверие, делать карьеру, всем льстить, а потом вдруг раз - и окружающие неожиданно читают его книгу, в которой он всех обсирает! Кайф! Окидывая мысленным взором мировую литературу последнего столетия невольно ловишь себя на мысли, что именно в этом и заключается главный смысл литературы. В этом отношении в русской литературе у Глумова, правда, уже был предшественник в лице Хлестакова. И равных двум этим персонажам среди реальных писателей, к сожалению, в России так до сих пор и не появилось. А жаль! Хлестаков – это вообще наш русский Моцарт, но таким, как он, видимо, не так просто прорасти на русской почве. Большинству русских писателей так не хватает подлинной легкости и безответственности!

Я даже думаю, что если этот мир когда-нибудь и закончит свое существование, то это непременно должно произойти при коллективном чтении

дневника или же книги какого-нибудь президента или римского папы. Грандиозная немая сцена!



Глава 16 Спящий красавец

Грандиозная немая сцена, которой мог бы закончиться этот мир, наверное, больше всего напоминает фотоснимок... И это сравнение вовсе не кажется мне пустой метафорой. Я всегда думала, что писатель в чем-то, и вправду, подобен фотографу, который фиксирует на пленке Вечности скрытые от глаз движения человеческой души – причем именно скрытые, потому что порой совершенно непонятно, как, каким образом, это происходит. Не так давно, например, я перебирала в уме названия современных издательств и поймала себя на мысли о том, как все-таки много сегодня издательств на «а». И в самом деле: «Амфора», «Алетейя», «Азбука», «Аграф», «Академпроект», «Ad Marginem» и т. д., и т. п. – все эти слова имеют какое-то глубокомысленное значение: некоторые вроде бы даже отсылают к античности, совсем как в начале XX века, в эпоху Art Nouveau... А потом вдруг меня осенило: самым главным в данном случае является желание этих издательств попасть в верхние строчки рекламных проспектов. Все живое, все растения в природе тянутся к солнцу, вот и современные издатели и писатели тоже тянутся вверх, поближе к свету, так сказать. Это же так естественно! Странно даже, как это я раньше не догадалась... И все! «Снимок» был сделан! То есть я вдруг почувствовала, что больше ничего понимать, в сущности, и не надо, так как самое главное, определяющее движение души современного человека отныне зафиксировано в Вечности, подобно тому, как в готическом соборе запечатлелось движение человеческого духа к Небесам...

Очевидность этой вдруг открывшейся мне истины кажется тем более странной, если вспомнить, что обилие точно таких же слов на «а» в названиях издательств и журналов или же книг начала двадцатого столетия типа: Аполлон,

арабески, Александрия, алконост, аргонавты и т.п. – вовсе не вызывает у меня подобных ассоциаций. Более того, если провести строгий статистический учет всех существующих ныне названий издательств, то вполне может оказаться, что я заблуждаюсь и названия на «а» вовсе не доминируют среди остальных. И все же, все же, все же... невозможно избавиться от ощущения, что какая-то мгновенная вспышка в мозгу позволила мне запечатлеть нечто очень важное в современности, и теперь в Вечности, как на негативе, постепенно, с годами будут проявляться только кое-какие детали и мелочи. Короче говоря, я уверена, что потомки будут отличать произведения искусства нашего времени по этой маленькой характерной детали – по желанию попасть в верхнюю строчку рекламного проспекта – от произведений других эпох, подобно тому как сегодня можно отличить готику от барокко или же модерна.

Вообще, я думаю, что уловить самое существенное в своем времени довольно сложно прежде всего потому, что стиль той или иной эпохи – это всегда что-то вроде коллективного сна, а человек обычно не понимает, что он спит до тех пор, пока не проснется. Особенно это становится очевидным, когда думаешь о Серебряном веке русской поэзии, напрямую связанным со стилем модерн. Это время мне представляется самым стильным в истории русской литературы и одновременно, если так можно выразиться, самым «сонным», то есть как бы продуктом чьих-то сонных и немного болезненных фантазий и грез. Такое впечатление, что в какой-то момент люди того времени вдруг погрузились в сон, как будто под воздействием какого-то газа или же наркотического вещества, а затем вдруг наступило всеобщее пробуждение... Я даже полагаю, что стилистическая выразительность и законченность той эпохи, прежде всего, и обусловлена тем, что она воспринимается сегодня именно как давно прошедший сон.

Вот и Блоку, например, удалось заснуть в ранней молодости, и его сон длился ровно столько, сколько его жизнь, так как его пробуждение практически совпало со смертью. Сначала в юности ему привиделась Прекрасная Дама в образе собственной жены (очень удачное совпадение, между прочим!), затем постепенно он, как будто сквозь какую-то пелену, прозревал очертания внешнего мира, разочаровывался в юношеских грезах и, наконец, во всем разочаровавшись и окончательно пробудившись ото сна, умер, очнувшись уже на том свете... В этом смысле можно сказать, что Блоку сильно повезло, так как иначе ему бы пришлось проснуться в совершенно иной реальности. Когда-то мне очень нравился Блок, а сегодня даже не знаю: не то чтобы я в нем полностью разочаровалась, нет, но сегодня я ему скорее просто немного завидую. Ныне Блок мне представляется кем-то вроде «спящего красавца» русской поэзии. На самом деле далеко не всем русским поэтам так повезло, как ему.

Мне тоже, пожалуй, хотелось бы так же «забыться и заснуть», но последнее время меня все чаще и чаще посещают сомнения на этот счет. А вдруг больше никаких снов, а значит, и стилей не будет вообще?! Если, конечно, это всеобщее желание попасть в верхнюю строчку рекламного проспекта мне тоже не снится, хотя вряд ли...

А может быть, погруженность в сон вовсе и не является неотъемлемой чертой любого стиля, и это такая же характерная черта эпохи модерн, как и названия издательств на «а» в сегодняшней жизни? Скорее всего, так оно и есть! Не случайно именно Блок является центральной фигурой русского Серебряного века. Он ведь не только всю жизнь сам провел в грезах и снах, но и в его стихах тоже есть что-то очень странное, почти гипнотическое. Поэзия Блока – это такая странная точка в пространстве русской литературы, приближаясь к которой человек на какое-то время невольно погружается в мир грез и теряет подлинные

ориентиры во внешнем мире, в общем, это что-то вроде Бермудского треугольника, если прибегнуть к географическим параллелям...

Одно время я очень много читала Блока и до сих пор помню наизусть кучу его стихов. Особенно:

Поздней осенью из гавани
От занесенной снегом земли
В предназначенное плаванье
Идут тяжелые корабли.

Сразу встает образ ноябрьского Питера: мокрый снег, слякоть под ногами, тоска и очарование этой тоски. И слова, и особенно ритм оказывали на меня какое-то гипнотическое воздействие: начинала кружиться голова, как под воздействием наркотика, даже чуть ли не галлюцинации возникали. Блок был для меня чем-то вроде ЛСД, но гораздо дешевле – под воздействием его стихов мне начинало казаться, что я могу пройти сквозь стену, спокойно выйти в окно и полететь. Блок на какое-то время прочно угнезвился в моем подсознании, словно в мозг вживили имплантат, как в фильме «Матрица», а я чувствовала себя подобно главному герою в исполнении Кеану Ривза.

Кроме того, Блок – еще и самый петербургский поэт из всех русских поэтов. Ведь и Петербург тоже сам, с начала и до конца, город нищий, убогий, болезненный и сонный. Вот почему «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» так хорошо подходит к Петербургу – никакие другие строки этот город лучше не описывают, лучше просто невозможно. Может, он и красивый, но именно как больной в последней стадии болезни, и на линиях его руки тоже не видно ни богатства, ни благополучия, жизнь подходит к концу. Обитые серые каменные ступени, ободранные кирпичные стены, статуи девушек с отбитыми носами и подбородками на Садовой улице, даже у сфинксов – и у тех куски из туловищ сколоты. Когда-то давно ранней весной я ездила на набережную к Академии художеств, брала с собой синюю пластмассовую лодочку, к ней крепился желтый человечек и белый парус. Я садилась на гранитные ступени и на длинной-длинной леске запускала эту лодочку плавать по Неве – ранние сумерки скрывали меня, я сама с трудом различала эту лодочку среди серых волн. Но натянутая леска в руке успокаивала меня, я была уверена, что моя лодочка там, хотя и далеко, зато когда-нибудь она вернется все-таки назад. Иногда меня охватывало желание – подобно тому, как тянет иногда споткнуться, разбить вдребезги как бы случайно красивые фарфоровые чашки со стола, или же забыть оглянуться на мчащиеся машины при переходе улицы на красный свет, или же внимательно посмотреть в глаза сумасшедшего, громко разглагольствующего в общественном транспорте, – желание хоть на минутку отпустить леску, просто для интереса, что тогда будет, – но я все же не могла этого сделать и крепко сжимала ее в покрасневших от холода руках. Я сама чувствовала себя желтым пластмассовым человечком, прикрепленным к синей пластмассовой лодочке под белым пластмассовым парусом, которого чья-то рука запустила плавать среди серых беспокойных волн, и я не знаю, вернет ли она меня на прочный надежный берег или отпустит совсем на свободу, чтобы я еще немного покувыркалась и побарахталась перед тем, как окончательно пойти ко дну.

У меня, кстати, до сих пор дома висит портрет Блока, который я купила очень давно в Доме книги – тогда там продавались портреты всех писателей, на выбор, нарисованные серым на белом фоне. В основном там, правда, были советские писатели: Серафимович с квадратной головой, Твардовский с прониженным лицом, Симонов, напоминающий пенек. Блока в эту серию

включили, очевидно, из-за его революционной поэмы «Двенадцать». Он на этом портрете – со страдальчески искаженным лицом, а сзади угадываются какие-то знамена, плакаты, толпы – короче, образ мятущегося, не определившегося до конца поэта в самой гуще революционных событий. Тем не менее тогда мне этот портрет показался очень красивым, почему я его, собственно, и купила: благородное измученное лицо, развевающиеся кудри, бант на шее. Потом постепенно он стал меня раздражать – что-то дебильное все больше проглядывало в этом перекошенном лице, в брезгливо изогнутых губах, – и все больше Блок стал мне представляться чуть ли не уродом. Думаю, на самом деле больше всего он похож на себя на портрете Сомова – маленькие заплавленные глазки, обведенные черными кругами, распухшие губы: неподвижное, как маска, обрюзгшее лицо, чем-то напоминает индейца, вождя какого-то племени. Я уже хотела вообще снять к чертям этот портрет и запихнуть его куда-нибудь на антресоли или подарить знакомому художнику, чтобы загрuntовал, а сверху нарисовал какую-нибудь картину – рамка у этого портрета совсем неплохая, выбрасывать жаль. Но потом все же оставила его – пусть висит, как памятник эпохи, все-таки я к нему уже привыкла и почти не замечаю. Хотя, может, еще и сниму. К тому же он уже сильно пожелтел и весь засижен мухами.



Глава 17 Фальшивый декадент

В свое время я никак не могла понять, почему Блок под конец жизни так мучительно пробуждался в новой для себя реальности, но все же не смог к ней адаптироваться – умер, а вот Брюсов с легкостью переступил через роковой рубеж 1917-го года, и даже только что основанный Литинститут первоначально был назван его именем, только позже будучи переименован в честь Горького. С Горьким, впрочем, все более или менее ясно, но Брюсов...

Когда-то Брюсов был для меня даже как бы двойником Блока: поэт-декадент, погрязший в кокаине, алкоголе и прочих пороках, к тому же еще это начальное

«Б» в фамилиях... Сам Брюсов, насколько я знаю, тоже старательно изображал из себя декадента. Например, в окружении истеричных девиц ходил по разным барам, кабакам и ресторанам. Войдя в забегаловку, картинно вставал посреди зала и зычным голосом подзывал к себе официанта, а потом начинал требовать невесть чего, причем вопил все громче и громче. Все посетители, естественно, слышали эти выступления, а девицы млели и визжали от восторга. Потом Брюсов заказывал шампанского или водки, постепенно нажирался до полной отключки и девиц тоже не забывал напоить. Потом они распространяли всюду совершенно невероятные слухи, создавая таким образом Брюсову нужную ему репутацию.

Брюсова, кажется, любил мой отец, хотя я и не уверена. Теперь, к сожалению, это уже невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Сначала я думала, что других поэтов он просто не знал, а этого много издавали в советские времена, вот он ему и запомнился... Правда как-то, разбирая старые книги в шкафу, я нашла там пожелтевшую тетрадку, где фиолетовыми чернилами были переписаны стихи: «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что золото сыплется с кружев, с розоватых брабантских манжет». Почерк был очень похож на отцовский, даже точно – это был его почерк. Но что это такое он написал? Даже одно предположение о том, что мой отец может написать стихи, казалось мне совершенно диким и нереальным. В полном недоумении я взяла тетрадку и пошла к отцу и спросила его: «Папа, а что это такое тут написано?» – «Это стихи великого русского поэта Гумилева! Только никому не говори!» - сказал отец, забрал у меня тетрадку и больше я никогда ее не видела. Тогда имя Гумилева вообще ни о чем мне не говорило, я даже запомнила-то его с трудом, уж больно фамилия сложная. Я несколько раз переспросила отца, а потом записала на бумажке. Зато фамилия Брюсова была простой, запоминалась хорошо, и портрет его красовался во всех учебниках и энциклопедиях. Чаще всего встречался портрет работы Врубеля: поэт в «демонической» позе, скрестив руки, созерцает сверху вниз копошение и суету, однако ж его круглая щекастая физиономия с ушами, напоминающими ручки от кастрюли, и круглые задорно поблескивающие глазенки составляют явный контраст с позой.

Позже один мальчик у нас в классе, Гена Баранов, с головой, сплюснутой сверху и снизу, как у щуки, и никогда вроде бы не интересовавшийся литературой, как-то внезапно подошел ко мне на перемене и загадочно глядя на меня снизу вверх – он был очень маленького роста – протянул мне сложенный вдвое вырванный из тетрадки листок бумаги, на оборотном стороне которого запечатлелся круглый жирный след от стакана или же чашки. Я очень удивилась, потому что он никогда со мной не говорил и вообще казался мне крайне тупым и отороженным персонажем. У нас в классе было всего шесть мальчиков, и все как на подбор жуткие идиоты, как будто селекцию какую-то проводили. Хотя это вроде бы была элитарная спецшкола с преподаванием ряда предметов на французском, но тем не менее. Представляю, какие дебилы учились тогда в обычных школах, даже страшно подумать! И стоит ли удивляться тому, что произошло во время перестройки и в 90-е годы, ведь ответственность за все эти события во многом лежит и на нашем поколении... Так вот, этот на редкость тупой и бесцветный Гена Баранов по кличке Баран вдруг протягивает мне бумажку, на которой написано какое-то стихотворение (как потом оказалось, пародию на Брюсова: «Сам же себя полюби беспредельно – вот эгоизма завет беспредельный!» – или что-то в этом роде), и загадочно смотрит на меня белесыми глазками, ощерив в улыбке свои щучьи зубы. Я так удивилась, что не знала, как мне вообще реагировать, для меня это было равносильно тому, как если бы вдруг заговорила школьная парта или дверь. Кажется, я проямлила что-то вроде: «Брюсов совсем неплохой поэт», - потому как, что же мне было делать,

не говорить же: «Да, это совсем неплохо, у тебя способности, Гена! Если ты поработаешь, из тебя получится настоящий поэт!» Но Гена почему-то ужасно ущемился моим ответом и с тех пор вообще больше никогда со мной не говорил, не подходил ко мне и даже старался в мою сторону не смотреть, как это, впрочем, и было всегда, до стихотворения, так что я бы этого, пожалуй, вообще не заметила, если бы не его злобные взгляды исподлобья, которые я иногда на себе ловила. Мне даже как-то не по себе становилось: а вдруг он маньяк, который только и ищет удобного случая, чтобы меня замочить, и все из-за того, что я тогда неправильно отреагировала на его произведение. Как бы то ни было, но это, пожалуй, был единственный случай в моей жизни, когда я, хотя и очень сдержанно, похвалила Брюсова.

На самом деле в русской литературе есть очень много писателей и поэтов, которые вызывают у меня раздражение, кажутся скучными или же неинтересными, но, наверное, только Брюсов с какого-то момента моей жизни (теперь я уже даже не могу сказать точно когда) начал вызывать у меня самую настоящую злобу, если не сказать, ненависть, причем довольно глубокую, такую, что по сравнению с этим чувством, даже моя нелюбовь к Пушкину выглядит, наверное, игрушечной и немного надуманной.

Долгое время, правда, я не отдавала себе в этом отчета, и эта неприязнь тлела во мне, как нечто совершенно нерелексивное и с трудом поддающееся определению. Ну не нравится поэт и все, – что тут такого! Однако сегодня я, пожалуй, уже в состоянии определить свое отношение к Брюсову. Мне кажется, я наконец-то поняла причины этого странного отталкивающего эффекта, который производит на меня его фигура. Все дело в том, что Брюсов повинен в единственном, но самом страшном грехе, в каком только можно уличить писателя, – *в стилистической нечистоте!*

В конце концов, даже с Горьким все более или менее просто и понятно. Горький или там какой-нибудь Куприн – это фигуры периферийные в литературе, вечные, как мир. В том смысле, в каком вечна, к примеру, проза домохозяйки Маргарет Митчелл, посвященная вечным человеческим чувствам вроде любви и т.п. и не подверженная капризам изменчивой моды. Неприязнь Горького к поэтам вроде Кузмина – это неприязнь благополучного во всех других отношениях, но одетого не по моде обывателя к денди, так как последний вольно или невольно оттеняет убожество и косность его бытия. Так всегда было и всегда будет! Жан Жене, например, говорил, что ему неприятно даже стоять рядом с Ротшильдом. И я его очень хорошо понимаю, так же как понимаю и то, что найдется множество людей, которым совершенно незнакомо это чувство...

Однако Брюсов – фигура вовсе не периферийная: он был едва ли не создателем русского символизма, самого стилиобразующего течения своего времени, или, по крайней мере, его общепризнанным мэтром. И тем не менее, в то время как Блок «спал и видел сны», находящийся рядом с ним Брюсов как будто только прикидывался спящим, просто прикрывал для виду глаза, и все. Именно такое ощущение у меня всегда оставлял Брюсов и его стихи. Я даже думаю, что, подобно тому, как символисты видели своих предшественников в Тютчеве или Фете, современные концептуалисты должны были бы считать своим предшественником Брюсова. Так как Брюсов, в сущности, относился к символизму вовсе не как к конечной истине, а как к одному из концептов, произвольно выхваченному из множества других. И знаменитое «О закрой свои бледные ноги!» – это тоже своего рода первый полупародийный концептуалистский текст, а никак не символическое стихотворение!

Более того, Блок своей мучительной смертью, как бы ненароком совпавшей с пробуждением от глубокого сна, именуемого ныне стилем модерн, невольно

показал, что для поэта смерть физическая все-таки менее страшна, чем смерть эстетическая, потому что и та и другая случается с человеком всего один раз. Не знаю, кто придумал такие правила игры, но в искусстве есть что-то прямо противоположное жизни – возможно, это сделано для того, чтобы легче отличать графоманов от гениев, иначе бы все было, пожалуй, слишком просто, и гениев расплодилось бы слишком много. Короче говоря, в результате, борясь за выживание и вступая во всевозможные компромиссы, писатель как бы все время идет по крыше, может даже приближаться к самому краю, а потом еще всего один шаг – и все, писателя больше не существует! Происходит полный энтропийный распад всего его творчества, равносильный смерти!.. Блок это понимал, и не просто понимал, а этим жил и, судя по всему, испытывал вполне ощутимый физически ужас от приближения к какой-то, вроде бы совсем незримой, последней черте и границе... А находившийся рядом с ним Брюсов, с легкостью перескочивший от одной эстетики к прямо противоположной, напротив, своим примером продемонстрировал, что эстетическая смерть не так уж и страшна. После революции Брюсов вообще очень быстро сориентировался: в 1920 году вступил в партию и стал активно сотрудничать с большевиками. Хотя все равно долго не прожил, умер довольно быстро, кажется, от воспаления легких. А жаль! Ведь он наверняка рассчитывал жить долго и в полном комфорте, но вот, не получилось.

Но дело даже не в большевиках или же марксизме. Куда важнее, что Брюсов оказался чуть ли не основателем Литературного института, одного из самых карикатурных учреждений современности, сфокусировавшего в себе самые обыденные, обывательские и графоманские представления о литературе, как о том, чему можно научить, как учат, например, инженеров, врачей и адвокатов. Вот это, по-моему, ярче всего отражает отношение Брюсова к поэзии – как к банальному версификаторству или же рифмоплетству.

Таким образом, с Брюсова начался не только концептуализм, а вообще весь этот бесконечный всеохватный и всеядный *послемодернизм*, когда, образно говоря, изо всех углов, изо всех своих уютных квартирок на улицы и проспекты незримо культурного града вдруг повыскакивали осмелевшие обыватели и начали разгуливать там прямо без штанов. Сначала выскочила небольшая агрессивная группка, а затем и все остальные, и так продолжается до сих пор, ибо никто, похоже, больше не опасается показаться уродливым или смешным... Глупо, конечно, обвинять Брюсова во всех смертных грехах и напастях, обрушивавшихся на современную культуру, но, полагаю, с легкостью переступив границу между красотой и уродством, именно он подал, если и не сигнал к действию, то очень опасный пример для подражания, которому лично мне почему-то меньше всего хочется следовать.

К счастью, я сегодня могу достаточно четко определить природу своей глубокой неприязни к Брюсову. Мне кажется, что мое отношение к нему, наверное, даже в чем-то сродни чувствам, которые мог бы вызвать у какого-нибудь матерого уголовника удачно внедрившийся в ряды преступной группировки милицейский агент. Как правило, такого агента довольно просто распознать, – во всяком случае, в многочисленных фильмах на эту тему у него обычно бывает немного чуточку более правильная, чем у остальных, я бы даже сказала, квадратная голова. Так иногда мягкие пушистые комочки под рукой вдруг начинают скрести, покалывать, потом проступают какие-то квадратные неуклюжие неудобные очертания и так становится противно, противно и обидно – за свои жалкие, наивные, убогие иллюзии, просто до слез... В конце концов, распознавание такого персонажа и отделение его от остальных – это тоже в каком-то смысле проблема чистоты стиля, так что аналогия с литературой

кажется мне вполне оправданной. Вот и Брюсов рядом с Блоком или же Кузминым всегда казался мне таким человеком – с чуточку более правильным квадратным черепом, представителем совершенно чуждого и враждебного мира обывателей. Или же, в лучшем случае, представителем столь же враждебного модернизму постмодернизма, но суть от этого не меняется.

Забавно, но у меня теперь даже есть небольшой опыт распознавания подлинных декадентов в среде фальшивых. Несколько лет назад, когда мы с Тимуром Новиковым готовили первый Фестиваль петербургского декаданса, мы старались ни в коем случае не допускать к участию в нашем фестивале «ложных декадентов», которых, надо сказать, и сейчас, в наши дни, существует очень много. Такова была наша общая договоренность и установка. Помню, я тогда постаралась собрать в кулак всю свою интуицию и волю, чтобы не позволить этим фальшивым личностям профанировать наше мероприятие. Некоторых, конечно, мы все-таки пропустили, но такой, как Брюсов, думаю, ни за что бы не прошел отбор, потому что он, в сущности, и был самым что ни на есть «фальшивым декадентом». Это как раз тот самый случай! Да и фальшивым поэтом вообще!

Кстати, на старости лет Брюсов сделался очень похож на Горького, – по крайней мере, если судить по портрету: те же моржовые усы, скошенный назад лоб, выпяченные губы, маленькие заплывшие глазки. Вероятно, он действительно готовился прожить еще лет пятнадцать, всерьез собиравшись внедриться в новую среду...



Глава 18 Горные вершины

Искусство противоречит жизни... Наверное, в моем понимании чистоты стиля есть что-то буддийское. Смерть – это недостижимый идеал, нирвана, а жизнь несет в себе одни сплошные страдания. И в самом деле, я так думаю: чем ближе художник к смерти, чем более одинок, тем ближе к совершенству стиль его произведений. Так всегда было и будет: и при постмодернизме, и за сотни лет до всякого модернизма. В этом есть какой-то непреложный закон, не подлежащий ни

малейшему сомнению, во всяком случае, для меня! А все эти «любви», «дружбы» и прочие человеческие слабости и земные флюиды только замутняют хрустальную чистоту горного воздуха, портят атмосферу, можно сказать. Эти слабости вторгаются в нее, как незримые электромагнитные излучения или же силы гравитации, и заставляют руку художника дрожать под тяжестью карандаша. Хуже того, они искажают окружающее творца пространство, делают его как бы чуточку более розовым что ли, а порой писателя даже начинают посещать глюки в виде соблазнительных цветущих оазисов, неожиданно возникающих посреди бескрайней пустыни жизни...

Женщина – самая слабая из слабых, хилое безмозглое существо – наиболее подвержена воздействию этих ядовитых флюидов. Полагаю, поэтому слепок с такого искаженного пространства, вобравшего в себя сверхдозу всевозможных пошлых человеческих чувств и привязанностей, и получил уничижительное название: «женский роман». «Женский роман» – такое определение жанра, в котором работают некоторые современные писательницы, – для меня это что-то вроде клейма, которое ставили в средние века на тело проституткам, ничуть не лучше. Хотя не только в средние, потому что именно такое клеймо в виде белой лилии, кажется, обнаружил на плече Миледи Арамис. Но неважно, так как подобного клейма заслуживают и многие мужчины!..

Да что там «женский роман»! Ничто так не изобличает затхлый, я бы даже сказала, «отстойный» характер всех современных мировых религий, как их стилистическая неактуальность! Даже не надо ни во что вникать, заниматься разоблачениями, разбираться в том, с какими тайными спецслужбами сотрудничали те или иные святые отцы – достаточно самого беглого, в высшей степени поверхностного и светского взгляда, чтобы понять: религия давно устарела, а если ее сегодня еще что и питает, то только слабые отблески моды на средневековую готику! «Бог вышел из моды и больше не актуален!» – это заключение звучит, пожалуй, даже убийственнее, чем констатация Его смерти! Именно поэтому, если в моих мыслях и есть что-то буддийское, мне все равно не хотелось бы иметь с этой религией ничего общего. Мне не нравится это чопорное черное платье моей бабушки и ее смешная вуалька, в которые зачем-то вырядился стареющий жирный рокер Гребенщиков например...

Но почему меня так волнует эта чистота стиля? Да потому, что у искусства нет никакого другого содержания, кроме стиля, который, как я уже сказала, подобен снимку тайного движения человеческой души, с холодной, почти механической неизбежностью проявляющемуся на пленке вечности. Короче говоря, какие бы хитроумные теории ни выдумывали философы, дабы оправдать присутствие в литературе всяких случайных людей, на самом деле никаких иных течений в искусстве никогда не было и не будет, кроме вечного и нескончаемого символизма. Никакой свободы самовыражения, каждый навсегда привязан к собственной жизни. Полный детерминизм! Единственная свобода – это свобода жизни, а не творчества, потому что человек как живет, так и пишет. И это, собственно, все, что можно сказать о литературе – на мой вкус, вполне достаточно! Наверное, можно было бы сформулировать и наоборот: как пишет, так и живет – но это уже не важно.

Обратившись к истории литературы, я чувствую себя порой этакой инспекторшей ГИБДД, строгой, затянутой в форменную кожаную куртку дамой, прибывшей на место очередного ДТП. Повреждения автомобилей, травмы, последствия для здоровья пострадавших, даже летальный исход меня не волнуют – пусть этим занимаются ремонтные службы и «скорая». Меня интересует только небольшая полоска, оставленная на дороге шинами врезавшихся одна в другую машин, а точнее говоря, след, который они прочертили на земле после начала

торможения, так как только по нему мне удастся теперь определить, кто виноват. Только эта небольшая полоска на асфальте позволяет теперь восстановить скорость лежащих в кювете автомобилей, кто куда вырулил и еще многое другое; эта полоска теперь – единственное, что соединяет прошлое с настоящим, она содержит в себе всю необходимую мне информацию, и, благодаря ей, виновный не уйдет от ответа.

Так и в литературе. Меня интересуют только вот такие маленькие, но достоверные следы многочисленных «культурных ДТП», когда тот или иной писатель, не справившись с управлением, едва не врезался в стену или же выкатил на встречную полосу. И пусть на сей раз все обошлось благополучно, но, не сумев преодолеть инерцию своей жизни, он все равно оставил маленький, но очевидный след своей жизни, и все его профессиональное мастерство, все эти рассыпанные по страницам многозначительные слова не позволили ему этот след скрыть. В общем, как поется в одной популярной ныне песне: «Он попал!» Вот это я и называю символизмом!

Ни один человек не способен преодолеть безумную нечеловеческую инерцию собственной жизни, и если он занимается литературой, то жизнь постоянно выплескивается на страницы его книг... Впрочем, это, собственно, и есть единственное их содержание! Это, а никак не плоды мастерства! Странно, что таких простых вещей не знают в Литинституте. Я, вообще, кстати, не совсем понимаю, почему подобные учреждения до сих пор финансируются государством. Ведь там, по сути, учат нарушать основной закон искусства и уходить от ответственности перед историей литературы. Странно!

Блок перед смертью пытался резко и стремительно затормозить, но так и не сумел вырулить и совершить разворот в противоположную сторону. Смерть Блока – яркий пример истинного и вечного символизма! Легкость, с какой удалось развернуться в том же месте Брюсову, говорит только о том, что этот человек не имел никакого отношения к литературе. Если бы не Блок, то у меня, вероятно, вообще не было бы никого повода обратиться на Брюсова внимание. И действительно, его стихи лишены какого-либо содержания, это просто более или менее гладко срифмованные слова. А как я уже говорила, графомания – любимая забава обывателей. Никогда, кстати, не могла понять, что люди находят в этом занятии интересного. Вот и Брюсов, признаюсь, меня слегка озадачивает... Подлинные «инерционные следы» своей жизни, которые повсюду оставляют подобные человеческие особи, как правило, не имеют никакого отношения к их собственному сознательному творчеству. Впрочем, это уже, скорее, тема для романа, чем для истории литературы.

Помню, раньше, уже довольно давно, всякий раз, когда я садилась за стол и пыталась что-нибудь записать, какие-нибудь свои мысли или же наблюдения над жизнью, меня вдруг охватывал страх – нет даже не страх, а что-то вроде чувства неловкости. Совсем как в старых фильмах, которые я часто видела в детстве, – про девушку из деревни, пришедшую наниматься в профессорскую семью в качестве домработницы. Профессор и его семья обитали в огромной многокомнатной квартире в сталинском доме. И вот все рассаживаются за круглый обеденный стол, весь уставленный всякими там графинчиками, рюмочками и расписными тарелочками с разной снедью. У профессора небольшой выпирающий из-под рубашки животик, шкиперская борода без усов и слегка съехавшие на большой толстый нос очки, из-под которых он лукаво поглядывает на свою будущую домработницу. Сам он уже давно заткнул салфетку за расстегнутый воротник и легко справляется с куском мяса у себя на тарелке, а та, бедная, все никак не может правильно взять в руки вилку и нож, все время перекладывает их из одной руки в другую...

Вот и я тоже, когда садилась раньше писать, чувствовала себя точно такой же деревенской девушкой, сиротливо поеживающейся под лукавым насмешливым взглядом какого-то незримого профессора, совсем как в тех старых советских фильмах. Не то чтобы я ручку правильно держать не умела, но просто чувствовала, что мне очень хочется написать что-нибудь очень умное и значительное, но вся моя прошлая жизнь этому противится и как будто по инерции захлестывает меня и мешает, хотя мне вроде только и надо-то водить рукой по бумаге и записывать там всякие слова и предложения. Но ведь и та несчастная претендентка на роль домработницы не могла справиться с таким легким вроде бы занятием, как умение держать вилку и нож, так как вся ее прошлая жизнь в деревне тоже этому противилась, и в нужный момент она просто оказалась к этому не готова. То есть и ей, как тому же автомобилисту, не удалось с ходу резко затормозить в нужном месте, и прошлая жизнь просто по инерции ее захлестнула...

Такие чувства очень долго преследовали меня при попытках что-нибудь написать, пока наконец до меня не дошло, что писателю, видимо, ничего другого не остается, как изложить на бумаге все, в том числе и то, чего он больше всего в себе стыдится. Потому что избавиться от своей жизни все равно невозможно, и она обязательно будет тебе мешать, если ты сам не сделаешь ее содержанием своего творчества. Не говоря уже о том, что и в непосредственности деревенской девушки есть свое обаяние, а в гладких манерах аристократа – что-то банальное, печать чересчур правильной жизни, ну а о профессорах я вообще молчу.

Короче говоря, в конце концов я поняла, что нет никакого смысла волноваться и заботиться, потому что никто все равно не сможет как-то принципиально усовершенствовать свое умение владеть вилкой. А может, я и не поняла толком ничего, просто немного закоснела в своем бесконечном идиотизме, попривыкла, что ли, хотя у жизни есть такая странная особенность – она всегда застает тебя врасплох, и привыкнуть к ней невозможно. На самом деле я и сегодня часто чувствую себя простушкой в окружении насмешливых профессоров. Нет, пожалуй, я к этому так и не привыкла, скорее, ожесточилась и затаила в душе жуткую злобу. Честно говоря, мне теперь абсолютно плевать: правильно я держу в руке вилку или нет, – мне даже часто хочется зажать ее в кулаке и с размаху воткнуть в стол, или же забраться под этот стол и укусить кого-нибудь за ногу, как это делал Распутин в фильме «Агония»... Или же он так не делал?.. Ну да ладно!..

Странно, но миновав границу XIX века, я вдруг вспомнила, что практически ничего не написала про такого поэта, как Лермонтов. Почему? Мне и самой сейчас это не совсем понятно и даже немного пугает. Чего доброго еще могут подумать, что Лермонтов, с моей точки зрения, тоже не имел никакого отношения к литературе, а это было бы неверно! Моя забывчивость, вероятно, могла бы привлечь к себе внимание психоаналитика, который наверняка усмотрел бы в ней бессознательную зависть к конкуренту и желание его «замолчать»... Короче, хорошо, что я вовремя спохватилась! А Лермонтов и вправду был одним из самых полноценных русских поэтов, чей образ до сих пор практически ни у кого не вызывает слюнявого сюсюканья, в отличие от того же Пушкина... Вот и мне почему-то не хочется прохаживаться насчет его внешности: писать, какие у него были короткие кривые ножки, а усики – совсем как у старлея СА... Розанов, кстати, называл Лермонтова онанистом... Но все это не так важно!..

На самом деле Пушкина опошляет не только эта его бессмысленная любовная лирика, о которой я уже писала, но еще и какое-то невероятное количество всевозможных друзей и приятелей. Вот это, думаю, тоже очень вредит поэзии Пушкина и его имиджу. Лермонтов был куда более одинок, одинок

и приближен к смерти, и поэтому достиг в некоторых своих стихах редкой стилистической чистоты.

Удивительно, но его поэзии нисколько не навредил даже школьный долбеж. Просто какое-то чудо! «Я помню чудное мгновенье...» – мне кажется, уже через год после создания нормальный человек не смог бы слушать. А «И скучно, и грустно...» или же «Как часто шумною толпою окружен...» будут звучать еще и через сотни лет. «Выхожу один я на дорогу...» – тем более... «Горные вершины...» – вот только сейчас до меня, кажется, дошло, почему я вдруг вспомнила Лермонтова. Просто этот образ невольно вызвал в памяти его имя...

А секрет долголетия всех этих стихов заключается, на мой взгляд, в том, что в них запечатлелись не какая-то там эфемерная любовь или же предрассудок, вроде веры в Бога, а такие здоровые и вечные чувства, как ненависть, презрение к людям и злость. Эти чувства мне кажутся вечными, потому что они не исчезают вместе с крушением той или иной философской системы или же религии, а может быть, даже и всей человеческой цивилизации. Злобу, ненависть и презрение к людям, например, способен испытывать ведь не только человек, но и тигр и крокодил... Впрочем, «любовь» и «вера» – это еще ничего, особенно если вспомнить, что некоторых современных поэтов сейчас очень занимает «дискурс».



Глава 19 По ту сторону ума и глупости

Мне нравится название книги Вячеслава Иванова «По звездам», хотя я ее и не читала, а если и читала, то уже ничего не помню. Но скорее всего, там написано, что художник движется в этом мире как бы ночью в огромном океане, ориентируясь в пространстве по звездам, чтобы не заблудиться, не сесть на мель или же не напороться на риф.... Короче говоря, художник действует, как моряк заграничного плавания. Мне нравится такое сближение, и сам образ – тоже, потому что порой бывает очень утомительно сидеть целыми днями в пыльной душной комнате за письменным столом. Все-таки приятно почувствовать себя моряком дальнего плавания, хотя бы в переносном смысле.

Недавно мой брат вернулся из рейса, длившегося почти полгода, и отправился менять заработанную валюту. Около обменного пункта его встретила какая-то размалеванная девка и предложила ему обмен по более выгодному курсу. Они отошли в сторонку, тут неожиданно, откуда ни возьмись, возник какой-то мужик и громко крикнул: «Милиция!» Мой брат на секунду отвлекся, и в результате у него в руке осталось несколько бумажек по одному доллару - вместо тысячи. А размалеванная баба и мужик-«милиционер» куда-то исчезли, просто испарились! После того как мой брат рассказал мне эту историю, я еще больше прониклась идеями книги Вячеслава Иванова «По звездам» и еще сильнее почувствовала сходство профессии писателя с профессией моряка. Не знаю даже, стоит ли развивать эту тему... И так все ясно!..

У самого Вячеслава Иванова, в отличие от того же Блока, была вполне земная и стабильная специальность профессора, кажется, он был специалистом по античности. Как-то мне даже попала в руки его книга с очень сложным названием, написанная в высшей степени научным языком, что-то про дионисийство. Скорее всего, это даже была его диссертация. Несколько раз я бралась за эту книгу, но так и не сумела ее осилить. Честно говоря, я почти ничего в ней не поняла... С тех пор не могу избавиться от ощущения, что Вячеслав Иванов был полным идиотом.

Тем не менее писателю очень полезно иметь какую-нибудь стабильную земную профессию. Селин очень подробно описывает свои мытарства в конце войны, когда ему пришлось бежать в Данию от союзных войск и армии де Голля. И как я могла заметить, он ни разу не упоминает, что нашел у кого-либо поддержку в качестве знаменитого и даже гениального писателя – в сущности, ему удалось спастись только благодаря своей профессии врача.

Лично я очень устала от постоянной нестабильности своего существования, эта вечная «зыбкость волн» постепенно начинает сильно утомлять, хочется почувствовать наконец под ногами твердую почву, а ее все нет и нет... И дело даже не в материальной нестабильности, а в странной зыбкости моего мировоззрения – такое ощущение, что взгляду не на что опереться во внешнем мире, и он все время проваливается в пустоту. В том-то все и дело, обыватель – это человек, твердо стоящий на ногах, а писатель вечно блуждает в темноте и пытается ориентироваться по каким-то туманным звездам. Если обыватели вдруг начинают придавать литературе слишком большое значение, то очень скоро они все тоже погружаются во мрак и с непривычки вскоре идут ко дну. Как это и произошло в России. Все очень просто!

Однако никто так не верит в неизбежность литературы, как обыватели. Писателю обычно очень не хватает этой обывательской твердости и уверенности в себе... Существует, по крайней мере, несколько гипотез о смерти литературы, и все они с особым наслаждением муссируются самими писателями. Большинство обывателей о них даже не подозревают. «Литература мертва? А тем более, театр? Музыка? Или же живопись? Как?! Разве такое возможно?!» Одна моя парижская знакомая, происходящая из очень старинного немецкого рода, как-то с неподдельным восторгом и трепетом рассказывала мне о перипетиях жизни Мякина, гонимого лауреата русского происхождения. Особенно ее волновал самый тяжелый период жизни писателя, когда он «даже жил на кладбище в склепе». Все это, естественно, было описано в его книгах. Признаюсь, этот рассказ очень тронул мою душу, даже вселил в меня надежду, что когда-нибудь и моя судьба кого-нибудь так же взволнует! Правда пока я еще не получила никакой премии, и это меня слегка озадачивает.

Самая распространенная и одновременно самая простая и понятная гипотеза о смерти литературы основывается на идее прогресса. Эта гипотеза настолько

проста и доходчива, что, мне кажется, и моя парижская знакомая, если бы только знала о ее существовании, вполне могла бы с ней согласиться. Суть этой гипотезы заключается в том, что литература не выдержит конкуренции с более технически оснащенными визуальными видами искусства, такими как кино или же Интернет, и с неизбежностью погибнет. Короче говоря, у человечества раньше просто не было под рукой достаточных технических средств, кроме камня, стены в пещере, карандаша, листка бумаги, кисти, холста и т.п. для более или менее правдоподобного воспроизведения окружающей реальности. Зато теперь люди воздвигли огромные телебашни, запустили в небо спутники и сумели создать такую сложную технологическую цепочку, что в перспективе каждый, сидя у себя в квартире, сможет постоянно наблюдать жизнь своего соседа на экране телевизора со всеми интимными подробностями. Иными словами, шоу «за стеклом» и есть единственная и совершеннейшая форма искусства, воплотившая в себе главную мечту человека – подглядывать за своим ближним. С появлением этого чуда техники необходимость во всех «посредниках» между человечеством и реальностью со всеми их жалкими карандашами, холстами и театральными подмостками автоматически отпадает. Честно говоря, эта гипотеза кажется мне вполне правдоподобной и соответствующей природе человека. Однако, как это ни парадоксально, именно техническая неоснащенность литературы делает ее наиболее конкурентоспособной в споре с прогрессом, так как недостаток технических средств побудил писателей разработать, пожалуй, самую изощренную идеологию для оправдания собственного существования. Иными словами, обывателей теперь, когда все технические вопросы, по сути, уже решены, будет очень сложно убедить в отсутствии у человека души и врожденной тяги к так называемой «духовности». На них вся надежда!

Что касается меня, то я вообще не верю в то, что за словом «литература» когда-либо что-нибудь скрывалось, кроме пустоты. То есть я думаю, что никакой литературы попросту никогда не было, так что и умирать, в общем-то, нечему! А всегда был, есть и будет чистый индивидуальный акт творчества, создающий из ничего нечто. И между двумя такими актами, пусть даже осуществленными при помощи карандаша и бумаги, скорее всего, нет и не должно быть ничего общего. Так что называть такие единичные творческие акты одним словом «литература» – это, на мой взгляд, все-таки сильное преувеличение. В существование литературы, как я уже сказала, верят, главным образом, обыватели. Не случайно же они создают литературные институты и сами же там учатся и преподают.

И все-таки, взявшись писать историю русской литературы, я теперь должна довести начатое до конца. С моей стороны было бы в высшей степени безответственно вот так вдруг все взять и бросить. Тем более, что в русской литературе (я позволю себе по-прежнему употреблять это слово) осталось еще так много разных писателей, каждый из которых по-своему заблуждался. Далеко ведь не все из них были так умны, как я! Наверное, более правильно было бы назвать мою книгу «История одного заблуждения»... Ну да ладно, из песни слова не выкинешь!

И потом, это только всех окончательно запутает. А в этом мире и без того полно всякой путаницы. Так зачем ее множить?! Нет уж, пусть будет «литература»! Все просто и понятно!

На самом деле, меня не столько занимает смерть литературы, сколько история ее деградации! Мне кажется, где-то в начале XX века русская литература как-то незаметно скатилась сразу на несколько ступенек вниз. О Брюсове я уже писала, но все-таки он был фигурой слишком второстепенной и незначительной, чтобы всерьез говорить о каком-то его фатальном влиянии на весь дальнейший

ход событий. Гораздо более роковой фигурой для русской литературы оказался, по-моему, Андрей Белый.

Правда, поначалу меня больше всего занимали отношения Блока, Белого и Любови Дмитриевны Менделеевой. Чем больше я думала об этих отношениях, тем больше мне начинало казаться, что два друга просто утонченно издевались над бедной женщиной и таким образом развлекались. Вполне вероятно, что так оно и было в действительности. Она металась от Блока к Белому и обратно, а они молча наблюдали за ее метаниями, даже не перемигиваясь, а просто многозначительно глядя друг на друга. Возможно, в этом тоже был свой смысл, даже почти наверняка, и сама Любовь Дмитриевна тоже ловила кайф, ведь каждый получает удовольствие, как может. Долгое время я вообще имела о творчестве Белого весьма смутное представление, меня интересовали только его отношения с Блоком и его женой. Зато потом как-то прочитала все сразу – и «Петербург», и «Серебряного голубя», и «Котика Летаева» – все, что только попало под руку. Когда читала, казалось забавным, а стоило мне закрыть книгу – и все испарялось, исчезало, оставалось чуть теплое легкое ощущение, как от слабо подогретого чая. Как иногда дребезжит, постукивает плотно закрытая стеклянная дверца в буфете, в ритм проходящим мимо внизу трамваям и машинам, а сразу непонятно, что это за мелкий стук, дробь какая-то; начинаешь думать или представлять, что это так сердце у тебя колотится, подумаешь, подумаешь и до того довоображаешься, что оно и вправду заколотится, а ведь всего-то нужно встать и приоткрыть эту дверцу, чтобы она не соприкасалась с другой и не стучалась об нее.

Недавно я смотрела какой-то триллер, то ли американский, то ли канадский. Там маньяк, поначалу скрытый, никому не ведомый до поры до времени, рисует на клочках бумаги все одно и то же чахлое деревце, склонившееся под порывами сильного ветра. И вот когда положительный, то есть страдательный герой попадает случайно в неизвестный загадочный дом, он видит в окно какое-то чахлое деревце, согнувшееся под ветром, эта картина напоминает ему нечто, что он недавно видел, и таким образом он догадывается, что попал в дом того самого персонажа, который вполне может быть искомым маньяком. Вот и Белый всегда напоминал мне что-то, что я вроде бы уже когда-то видела, или кого-то, кого я вроде бы уже когда-то встречала – человек с лысой головой и вытаращенными бесцветными глазами. Такое же ощущение оставляют и его книги: как будто что-то где-то уже читал: у Гоголя, Достоевского, Лескова, – но что именно, сразу не скажешь. Кстати, у Блока на одной фотографии примерно 1920-го года, очень похожее лицо – такие же лукаво вытаращенные бесцветные глаза и кривая ухмылка. А на остальных фотографиях он на Белого совершенно не похож. Но, должно быть, какая-то внутренняя общность все равно присутствовала, и вот выплыла наружу на одной фотографии.

Но это все ощущения. А если вдуматься, то Белый, по сути дела, разрушил русский роман, и в первую очередь, конечно, «Петербургом». Кажется, какой-то издатель (уже не помню кто) поначалу даже отказался его печатать. Разразился скандал, роман напечатали, а издатель-то, в сущности, был прав. Сейчас это как-то особенно отчетливо видно, с дистанции времени. Белый превратил роман в груды мусора, в кучу осколков, которые переливаются в лучах заходящего солнца. Отсюда и эти ощущения: что-то от Гоголя, что-то от Достоевского, – ничего своего, какие-то разрозненные ассоциации. Такое впечатление, что и сегодня большинство писателей так и снуют вокруг этой груды осколков, перебирая их и перекладывая в свои маленькие кучки, совсем как бомжи вокруг помойки, куда состоятельный хозяин только что выбросил разлетевшееся на куски старинное

зеркало в дорогой оправе... Вот это уже совсем новый образ писателя, не то, что у Вячеслава Иванова!

Андрей Белый разрушил роман... Это утверждение вовсе не кажется мне преувеличением или даже метафорой. «Петербург» – это нагромождение бессвязных ассоциаций, скрытых и явных цитат, позаимствованных из русской литературы XIX века. Трудно сказать, что тут от самого Белого – скорее всего, как раз разрушение. Во всяком случае, творческое усилие, которым создана эта книга, созидательным я бы никак не назвала. Это акт с использованием чужого материала, чужого труда, но не плагиат, а именно разрушение. В определенном смысле Белый – безусловный новатор, так как за ним и впрямь в литературу хлынула целая толпа любителей побренчать чужими словами и цитатами. Совсем как в брешь в крепостной стене! Раньше писатель мучительно искал какую-то идею, зерно, в основном в лице главного героя, который и становился главной идеей его произведения. Совсем как в природе: из зерна, упавшего на благоприятную почву, вырастает дерево. И далеко не каждому было дано найти зерно вроде Гамлета или же Дон-Кихота. В русской литературе подобных «счастливчиков» можно пересчитать по пальцам: Гоголь, Достоевский, Гончаров...

Последователи Белого больше не ищут никаких героев и идей, они одержимы поиском радикальных открытий и методов. В современной литературе метод окончательно пришел на смену герою... Однако в цветущем разнообразии природы нет никаких резких перепадов: борьба за выживание и смена видов происходят мучительно и долго. Поэтому уже в самой радикальной новизне «Петербурга» есть что-то подозрительное и неорганичное. По сути, это радикальность разрушительного взрыва! Последующее переключивание обломков из кучки в кучку кажется мне малоперспективным...

Наверное, Белый сделал с романом то же, что Кандинский – с живописью. На холстах Кандинского такое же обилие случайных мазков, красок и осколочных форм, когда-то где-то и у кого-то что-то значивших. Это искусство, живущее отраженным светом: та же куча осколков, переливающихся в лучах заходящего солнца... Да, конечно, подо все это подведена солидная теоретическая база – я об этом знаю, во всяком случае, кое-что слышала и готова признать, что, например, стремление запечатлеть на холсте идеи Канта не лишено юмора, приходится это признать, в противном случае оно заслуживало бы более пристального внимания психиатра, а не историка искусства.

Именно Белый и Кандинский разделили искусство на элитарное и массовое, и эта «дегуманизация искусства» произошла задолго до «восстания масс». Просто в самом углу тенистого сада была воздвигнута небольшая теплица, где начали выращивать всякие причудливые экзотические гибриды, защищенные от воздействия свежего воздуха тонким стеклом. И вот именно эти странные гибриды почему-то вдруг оказались в привилегированном, защищенном от внешних воздействий положении... Создатели детективов и «женских романов» стыдливо прячут клеймо на плече, уличающее их в занятии проституцией, солисты одиозных поп-групп вынуждены до изнеможения целыми днями тренироваться, прыгать по сцене и дрыгать ногами, а еще худшие расслабленные кретины и дебилы могут позволить себе спокойно, совершенно не напрягаясь, размазывать краску по холсту, выдавливая ее прямо из тюбика, или же выводить на бумаге никак не связанные между собой имена, цитаты и многозначительные слова, получая при этом халявные гранты, престижные премии и уважение тупой толпы. Мне кажется, это несправедливо! Я вообще не хочу, чтобы меня насильно запикивали за стекло и изолировали от свежего воздуха и внешнего мира! Я не

верю в существующее разделение на толпу и элиту и думаю, что это какой-то единый обывательский сговор, точнее, сговор людей, действующих по одному плану или же, по крайней мере, готовых охотно подыгрывать друг другу...

Странно, но сам Белый никогда не вызывал у меня раздражения. В его метаниях, очевидной психической неуравновешенности, увлечении антропософией, в запутанных отношениях со всеми этими бабами: Асей, Любой, Клавой... – как и во всем его облике, скорее, было что-то трогательное, чем отталкивающее. Я, в общем-то, никогда не сомневалась в его искренности...

В последнее время меня смущает обилие откровенных дегенератов, постоянно ошивающихся, если и не непосредственно вокруг меня, то где-то поблизости. Все-таки, нас объединяет общая сфера деятельности, называемая по старинке «литературой». Наверное, это тоже своего рода издержки производства... И хотя я не очень люблю всякие обобщения, меня постоянно мучает вопрос: откуда они все взялись, да еще в таком количестве? По чьей вине? Пушкина?.. Белого?.. Брюсова?.. Или еще кого-то?.. Мне кажется, что, уяснив это хотя бы для себя, мне удастся хоть немного отвести душу, получить некоторое метафизическое удовлетворение, раз уж иного мне не дано в этой жизни...

Впрочем, слово «дегенераты» к тем, кто составляет самый костяк современной «элитарной» культуры, вряд ли подходит. Их, скорее, даже можно было бы охарактеризовать как «умных» и даже «очень умных». Все они, начиная с Белого и Вячеслава Иванова, выглядят куда умнее того же Блока. Но вот это меня больше всего и убивает. Убивает настолько, что в какие-то мгновения я уже, кажется, совсем перестаю понимать, почему Ницше так много внимания уделял разоблачению морали – по-моему, ни добро, ни так называемая «духовность», ни, тем более, религия уже давно ничего не скрывают. Тут, в сущности, и разоблачать-то особенно нечего! Все очевидно и лежит на поверхности! По-своему это даже трогательно, когда человек всем сердцем тянется к добру и Богу – на это, по-моему, невозможно смотреть без умиления! Ведь на этом сегодня много не заработаешь.

А вот за всей этой бессвязной многозначительностью, размазанной беспредметностью, произвольно выхваченными из контекста умными словами, цитатами и именами, короче говоря, за всей этой бесформенной кашей, в которую превратилась теперь культура, уже давно ничего не скрывается, кроме корыстных и подлых человеческих интересов. Никакой другой тайны! Искреннее умопомрачение Белого осталась в далеком прошлом, однако открытый им метод писатели усвоили очень хорошо. Белый научил писателей наводить тень на плетень!

Можно даже сказать, что я ненавижу этот ханжеский «элитарный ум» гораздо больше, чем Ницше – бюргерскую мораль. Элитарность – это очередное утешение слабых, в которой лично я не чувствую абсолютно никакой потребности: мне не нужна эта тонкая стеклянная оболочка, изолирующая меня от внешнего мира. Пусть меня хотя бы в тысячу раз реже, чем Пугачеву, показывают по телевизору, и я буду в тысячу раз популярнее ее! Я не желаю вступать с ней ни в какой тайный сговор и делить сферы влияния! Если сегодня и возможна какая-нибудь настоящая культура, то она должна быть по ту сторону ума! Подальше ото всех этих многозначительных туманных фраз и отсылок!

В свое время писатели Серебряного века, вдохновленные примером Ницше, вступили в героическую борьбу с моралью. И я думаю, что, отказавшись от морали, человек, действительно, приближается к собственной сущности, очищается от чего-то надуманного и противоестественного. Но все это, увы,

длилось недолго. Все героические попытки искусства Art Nouveau закончились крахом, из-за странной тяги человека к симметрии. Я никогда не могла понять, почему после написания эффектного и выразительного романа «Там внизу» Гюисмансу обязательно нужно было сочинять «В пути» и «Там вверху» – книги, которые я так никогда и не смогла осилить. Нечто подобное произошло и с Сологубом: после «Мелкого беса» ему зачем-то потребовалась абсолютно нечитабельная «Творимая легенда»... Я почти уверена, что вовсе не безумие или же религиозное раскаяние побудили Гоголя бросить в огонь второй том «Мертвых душ», а врожденное эстетическое чувство, свойственное ему, – наверняка, это был какой-нибудь очень нравоучительный том, опять-таки в противоположность первому. Наверное, и самому Ницше только безумие помешало создать под конец жизни нечто в высшей степени нравственное и морализаторское.

А все умное, по моему глубокому убеждению, замутняет сущность человеческой жизни еще сильнее, чем мораль. Однако, понимая это, я сама тоже чувствую иногда очень сильное искушение написать что-нибудь в высшей степени умное и интеллектуальное. Наверное тоже, чтобы оправдаться, хотя я толком даже и не знаю, перед кем... Не знаю, удастся ли мне удержаться по ту сторону ума и глупости, на этой сверхчеловеческой высоте?!

Сологуб одно время, кстати, сильно занимал мое воображение. Я случайно обнаружила его роман в библиотеке города Шепетовки, где проводила свои очередные каникулы. Мне тогда вообще было нечего делать, и я целыми днями читала книги: садилась на диван и читала, читала – заканчивала одну книгу и тут же начинала другую. От этого содержание одной книги часто сливалось у меня с другой, и потом уже я не могла точно вспомнить ни героев, ни сюжета. Одно могу сказать: когда я читала, то погружалась в крайне приятное состояние, близкое к эйфории, переставая замечать окружающую действительность и целиком переселяясь в мир грез, живя одной жизнью с персонажами этих книг. Даже повесть Арсения Рутько «Детство на Волге» про детство Володи Ульянова и тем более книги Анатолия Рыбакова - «Кортик» и «Бронзовая птица» - действовали на меня подобным образом. И вдруг мне попался «Мелкий бес»...

Все, что описывалось в «Мелком бес», больше всего поразило меня своей реалистичностью: содержание было как будто списано с природы. В городе Шепетовке люди, по-моему, жили точно так же: целыми днями квасили, сплетничали и тихо сходили с ума. Соседка бабушки, тетя Валя, мать Витальки, шустрого кривоного рыжего мальчика, учительница местной школы, носила все время одну и ту же цветастую косынку, завязанную сзади, а спереди из-под нее кокетливо выглядывали серые кудельки волос. Как-то Виталька пригласил меня в гости. В прихожей полагалось снимать обувь, как при входе в мечеть, крашенные полы во всех комнатах были застелены чистейшими ткаными половиками, на кроватях горделиво топорщились толстые подушки в белоснежных наволочках, накрытые сверху кружевными накидками с вышитыми розанами. «Мать на огороде, - сообщил Виталька, ковыряя в носу, - у нее седни в школе выходной». На столике у кровати я заметила косынку, в которой всегда ходила тетя Валя, она так и лежала, завязанная сзади, круглая, по форме головы, а спереди к косынке были то ли пришиты, то ли приклеены те самые серые кудряшки. «Это маманя с нашего Полкана начесала. Волос-то у ней не дюже богато на башке, так она для красоты, - пояснил Виталик, поймав мой взгляд. – Ну че, может, телик посмотрим?» Но мне стало как-то не по себе от того, что я только что узнала такую жуткую тайну, я почувствовала, что после этого мне совершенно невозможно оставаться в этом доме, ведь если сейчас вдруг вернется тетя Валя,

так она сразу обо всем догадается. И что я тогда буду делать, как выглядеть? Ведь я точно покраснею как рак – я-то уж себя знаю! Поэтому, пробормотав, что мне срочно нужно домой, бабушка ждет, я выскочила из этого дома, забыв в прихожей свои босоножки, Виталька вышвырнул их мне вслед. Уже выйдя за калитку, краем глаза я заметила тетю Валю: она стояла среди грядок, опираясь на сапку, и обмахивая свою совершенно лысую голову панамкой в цветочек. В ужасе я убежала домой и с тех пор боялась даже близко подходить к этому дому, даже в тот конец улицы избегала заглядывать.



Глава 20 Идеальный поэт

Я часто думала о том, каким должен быть идеальный поэт. Или же чего так не хватает практически всем современным поэтам? После долгих и мучительных размышлений я пришла к выводу, что поэт, прежде всего, должен быть неприступным! Задача прозаика, как я уже сказала, втираться в общество, а потом всех обсирать, поливать грязью, а задача поэта – быть неприступным! Вот этого качества, мне кажется, больше всего и не хватает теперь поэтам. Вместо того чтобы «бежать от мира» и удаляться от него на недостижимую высоту, они слишком быстро становятся объектами всевозможных научных исследований. А вот этого-то как раз поэт допускать и не должен! Литературоведы, по-моему, вообще должны устрашать поэтов, потому что они, подобно шакалам, воронью и прочей мошкаре, первыми набрасываются на еще не успевший остыть труп творца, отправившегося в мир иной, и разрывают его буквально на части, не оставляя потомкам ничего, даже маленького кусочка... Впрочем, эта картина, пожалуй, уж чересчур мрачна.

Видимо, все дело в том, что гений, как я уже сказала, представляет в этом мире силу, глубоко враждебную жизни, возможно даже саму Смерть – ну, конечно, может, и не совсем такую, какой ее обычно рисуют: страшную, косматую, да еще с разящей наповал железной косой в руках, – а, например, спрятанную в маленький флакончик для духов в виде гробика – такой, какой был

у героя одного из моих романов по имени Гарри, – излучающую легкий, но губительный аромат. Но даже если это и не совсем так, если поэт не представляет в этом мире саму Смерть, он все равно является носителем некоего потустороннего по отношению к обыденной жизни опыта, то есть тайны.

Вот и получается, что поэт каким-то таинственным и непостижимым образом намагничивает свое бытие, наполняет его темным и завораживающим смыслом, а множество людей, которым тоже надо как-то существовать в культуре и подпитываться энергией этой тайны, возможно, даже сами того не желая, подобно мелким металлическим опилкам, присасываются к нему и тем самым этот магнит постепенно размагничивают. Ведь и в мире духа, наверное, как и везде в природе, существует закон сохранения энергии, хотя это никем пока еще и не доказано. Иными словами, литературоведы превращают тайну в самое обычное банальное знание, причем делают они это не со зла, а из самых лучших человеческих побуждений. В этом и заключается их главная опасность. В большинстве своем литературоведы – очень милые люди. Поэтому они меня так и пугают!

Печальная судьба Пушкина не нуждается в комментариях... Лермонтов все еще слегка отпугивает от себя исследователей своей злостью, но страх, в общем-то, уже почти преодолен... Тютчев... Фет... Жан Жене обворовывал своих знакомых, ходил в грязных вонючих штанах, которые можно было ставить к стенке, однако испугал только американцев, которые отказали ему во въездной визе. Когда же Сартр сочинил о нем огромный том, Жене впал в глубокий многолетний транс и едва вовсе не бросил писать – я его очень хорошо понимаю... Блока, мне кажется, подвела его немецкая педантичность: он сам все разложил по полочкам, все свои идеи и черновики, ничего почти не осталось... А вот Кузмин поступил гораздо хитрее: оставил после себя плохо освещенную неприбранную комнату, в которой разбросано много всяких вещей, вещичек и ничего не значащих безделушек. Исследователь, случайно забредший в этот полутемный будуар поэзии Кузмина, посидит, поперебирает разные предметы, попробует их аккуратно сложить на стул, но вдруг у стула отваливается заранее подпиленная ножка, и все опять рушится на пол, мешается в кучу. Одного исследователя сменяет другой, затем – третий... В общем, работы хватает всем, все довольны, и от Кузмина почти ничего не убывает... Правда и за Кузмина, мне кажется, в последнее время взяли всерьез!

Что же делать? Как спастись от надоедливых литературоведов? Воровать, не мыться, замочить собственную жену, любовницу, носить затвердевшие от грязи брюки, встречаться с Арафатом, восхищаться подвигами Че Гевары, сочувствовать судьбе несчастного Чаушеску, совершать паломничество на могилу Рудольфа Гесса, выколоть на своей груди портрет Пол Пота!? По-моему, исторический опыт совершенно ясно свидетельствует, что все это бесполезно. Селин своими злоключениями, стоившими ему, между прочим, очень недешево, добился только того, что в Париже нет теперь ни одной мемориальной доски, посвященной его памяти, да еще его вдова лишилась налоговых льгот на дом в Медоне, который мог бы быть объявлен «домом-музеем». Увы!.. А количество литературоведов, занимающихся сегодня во всем мире творчеством Селина, меня просто поражает. Думаю, что даже если поэты стали бы красить в черный цвет свои лица, а перед публичными выступлениями, стоя на сцене перед зрителями, перекусывали живую лягушку, как это делают отечественные десантники во время образцово-показательных учений, особенно в присутствии международных наблюдателей... Нет, думаю, даже это не помогло бы поэтам отпугнуть литературоведов. К тому же, по моим наблюдениям, далеко не все из поэтов осознают серьезность грозящей им опасности.

И должна признаться, что в своей жизни я, пожалуй, не встречала поэта, который выглядел бы по-настоящему неприступным. Хотя каждое лето, бывая в Париже, я обязательно посещаю ежегодную ярмарку поэзии на площади Сен-Сюльпис. Каких поэтов там только нет! И в каких нарядах! В последний раз я встретила там здорового мужика, всего утыканного разноцветными перьями различной длины и формы, а на голове у него возвышалось некое громадное сооружение, тоже из перьев — такие обычно бывают у индейцев в голливудских фильмах о Диком Западе. Он и стоял, кстати, гордо скрестив руки на груди, совсем как вождь племени из этих фильмов про индейцев. В общем, в его облике было что-то воистину неприступное. Настоящий поэт!

И только я так подумала, как прямо за его спиной, чуть поодаль, за оградой ярмарки возник силуэт некоей дамы в черном, с мертвенно-бледным лицом и ярко накрашенными губами. На голове у нее была надета маленькая круглая шляпка с вуалькой. Даме было даже на вид уже далеко за восемьдесят, хотя француженки обычно выглядят гораздо моложе своих лет, так что я с трудом себе представляю истинный возраст этой особы. И тем не менее я бы ни за что не назвала ее старушкой, потому что это была именно дама. Дама в длинном черном платье и шляпке с вуалькой. Заметив, что я за ней наблюдаю, она вдруг достала из сумочки пудреницу и начала пудрить свое и без того смертельно бледное лицо.

А губы у нее были густо накрашены конфетно-розовой блестящей губной помадой. Такой красивый розовый цвет потом я видела только всего один раз, совсем недавно, когда смотрела французский фильм, в котором муж бросил жену ради силиконовой куклы (там еще неоднократно подчеркивалось: «не резиновая, а силиконовая!»). Этот мужик выкрасил именно в такой восхитительный розовый цвет стены своей комнаты и развесил повсюду такую же материю, и губы этой силиконовой бабы были намазаны помадой того же оттенка, как у этой дамы в темном. Очевидно, это была поэтесса, собиравшаяся пройти на ярмарку... Но вдруг она переменяла свое решение, повернулась ко мне и ярмарке спиной и, небрежно помахивая сумочкой, скрылась за углом. После созерцания столь непредсказуемого своенравия и гордой неприступности таинственной французской поэтессы поэт-индеец как-то сразу поблек в моих глазах. Мне почему-то стало казаться, что он специально так вырядился и приперся на эту ярмарку, чтобы какой-нибудь критик или литературовед заметил его и что-нибудь такое написал про его сборник стихов, состряпал какую-нибудь статью. А таинственная незнакомка, кстати, еще несколько раз профланировала вдоль ограды поэтической ярмарки, всякий раз, как бы в нерешительности задерживаясь возле нее, но в ворота так и не зашла, во всяком случае, в тот достаточно продолжительный промежуток времени, который провела на этой ярмарке я... Все-таки, я не уверена, что это была именно поэтесса, может быть, и просто какая-нибудь носительница потустороннего опыта, так и не осознавшая до конца своего истинного призвания.

В сущности, во всей русской литературе был, видимо, только один по-настоящему идеальный поэт — Северянин. Во всяком случае, лично я не знаю литературоведов, которые бы занимались изучением его творчества. Наверняка такие есть, но их, по крайней мере, немного. Трудно сказать, что сделало Северянина неприступным для литературоведов, но это именно так: ему каким-то таинственным образом удалось оттолкнуть от себя исследователей литературы. Поэтому, видимо, большинство его стихов и по сей день сохраняют свою первозданную свежесть и магию, даже слегка потрепанные от частых декламаций «Ананасы в шампанском»...

Когда я думаю про Северянина, я ухожу в себя, мне не хочется ни с кем говорить, а просто молча сидеть, уставив глаза в одну точку, задумчиво, забыв о том, что со стороны в такие моменты человек становится похож на идиота. Никогда не забуду лица своей тетки: она сидела, задумчиво вытаращив свои бледно-серые глаза, не замечая ничего вокруг, и всем своим видом напоминала тупого барана. На голове у нее была мохеровая шапка, все волосинки мохера так и торчали дыбом, подчеркивая бодрую сущность моей тетки. Очевидно, слияние бодрой сущности и глубокой задумчивости порождали такой эффект – тупого бараньего идиотизма. С тех пор я опасаясь так задумываться: а вдруг мое лицо становится похожим на лицо моей тетки – это у меня уже как условный рефлекс. Так что, боюсь, глубоко задумываться я не умею.

Я прекрасно помню первую ассоциацию, связанную с Северяниным, ибо все имена и многие названия прочно ассоциируются у меня в сознании со вполне определенными предметами, иногда совсем обыденными, иногда очень странными. Имя «Северянин» ассоциировалось у меня с красивой голубоватой кафельной плиткой с нанесенной на ней тонкой золотой сеточкой и изысканным узором по краям. А у Северянина и в самом деле был наверное очень неприступный, даже царственный вид. Кажется, во рту он постоянно держал такую большую красивую трубку, и жил, скорее всего, в какой-нибудь обитой розовым шелком мансарде, куда по длинной винтовой лестнице, трепеща от восторга и робости, периодически поднимались поклонницы... Иначе я его себе не представляю! Естественно, что к такому царственному поэту литературоведы боятся подходить на пушечный выстрел. Для меня здесь нет абсолютно ничего удивительного! В этом отношении ему в России мог составить конкуренцию разве что Бальмонт... Хотя нет! Литературоведы вовсе не боятся Бальмонта и уже затрепали его до дыр. Так что Северянин все-таки вне конкуренции. И свои дни он доживал в изгнании, кажется, в Эстонии, совсем как последний китайский император.

Из живущих ныне главным претендентом на роль идеального поэта мне одно время казался Владик Монро. Однако когда я собирала посвященный ему номер «Дантеса», мне в руки попало сразу несколько литературоведческих статей о нем, написанных к тому же очень научным языком. Честно говоря, этот факт сильно поколебал авторитет Владика в моих глазах. Впрочем, я даже толком не знаю, что с ним стало теперь — Владик уехал в Москву и исчез из моего поля зрения. Разве что случайная заметка в газете, где описывалось, что Владика забрали в милицию, потому что он расхаживал по Москве в костюме Бен Ладена. Кажется, в милицию обратились какие-то бдительные американцы... Пожалуй, это последнее, что я в данный момент слышала о нем, так что окончательный вывод на его счет пока делать, наверное, рано.

И все-таки однажды мне посчастливилось встретить по-настоящему неприступного идеального поэта, о котором, я уверена, никогда не будут писать литературоведы! Поэтому я, как историк литературы, считаю себя просто обязанной засвидетельствовать этот факт— для истории, так сказать.

Имя этого поэта Игорь Петров. Я познакомилась с ним у Александра Донских фон Романова (нынешнего солиста группы «Зоопарк»), а Донских, в свою очередь, встретил его в «Крестах», куда в свое время его засадила жена, кажется, из-за квартиры, которую они никак не могли поделить... Но не в этом дело! Я до сих пор не могу забыть это утонченное неземное существо, настолько утонченное и неземное, что я, как увидела его, так сразу и поняла: вот он, идеальный поэт! Даже шарф на его длинном демисезонном пальто показался мне не обычным шарфом, а длинным шлейфом, как у какого-то волшебного нездешнего Пьерро. Он оставил мне на память всего несколько листочков, на

которых были написаны от руки стихи, как это и положено идеальным стихам идеального поэта. Вряд ли я когда-нибудь еще раз его встречу, поэтому позволю себе тут процитировать одно из них:

В храм белоснежный спешу
 В отчаяньи от злых рутин
 На коленях молитвенно шепчу
 Батюшка подай на героин
 Буду часто молитвы шептать
 Свой лоб в поклонах разобью
 Годами посты соблюдать
 Батюшка героин отмолю
 Ведь прекрасно добро вершить
 И овечку в стадо загнать
 Вам Господь повелел простить
 И погибающим подавать
 Вы же постигли радость света
 И мудрости глубин
 Любите грешников многие лета!
 Батюшка, подай на героин!



Глава 21 Дегенеративное искусство

Только я написала, что Северянин – один из главных претендентов на роль идеального поэта в русской литературе, который своим царственным величием должен отпугивать всевозможных исследователей даже после своей смерти, как тут же получила электронное письмо из Эстонии от одного чрезвычайно просвещенного человека, в котором он сообщал мне, что в этом соседнем дружественном государстве существует настоящий культ «царственного» Игоря Владимировича Лотарева и, главным образом, среди местных литературоведов.

Причем количество научных трудов и исследований, посвященных ему, уже с трудом поддается исчислению. Более того, только что вышедший в свет объемистый том исследований о Северянине красуется сейчас в самом крупном книжном магазине Таллина рядом с моей «Голубой кровью»...

Короче говоря, с Северяниным я слегка прокололась.

Приходится признать! Хотя я все равно с трудом представляю себе защиту диссертации, посвященной этому поэту, во всяком случае, сам процесс: заседание ученого совета, возражения оппонентов и т.п. Но все-таки, надо учесть, что в Эстонии Северянин доживал свои дни уже лишенный практически всех атрибутов своего бывшего величия и ослепительного успеха у публики. Так что эстонские литературоведы вполне могли его принять и не за того – перепутать, так сказать. Точно так же, как и последнего китайского императора в конце жизни многие принимали за обыкновенного садовника. В целом же этот факт лишней раз подтверждает основную мысль предыдущей главы моей истории: от литературоведов поэту спастись очень-очень сложно, практически невозможно!

Конечно, может быть, все не так и страшно, как мне кажется, но определенные проблемы они все-таки создают, а уж неудобства – так это точно! Мне, к примеру, сегодня было бы крайне трудно ответить на вопрос о том, кого из русских писателей и поэтов я отношу к своим самым любимым, ну, в общем, кто мне нравится больше других. Пожалуй, я не смогла бы назвать и двух имен... И вовсе даже не потому, что мне теперь совсем-совсем никто не нравится, и я считаю всех полным дерьмом. Отнюдь! Кое-кто мне все еще симпатичен, не то, чтобы я кого-нибудь из них часто перечитываю, но так, иногда... Однако назвать вслух хотя бы два имени мне было бы очень сложно – просто из чувства некоторой неловкости, что ли! Да, именно неловкости, точнее не скажешь! Это все равно что, собираясь на какую-нибудь вечеринку в приличное общество, я открыла бы шкаф и вдруг обнаружила, что практически все некогда любимые мной вещи в той или иной степени изъедены молью! То есть получилось бы, что мне абсолютно нечего надеть! А ведь это не шутки! В результате мне стало бы так обидно, что я, пожалуй, даже могла бы разрыдаться. Вот так и в русской литературе! Практически все имена тоже «изъедены молью» литературоведения! Ну не обидно ли?! Дожили! Ну разве что имя Чарской не стыдно сегодня произнести вслух, и это не будет отдавать моветоном. Кажется, только одна эта заваливавшаяся в углу шкафа старинная накидка из чернобурки каким-то чудом и не пострадала. Не случайно я даже страницы своего последнего романа «Белокурые бестии» украсила изящным античным орнаментом, чтобы было как у Чарской: так же красиво и величественно! И конечно же, еще и для того, чтобы какой-нибудь литературовед, случайно взяв в руки мою книгу, сразу же весь начал кривиться и морщиться... В общем, этот орнамент – еще и что-то вроде дуста.

Средство от моли!

Потому что проблема, конечно, заключается не только в литературоведах. Они, как я уже сказала, всего лишь лишенные собственной воли металлические опилки, бесчувственная моль... Все дело в самих поэтах и писателях! В отсутствии у них подлинного царственного величия и неприступности!

А ведь Россия еще далеко не самая обездоленная страна в этом отношении! Вот если бы мне пришлось жить среди каких-нибудь чурок с их доисторическими Низами или же Ду Фу... Жуть!.. Даже страшно представить!.. Или же на родине моего отца, Украине – на своей Fatherland, так сказать, – где бы меня, наверняка, постоянно доставали тупоголовым Шевченкой с круглой плешистой башкой, совсем как чугунок, в котором моя бабушка в Шепетовке варила мне по утрам кашу. «Дывлюсь я на нэбо...» – после сотни-другой этих «дывлюсь на нэбо» я бы им точно подавилась! Нет, после такого не только

Пушкин с Белым, но и Брюсов или даже Хлебников, возможно, перестали бы мне казаться совсем безнадежной рухлядью, и я не стыдилась бы вслух произносить их имена, не говоря уже об именах других русских поэтов и писателей...

Хотя насчет Хлебникова я все же сомневаюсь... Присутствие этого типа в русской литературе – а язык как-то не поворачивается назвать его поэтом, — должна признаться, ставит меня в тупик. Стоит мне только о нем подумать – хотя бы мысленно представить его себе или даже услышать его имя, – как у меня буквально опускаются руки, хочется выть от тоски, все забросить – не только эту свою историю, но и литературу вообще... Такую непроглядную скуку навеивает на меня этот, как бы это поточнее выразиться... ну пусть будет «человек» – назовем его пока условно так. Какая разница! И в самом деле, о какой литературе после Хлебникова можно всерьез говорить!? Белый со своим экзотическим элитарным «Петербургом» – это еще, так сказать, «цветочки». Во всяком случае, он сам, лично, хотя бы никогда не казался мне полным и законченным дегенератом. Отнюдь! Полноценный человек, один из творцов Серебряного века, далеко не дурак в общем-то, и не урод, при всех его задвигах... Но Хлебников! Это уже все! Кранты! Дальше некуда!

Начнем с того, что Хлебников всегда представлялся мне совершенно полным и откровенным олигофреном с капающей изо рта слюной. Не знаю даже, откуда взялся этот образ, но он возник у меня фактически при самом первом знакомстве с его творчеством. Сначала, конечно, это было такое бессознательное ощущение, затуманенное всякими расплывчатыми комментариями и рассуждениями о его гениальности и т.п., но потом постепенно в моем сознании, как курица из яйца, окончательно вылупился этот образ – слюнявого олигофрена. Ничего не прибавить, не убавить: законченный дебил! Впрочем, я допускаю, что если бы мне в юности, например, попались воспоминания Бунина о Хлебникове (кажется, Бунин описывает его в книге «Под серпом и молотом»), в которых Хлебников изображен ловким приспособленцем и пронырливым авантюристом, опустившим на бабки сразу нескольких своих меценатов, то, возможно, его образ и трансформировался бы в моем сознании в лучшую сторону. Все-таки Бунин дает портрет довольно колоритного персонажа. Но книга Бунина по не зависящим от меня обстоятельствам попала мне в руки, увы, слишком поздно, когда мои представления о Хлебникове уже приняли совершенно законченную и необратимую форму... Тем не менее я очень хорошо запомнила последнюю фразу, которыми завершались воспоминания Бунина о Хлебникове: «А затем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными...» Вот это, по-моему, Бунин очень точно подметил! И дело вовсе не в большевиках – просто я и сама неоднократно замечала, что люди, которые косят под дурачков или сумасшедших, изображают какую-то непомерную широту натуры, поднимают много шума и т.п., как правило, вовсе неплохо ориентируются во внешнем мире и всегда держат нос по ветру.

Незадолго до смерти Тимур Новиков, кстати, собирался осуществить еще один свой грандиозный проект – организовать выставку под названием «Дегенеративное искусство», на которой должны были быть представлены всякие наиболее характерные образцы современного искусства, главным образом «авангардного», естественно. К сожалению, этот проект так и остался неосуществленным! И хотя название этой неосуществленной выставки и несет в себе некоторые двусмысленные ассоциации с прошлым, признаюсь, в наши дни мне оно кажется чрезвычайно удачным, ибо как нельзя лучше передает общее состояние современной культуры. Можно было бы, конечно, поискать альтернативные варианты названия, но лучше, по-моему, просто придумать невозможно! Не уверена, что мы с Тимуром вкладывали в это емкое определение

абсолютно одинаковый смысл, но я бы, пожалуй, с удовольствием поучаствовала в этом проекте, по крайней мере, в качестве литературного консультанта. Думаю, что Хлебников обязательно был бы как-то представлен на этой выставке своими стихами или еще как-то, в виде портрета, например, – главное, чтобы было как-нибудь обозначено его присутствие в качестве одного из самых характерных представителей такого искусства... Очень важно отдавать себе отчет в том, что многие творцы «дегенеративного искусства» – Малевич, например, или тот же Кандинский – вовсе не были сами дегенератами, а вот Хлебников был, и в этом заключается его главная отличительная черта от остальных. Для таких как Хлебников, я бы, пожалуй, даже выделила на этой выставке специальный зал, чтобы слегка отделить их от других, подчеркнуть их уникальность и неповторимость, так сказать.

Забавно, что человеческое сознание устроено таким образом, что вся поступающая в мозг информация, как правило, сразу же разбивается там на всевозможные антиномии и дихотомии. Наверное, так она просто легче усваивается, или же человеческий мозг внутри устроен наподобие компьютера, где все расфасовывается по специальным симметричным ячейкам, даже не знаю... Но я заметила, что в русской литературе практически все писатели, почти сразу же после своего вхождения в литературный мир, разбиваются на пары, главным образом по принципу взаимного противопоставления. Думаю, что так их просто удобнее запоминать школьникам и людям, далеким от литературы, простым обывателям, – возможно, эти противопоставления и существуют специально для них. Пушкин все время противопоставляется Лермонтову, Толстой – Достоевскому, Маяковский – Есенину и т.д. Некоторые пары почему-то до сих пор так никто и не обозначил, хотя они, как мне кажется, тоже напрашиваются сами собой. Например, Северянин в определенном смысле тоже является полной противоположностью Хлебникова. Странно, что этого, кажется, почти так никто и не заметил. Это же очевидно! И очень легко запоминается!

И если Северянин, несмотря на усилия эстонских литературоведов доказать обратное, все-таки, по-моему глубокому убеждению, из всех русских поэтов больше всего тянет на роль идеального поэта, то Хлебникова соответственно, как я уже отметила, вообще поэтом назвать трудно, к нему это слово, мне кажется, уже никак не подходит. И самое главное, что занимались-то они в своем творчестве, в сущности, одним: выдумывали всякие новые слова, импровизировали и т.п. Только Северянин это делал как бы шутя и играючи, чтобы «возбуждать улыбку дам» и т.п. А вот зачем выдумывал эти слова Хлебников, для кого!? Какие-то сплошные ребусы и кроссворды из слов вместо стихов! Ни одной внятно выраженной и до конца высказанной мысли или хотя бы шутки, способной вызвать нормальную человеческую улыбку! А это уже, признаюсь, находится за пределами моего понимания.

Впрочем, кое о чем, кажется, я все же немного догадываюсь. Во всяком случае, кое-какие соображения на этот счет у меня имеются... На эти догадки меня как раз и навел тот факт, что Хлебников в моем мозгу укладывается в ячейку прямо противоположную Северянину. Хлебников, видимо, занимался своим словотворчеством специально для литературоведов, причем так, чтобы им как можно удобнее было все сочиненное им изучать, писать диссертации и т.п., поэтому они все в него так потом и вцепились... То есть в Хлебникове, в отличие от царственных Северянина и Чарской, уже, в сущности, нет никакой тайны и гордой неприступности, как нет ее – этой тайны – практически во всей порожденной им современной поэзии. Вместо тайны – какое-то невнятное слянявое угодливое лакейское бормотание, не совсем понятное, конечно, но тайной я бы это все равно не назвала.

Может быть, это звучит слегка парадоксально, но в такой поэзии изначально уже нет совсем никакой поэзии, поэтому ее можно спокойно сколько угодно изучать – от нее все равно ничего не убудет. В общем, это изначально настолько затертая изношенная и изъеденная молью вещь, что я ее на себя ни за что и никогда бы не надела! Даже думать противно!



Глава 22 Основной вопрос культуры

Присутствие в литературе откровенных олигофренов, которых к тому же практически все вокруг в один голос называют «гениями», не просто озадачивает меня или же ставит в тупик, нет! Пожалуй, я безо всякого преувеличения могу сказать, что у меня не хватит слов, чтобы выразить всю сложную гамму чувств, которую у меня этот факт вызывает. А ведь Хлебников в русской литературе далеко не одинок. Увы! Есть ведь еще его брат-близнец по разуму – Платонов, с такой же невнятицей в голове и книгах и откровенно дебильскими суждениями об окружающем мире... Тут же поблизости, в смежной, так сказать, сфере деятельности отсвечивает Филонов...

И вообще, мне приходится наталкиваться на нечто подобное буквально на каждом шагу, чуть ли не ежедневно. Встретишь где-нибудь уже, казалось бы, совсем конченого придурка, который сидит за столом, ковыряясь у себя в зубах или же в носу, тупо уставившись на стену, сосредоточенно стараясь пересчитать копошащихся там мух: губки сложены «гузкой», а из глаз сочится идиотическое благодное умиление или же, наоборот, неприкрытая животная хитрость... Казалось бы, все ясно! О чем тут говорить?! Нет, обязательно найдется кто-нибудь и скажет: «Не обращай внимания! Лучше посмотри, какие у него замечательные стихи! Или же картины...» – «Нет, спасибо! Не буду я смотреть его стихи, рассказы и картины! Как-то не хочется... Сегодня у меня что-то сильно разболелась голова... Давайте лучше как-нибудь в другой раз... Я специально соберусь с мыслями, подготовлюсь и обязательно сюда зайду, чтобы со всем ознакомиться...»

Но откуда взялось все это огромное количество кретинов, которых еще большее число людей вокруг называют «гениями»? Было ли так всегда? Или же это какое-то совершенно неслыханное доселе веянье времени? Мне кажется, это самый главный, можно даже сказать, «основной вопрос» современной культуры.

Стоит мне об этом подумать, как я и вправду начинаю чувствовать себя чуть ли не Лениным, но не в Октябре или же 18-м году, а где-нибудь так в году 90-м позапрошлого века. Я почему-то вообще часто представляю себе Ленина в те годы. В такие мгновения перед моими глазами как бы прокручивается пленка так никем никогда и не отснятого фильма: «Ленин в 90-м». Что должен был испытывать тогда этот низкорослый, тщедушный и уже начавший лысеть юноша? Особенно на фоне огромного, почти двухметрового императора Александра III на троне? Александр ведь, ко всему прочему, обладал еще и недюжинной физической силой. Я где-то читала, что однажды, после организованного террористами взрыва, он один долго держал на себе готовую обрушиться крышу вагона и тем самым спас свою семью, ехавшую с ним в купе... Представлял ли Ленин себя на его месте? Наверняка он должен был чувствовать ужасную подавленность, ведь ничего, кроме карьеры провинциального адвоката, ему в то время не светило... Во всяком случае, «основными вопросами» бытия от хорошей жизни не задаются. Что первично: материя или идея? Какая разница, когда вокруг так много всяких соблазнов, веселья и роскоши, буржуа едят ананасы, жуют рябчиков, где-то там, в павловском саду играют вальсы Штрауса, а под Рождество в «Англетере» взлетают к потолку пробки шампанского... Ленин, скорее всего, воспринимал весь окружающий его благополучный мир как чуждый и очень сильно его ненавидел. О, как я его понимаю!

Вот и на меня, как и на «Ленина в 90-м», сегодня все чаще нападают приступы подавленности и, можно даже сказать, депрессии, но не от того, что мне уже ничего не светит, а, наоборот, от того, что я не совсем понимаю, к чему я должна стремиться в той сфере деятельности, внутри которой я по каким-то странным причинам оказалась. Я чувствую себя загнанной в клетку, из которой мне уже вряд ли удастся выйти. Однако ответ на так долго мучивший меня вопрос очевиден, не менее очевиден, чем открывшиеся Ленину первичность материи и ее торжество над духом: культура больше никак не связана с жизнью, она вообще больше ничего не выражает и не отражает, никаких реалий и никакой реальности! Это теперь такой странный чемпионат мира по шахматам, где объявленный чемпионом боится сыграть партию с начинающим и поэтому старается обходить за версту Екатерининский садик, где обычно собираются любители... Или же нет! Лучше сказать так: это такой странный чемпионат мира по боксу, победителя которого больше не нужно держать в клетке или же в отдельной камере, изолированным от людей, чтобы он ненароком никого не покалечил, не откусил кому-нибудь ухо и т.п. Отнюдь! Чемпион сам старается как можно реже показываться на улице, чтобы его там, не дай бог, не побили... Последний пример кажется мне более удачным, потому что современная культура находится в конфликте вовсе не с человеческим разумом или там эрудированностью и начитанностью, а именно с жизнью, точнее с тем, что я бы назвала «жизненной полнотой». Не уверена в точности этой формулировки, но, надеюсь, общий смысл того, что я имею в виду, постепенно прояснится из контекста.

Короче говоря, в культуре произошла какая-то очень серьезная подмена, причем именно в XX веке, где-то в самом его начале, во времена Хлебникова и Филонова. Эта подмена чем-то сродни тем подменам, которые постоянно совершаются, к примеру, в шоу-бизнесе. По моим наблюдениям, там обычно все происходит по предельно простой и отработанной схеме. Если солист какой-

нибудь рок- или поп-группы чересчур много пьет, употребляет наркотики, доставляет слишком много хлопот своим продюсерам и вообще плохо управляет (пусть даже и пользуется успехом у публики), то он или же даже вся его группа целиком – не сразу, конечно, но постепенно – убираются со сцены, экранов ТВ и т. п., а вместо них появляются другие, работающие в том же стиле, в похожей манере, но такие, с кем руководству гораздо легче и приятней зашибать бабки, в общем, своего рода, двойники.

Точно такая же схема хорошо отлажена и в Голливуде, где из любого более или менее успешного коммерческого проекта стараются выжать буквально все при помощи бесконечных римейков (переделок), в которые превращается практически каждый удачный фильм. В принципе, в этом нет ничего предосудительного: из фильма, заранее рассчитанного на коммерческий успех, как из лимона, выжимается все, до самой последней капли, – такие действия абсолютно оправданны и по-своему разумны... Однако я хорошо помню то глубокое разочарование, которое меня когда-то постигло во время просмотра голливудского римейка «На последнем дыхании» с Ричардом Гиром в главной роли, когда анархистский фильм Годара вдруг трансформировался в слезливую мелодраму для домохозяек. Во время заключительных кадров, когда смертельно раненный Гир «на последнем дыхании», можно сказать, отплясывает перед своей коварной возлюбленной и даже исполняет ей какую-то песню о любви, меня, помню, едва не стошнило... Правда, все это было уже достаточно давно, и сегодня я отношусь к подобным вещам гораздо спокойнее. Но тем не менее...

Впрочем, не стоит думать, что подобные подмены являются исключительной прерогативой многократно оплеванной и всеми глубоко презираемой капиталистической «фабрики грез». Коммунисты, в сущности, действовали точно так же, ну разве что чуть грубее и откровеннее. Если Есенин, к примеру, слишком много пил, а напившись, к тому же, еще очень сильно буянил, то занимался он этим не так уж и долго. И вскоре трудящимся был представлен новый «улучшенный Есенин» в лице Михаила Исаковского, который уже почти совсем не пил и тем более не буянил, а просто тоже писал стихи о деревне и крестьянах, на ту же тему, короче говоря... Ну и так далее... Аналогичных примеров можно было бы найти более чем достаточно.

Хотя я, вообще-то, все это тут пишу вовсе не для того, чтобы кого-нибудь уличить. Мне просто кажется, что в двадцатом столетии в культуре тоже произошла некая подмена, наподобие тех, что я перечислила выше, очень на них похожая, но гораздо более глобальная и радикальная: человеческую гениальность теперь практически все стали почему-то отождествлять с расслабленной олигофренией. Забавно, но несколько раз, глядя на портреты Платонова, я невольно ловила себя на мысли о его просто поразительном сходстве с Бодлером. И в самом деле, на некоторых портретах они похожи, буквально как братья-близнецы. Но боже мой, какая пропасть их разделяет! Платонов в сравнении с Бодлером – это уже какой-то инопланетянин, иначе не скажешь.

И все-таки я бы затруднилась дать однозначный ответ на вопрос о том, кому было нужно подсунуть мне гениев типа Хлебникова или Платонова вместо Лермонтова, Достоевского и Блока. Я вовсе не уверена, что это было сделано исключительно в интересах работодателей или же каких-либо «партий и правительств». Вполне возможно, что в этом больше всех заинтересованы сами олигофрены... Что ни говори, но осознавать себя гением приятно!

Правда и для работодателей, думаю, Лермонтов или же Бодлер – не самые удобные партнеры по бизнесу... Скорее всего, в литературе все именно так и произошло. Поначалу власть имущие еще некоторое время терпели Лермонтова, Достоевского, Блока и им подобных, но потом им все это порядком надоело,

переходный период закончился, и они решили предложить массам, да и самим литераторам совершенно новую модель в качестве образца для подражания.

С этой точки зрения и недавнее обращение Голливуда к образу дефективного, но гениального математика, нобелевского лауреата в фильме, «Игры разума», так же как и триумфальное увенчание этого фильма «Оскаром», кажется мне вполне закономерным. Надо сказать, что это уже далеко не первый голливудский фильм такого рода, героем которого становится какой-нибудь урод, инвалид, дегенерат с серьезным отставанием в развитии, карлик или, наоборот, человек-слон, как, например, у Линча. И, как правило, несмотря на перипетии своей судьбы, все герои этих в высшей степени гуманистических фильмов окружены теплотой и заботой окружающих: с ними все нянчатся, сюсюкают, дарят им всевозможные подарки, побрякушки, ставят хорошие оценки в школе и даже, как теперь выясняется, награждают Нобелевскими премиями.

Но Нобелевская премия – это мелочи. «Оскар» фильму «Игры разума» – вот уже событие воистину эпохальное! Главным образом потому, что сама церемония вручения «Оскара» – очень-очень специфическое шоу, где впервые перед сытой и абсолютно полноценной публикой (без особых проблем, во всяком случае) в качестве объекта всеобщего умиления предстал еще один дефективный дегенерат, очередной гений, правда, математик, а не писатель, но в данном случае разница, на мой взгляд, не имеет принципиального значения. В реальности, вне этого зала с голливудскими актерами, режиссерами и продюсерами, нечто подобное уже давно происходит! Каждый день на это наталкиваюсь!

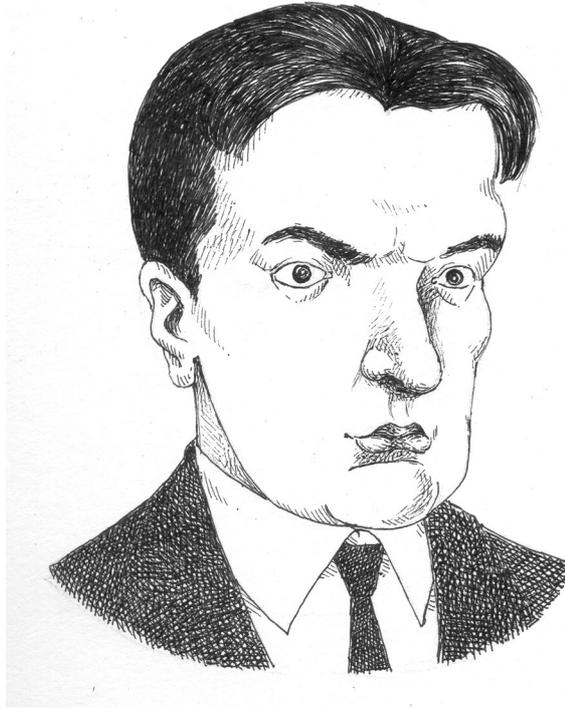
Приводя различные примеры и аналогии, я немного опасаясь в них запутаться, а тем более мне не хотелось бы сбить с толку того, кто будет читать этот текст, так как, в сущности, мне хотелось сказать о чем-то совершенно простом и очевидном, не сложнее того, о чем говорил в свое время Ленин, поэтому моя мысль должна быть всем понятна. Главное – не упустить нить повествования, хотя иногда это бывает не так легко сделать. Просто нужно чуточку сосредоточиться... Не так давно по телевизору я видела очень трогательную сцену. Толстая дебильная девочка, учащаяся какого-то лицея, рыдала на могиле солиста одной из отечественных поп-групп, который несколько лет назад как бы случайно выпал из окна, – вполне возможно, что и сам выбросился, правда как-то немного странно, при неясных обстоятельствах, к тому же, кажется, он как раз собирался от всех отделиться, начать индивидуальную сольную карьеру, стать самостоятельной звездой эстрады, в общем, перетащить одеяло на себя, но не важно... Короче говоря, поп-группа уже давно продолжает свои выступления, на место солиста подобран другой, такого же роста, с похожей прической, выкрашенными в тот же цвет волосами, даже форма черепа с приплюснутым низким лбом у него почти такая же, как у его предшественника, а эта дебильная девочка все продолжает ходить на могилу своего любимца, приносит туда цветы, как будто ей абсолютно нечем больше заняться.

Одним словом, оглядываясь сегодня на собственное, совсем еще недавнее вроде бы прошлое, я невольно ловлю себя на сходстве с этой дебильной фанаткой-пэтэушницей. Как это ни грустно, но теперь я и вправду уже не понимаю: а чем я, собственно, от нее отличалась, когда, как сумасшедшая, шлялась по кладбищам, то на могилу Апухтина, то к Блоку...

Помню, впервые я потащила на могилу Блока на Смоленском кладбище точно в состоянии, близком к умопомешательству. Тогда как раз было Вербное воскресенье; я купила свечку в церкви, зажгла ее и пошла, загадав, что, если мне удастся дойти с этой свечкой до могилы Блока и она не погаснет, то свершится нечто великое и прекрасное... Самой могилы, правда, на Смоленском уже нет –

ее давно перенесли на Волковское кладбище, на Литераторские мостки – только огромное старое дерево, к которому кто-то привинтил небольшую металлическую табличку с его именем и датами рождения и смерти. Вот, собственно, и все, других следов могилы там не осталось.

Но тогда, естественно, я еще не чувствовала себя Лениным, блуждала по миру, как впотьямах!



Глава 23 Двое в комнате

Кажется, чуть ли не в четвертом классе средней школы я случайно натолкнулась где-то на стихотворение «Здравствуй, мое бессмертное солнце» и буквально влюбилась в Маяковского, причем это была настоящая влюбленность: я собрала все его фотографии, даже из собрания сочинений в библиотеке вырезала. Кроме того, я изучила тщательнейшим образом всю биографию Маяковского по доступным мне тогда источникам и стала писать ему письма, которые, конечно же, никуда не отправляла, а складывала в свою школьную папку. Недавно я случайно, разбирая старые архивы, натолкнулась на эти письма и даже сама удивилась: зачем я в десятилетнем возрасте писала письма Маяковскому на тот свет? Причем тогда я, действительно, находила много общего между любимым поэтом и собой... Правда позднее, где-то уже в десятом классе, меня постигло некоторое разочарование, точнее, некое чувство досады, которое вдруг стал вызывать у меня Маяковский.

Главным образом, я не могла понять, зачем такой неотразимый и величественный поэт посвящал свои стихи и поэмы столь невзрачному и тщедушному существу, как Ленин. Конечно, я и раньше была знакома с биографией Маяковского, но вплотную соприкоснулась с его поздним творчеством только в старших классах. Причем никакие рациональные объяснения – отсылки к Марксу, рассуждения о революции и т.п. – меня не устраивали и в каком-то смысле не устраивают и по сей день. Все-таки было что-

то в этом жесте Маяковского по-настоящему запредельное, то есть то, чего не способны объяснить никакие логические доводы.

Маяковский – и вдруг Ленин! Тут была заложена какая-то глубочайшая диспропорция, не укладывающаяся в моем сознании. И не только из-за их разницы в росте, но вообще... К тому же эта «поздняя любовь» Маяковского, насколько я знаю, была без взаимности: Ленин всегда отзывался о Маяковском крайне сдержанно и явно предпочитал ему Пушкина... Нет, что ни говори, а Ленин с Крупской составляли куда более гармоничную пару!..

Ах, если бы я была теоретиком литературы, то я бы, пожалуй, прибегла даже к помощи психоанализа, попыталась бы применить этот универсальный метод к разгадке одной из самых больших тайн русской литературы! Например, известно, что отец Маяковского умер от случайного укола медной булавкой. По-моему, тут есть над чем подумать. Возможно, разгадка кроется именно здесь, в этой нелепой смерти от безобидной булавки – бесследно для неокрепшей психики ребенка такое пройти не могло! Отец, как-никак! Да если бы даже и сосед или просто знакомый – все равно! Я, например, до сих пор панически боюсь всяких булавок, и все из-за того, что когда-то в детстве ознакомилась с этим фактом биографии Маяковского. А ведь меня от этого события отделяет уже целых сто лет и несколько поколений!.. Наверняка, все дело в этой злосчастной булавке...

Кстати, я заметила, что люди, испытывающие особую тягу к перверсиям, практически никогда не отзываються отрицательно о Маяковском. Во всяком случае, мне таких встречать не доводилось, несмотря на свой достаточно богатый опыт общения с подобными рода личностями. Например, подавляющее большинство французов, и особенно француженок, всегда отличавшихся любовью ко всевозможным извращениям, от Маяковского просто без ума. Всем известно, какое влияние оказал Маяковский на французских авангардистов во главе с Арагоном!.. Помню, где-то в середине девяностых один мой парижский приятель, который нигде не работал, отчего ему постоянно нечего было есть, однажды срубил «на Маяковском» неплохие бабки. Просто нацепил на себя табличку: «Подайте русскому поэту Маяковскому на пропитание!» – и вышел на автобан, даже бриться наголо не стал. Физиономия, конечно, у него была пошлая и не очень выразительная, хотя и смазливая, но зато роста он был довольно высокого... В общем, этого оказалось достаточно, чтобы за неполный рабочий день получить что-то около двух тысяч франков: целый полиэтиленовый пакет денег, в основном монетками по десять франков. Ему эти деньги кидали прямо горстями из проезжавших мимо машин... Правда как раз накануне по французскому телевидению выступил некий «отец Пьер» с призывом к обывателям быть милосерднее к бедным – во Франции тогда, кажется, еще объявили и «месячник милосердия», и одно на другое наложилось: Маяковский и милосердие. Но я почему-то думаю, что моему знакомому удалось собрать такую крупную сумму, главным образом из-за Маяковского, то есть из-за врожденной тяги французов ко всевозможным извращениям... Потому что, если вдуматься, то в сравнении с поэмами «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин» их маркиз де Сад и тем более Батай смотрятся очень-очень бледно!

А кого можно сопоставить с Маяковским в этом смысле в отечественной словесности? Конечно, многие советские поэты писали о Ленине, но ведь они писали о себе подобном! Иное дело – Маяковский. Есенин, который даже в сознании обывателей составил с Маяковским своеобразную антиномическую пару, вроде тех, о которых я уже писала (Пушкин – Лермонтов, Толстой – Достоевский, Северянин – Хлебников и т.п.), и вовсе старался во всем соперничать с Маяковским... Так вот, что мог Есенин реально противопоставить Маяковскому? Что он такого особенного для этого реально делал? Пил? Рвал на

себе рубаху? Щупал девушек, «зажимал по углам» женщин? Но это же, простите, смешно! Конечно, Есенин любил еще и прогуливаться под ручку с Клюевым по всяким наиболее людным местам, но тем не менее до Маяковского ему все равно далеко... Маяковский, наступая «на горло собственной песне», на мой взгляд, переплюнул средневековых аскетов, ходивших в лохмотьях и умывавшихся собственной мочой, оставил их далеко позади себя. А Есенин пытался ему противопоставить какую-то жалкую распущенность.

О «Лолите» Набокова я вообще молчу! Последняя депутатская инициатива о снижении «возраста согласия» до четырнадцати лет, кажется, окончательно стерла с лица земли эту книгу, свела ее значимость к нулю. Отныне тут даже больше и говорить не о чем. Хотя, безусловно, в последней голливудской экранизации «Лолиты» присутствует какая-то патология, однако, несмотря на очевидность, ее не так просто ухватить словами, во всяком случае, чтобы ее выразить надо все-таки немного напрячься. Ну, чтобы написать критическую рецензию, например... Сколько лет, на самом деле, было исполнительнице главной роли? И почему этот факт стал достоянием гласности задолго до выхода фильма в прокат? К чему, вообще, такие сложности, такое количество всевозможных наблюдателей и представителей общественности на съемках? И вообще, что, собственно, хотели представить зрителям создатели фильма? Во что, в конце концов, вкладываются деньги налогоплательщиков?

Помню, несколько лет назад мне довелось брать интервью у одного очень известного питерского режиссера, решившего сделать сценическое переложение «Лолиты» для своего театра. Так вот, стоило мне только затронуть эту тему, спросить его о нарушении всевозможных табу в искусстве, как он в ответ разразился длинной речью о том, что его спектакль по Набокову вовсе никаким нарушением не является, так как Набоков писал свою книгу исключительно о любви, причем не просто о любви, а об очень большой любви, которая не знает границ и сметает на своем пути все преграды... Короче говоря, он развел эту бодягу о любви чуть ли не на час – мне даже показалось, что он специально решил меня таким образом достать, потому что я его чем-то раздражала. Он меня, во всяком случае, точно раздражал, а обычно такое чувство бывает взаимным. Я же, как увидела его, то сразу почувствовала что-то не то, и в результате мои самые худшие опасения подтвердились: этот режиссер, судя по его разговорам, оказался законченным маньяком. В конце своей речи, насколько я помню, он даже, кажется, смахнул слезу своим шелковым шарфиком или же какое-то подобие слез заблестело у него в глазах, после чего я предпочла удалиться, так как дальше оставаться наедине с этим типом, по-моему, было просто опасно для жизни. В довершение всего он потребовал у меня интервью на прочтение, чтобы удостовериться, не написала ли я там чего лишнего, не приписала ли ему того, чего он не говорил, и назад это интервью я уже не получила, так что оно так нигде и не было напечатано, и я только зря потратила свое время.

Вообще, как я уже сказала, мне везет на всевозможных извращенцев: вокруг вроде бы полно нормальных людей, а я, куда ни сунусь, так обязательно нарвусь на какого-нибудь маньяка. Такая уж, видимо, у меня судьба!.. И в то же время я вынуждена признать: суть этого совершенно очевидного для меня извращения слегка ускользает – его тоже, как и в случае с голливудской экранизацией, не так просто ухватить словами. Ну верит человек в любовь! И что тут такого?... А у Маяковского все выражено четко и ясно: «Двое в комнате: я и Ленин – фотографией на белой стене...» Тут уже ничего не прибавить, не убавить – все понятно!

Честно говоря, сегодня я уже с трудом понимаю свою детскую досаду на Маяковского за его обращение в своем творчестве к образу Ленина. Чем был бы теперь Маяковский без Ленина?! Автором «Письма к Татьяне Яковлевой», этой очередной вариации на тему «Я помню чудное мгновение»? Да я бы сама тогда даже в десятилетнем возрасте Маяковским вряд ли заинтересовалась... Так что без Ленина Маяковский теперь был бы уже никем – как ни крути, а приходится это признать! Хотя меня личность Ленина всегда немного озадачивала. Из всех русских революционеров мне всегда был наиболее симпатичен Сталин, ну Дзержинский – это еще куда ни шло. Или же на худой конец Троцкий, у которого, чуть ли не у единственного из всех, было хоть немного развито эстетическое чувство... Но Ленин?! Нет, все-таки у моей детской досады на Маяковского были свои глубокие причины. Личность Ленина всегда ставила меня в тупик. Но, вероятно, в этом-то как раз все и дело! В жизни, и в искусстве особенно, очень важен фактор неожиданности. Достоевский высасывал из пальца своих «Бесов», все пребывали в ожидании по крайней мере Второго Пришествия, а некоторые даже предчувствовали сошествие Вечной Женственности... А тут, откуда ни возмись, появляется маленький невзрачный человек, лишенный каких-либо видимых способностей, правда со знанием пяти языков... Короче говоря, перефразируя известную русскую поговорку, можно сказать, что «Ленин подкрался незаметно». Вот так всегда и бывает! И сегодня я это отчетливо понимаю. Все носят обычные футболки, и вдруг кто-нибудь является в футболке, вывернутой наизнанку, причем не просто вывернутой, а специально так сшитой, швами наружу. И все обламываются! А тут еще какая-нибудь пенсионерка в автобусе говорит: «Девушка, у вас футболка неправильно надета!» Кайф!

Более того, я теперь считаю, что Маяковскому с Лениным даже как-то неслыханно повезло! Потому что разве можно считать всерьез великой книгу, значимость которой способна поставить под сомнение какая-то жалкая депутатская инициатива? В конце концов, даже «Сто дней Содома» для человека, прошедшего курс уринотерапии, не такое уж впечатляющее произведение... А Ленин – это, можно сказать, вечно. Ленина можно сколько угодно ниспровергать или же, наоборот, возносить до небес – суть от этого нисколько не изменится. Этот факт уже проверен временем. В общем, Маяковскому удалось так извратиться, как, думаю, в обозримом будущем не удастся уже никому. Поэтому авторитет Маяковского в литературе непререкаем, и для меня в том числе. Но ведь это было далеко не так просто, для этого надо обладать абсолютным эстетическим чутьем, чтобы не упустить свой исторический шанс. Для этого надо таким родиться – одного укола медной булавки тут явно недостаточно. А Маяковский еще так удачно поставил «точку пули в конце»: Юкио Мисима со своим харакири отстал от него лет этак на тысячу.

Глава 24

Нечеловеческое сияние

Иногда я с некоторой грустью думаю о судьбе своей книги, которую я так мучительно и долго пишу. Где, на какой полке в магазине она будет лежать? Рядом с романами ее не положишь – какой это роман! А сейчас романы – это самый ходовой жанр, но, увы... И среди литературоведческих книг я ее себе не представляю: студентам ее вряд ли посоветуют, да и литературоведы могут запротестовать. Что еще тут такое к ним подложили, к их фундаментальным исследованиям в области гуманитарных знаний?! В общем, с этой своей книгой я рискую сесть между двух стульев. А в результате магазины ее откажут брать,

во всяком случае, большие – в маленьких все книги сваливают в одну кучу, так что туда она, возможно, и попадет... Но кто эти маленькие магазины посещает? Точнее даже, не кто, а сколько: сколько покупателей там бывает за день? Считанные единицы! Как ни зайдешь в такой магазинчик, там, как правило, ни души. Пусто! Только парочка продавщиц уныло трутся около своих прилавков, изнывая от тоски. А в Доме книги на Невском, например, всегда целые толпы покупателей. Такое впечатление, что все, кто приезжает в Петербург на Московский вокзал, сразу же кидаются в этот магазин, чтобы удовлетворить свои духовные потребности, и сметают буквально все. Однако в крупных магазинах, как я уже сказала, все разложено строго по полочкам... В общем, «Моя история русской литературы» имеет все шансы провалиться... Но не будем о грустном!

Я, по крайней мере, пишу не стихи, а прозу, и то хорошо! Хотя бы на это у меня ума хватило! Сейчас, по-моему, если человек увидит на странице слова, расположенные в столбик, то он непременно должен от такой книги отскочить в сторону, как от чумы. Что бы там ни говорили, но поэзия – это совсем мертвый жанр, и не просто мертвый, а основательно разложившийся... У литературоведов, возможно, уже и выработался определенный иммунитет на мертвечину, как у патологоанатомов, а у обычного человека на трупный запах реакция самая тривиальная и естественная – отвращение. Порой из вежливости и хочется сдержать свои чувства, но сделать это очень сложно: так и подмывает пойти блевать или же хотя бы просто выйти на свежий воздух... Это чувство, по-моему, очень хорошо схвачено во многих современных триллерах, которые мне довелось видеть. Главным образом, в сценах, когда на место преступления прибывает какой-нибудь начинающий молодой полицейский. Как правило, этот полицейский, полный жизненных сил, бодро посвистывая, входит в комнату, где уже работают криминалисты, а на смятой постели лежит расчлененный труп. Тут с ним и приключается приступ тошноты, и он поспешно убегает в ванную или же туалет. По возвращении же он обычно натывается на насмешливый взгляд какой-нибудь искусенной дамы-судмедэксперта, своей тайной пассии, и не знает, куда деться от стыда... Вообще-то, в триллерах часто показывают очень много всякой чуши – обычно этой чуши там ничуть не меньше, чем в русской классической литературе, например, а может быть, даже и больше, – но некоторые жизненные моменты там все-таки схвачены довольно верно.

Однако это вовсе не значит, что вся литература теперь окончательно умерла, нет – просто умерли ее отдельные жанры, вроде поэзии... Возьмите, к примеру, дерево: отдельные ветви на нем засыхают, а само дерево или ствол еще продолжает расти и развиваться. Нечто подобное, на мой взгляд, происходит сейчас и с литературой... Хотя, наверное, не стоит прибегать к столь сильным образам и аналогиям – можно ведь просто говорить о моральном и физическом старении. Вот театр, например, просто физически устарел – не выдержал конкуренции с кино, и все! Больше театр никого не интересует! В данном случае даже можно было бы сказать: «Театр умер!» – пожалуй, это не было бы большим преувеличением. То, что актерским труппам еще удастся арендовать огромные залы и особняки, которые давно могли бы быть отданы под банки, например, – это, по-моему, один из величайших парадоксов нашего времени. И самое смешное, что за этим парадоксом, в сущности, не скрывается ничего особенного, никаких особенно важных и существенных причин. Просто в недавнем прошлом существовало слишком много театральных вузов, и в результате произошло некоторое перепроизводство кадров. В свое время, работая во всевозможных газетах, я, например, заметила, что почти везде отдел культуры возглавлял либо театровед, либо на худой конец бывший актер, которые, естественно, старались как можно больше уделять внимания тому, чему их учили в институте, то есть

они сами и их подчиненные писали о театре больше всего, отчего у читателей складывалось впечатление, что театр – это что-то очень важное и интересное. Раз в газетах об этом так много пишут, то поневоле подумаешь, что это очень важно... И вот таким образом они и поддерживают этот уже почти угасший и едва теплящийся огонь, без какого-то особого умысла со своей стороны – просто это их специальность. Это же понятно! Однако пройдет совсем немного времени, все эти бывшие актеры и театроведы уйдут на пенсию, и все встанет на свои места. Театр окончательно исчезнет! Лично я в этом нисколько не сомневаюсь.

Этот пример с театром лишний раз показывает, что существование некоторых явлений в мире можно объяснить достаточно просто, гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд... И у того, что сегодня так много людей продолжают писать стихи, тоже, наверняка, имеется какое-то очень простое объяснение, какая-то причина, на которую я почему-то в своей жизни пока просто не натолкнулась, поэтому она от меня и ускользает... При социализме, например, члены Союза писателей, в том числе и поэты, получали отдельные квартиры и вообще наделялись огромными привилегиями. Тут все понятно! А при капитализме, наоборот, очень большая конкуренция на рынке труда и как следствие безработица. Так что власти просто не могут не поощрять увлечение широких масс рифмованием слов, составлением их во всевозможные столбики и лесенки. Очень важно, чтобы каждый человек чувствовал себя при деле, иначе он может стать социально опасен. И никаких особых затрат со стороны государства это занятие не требует: бумагу и карандаш каждый может себе приобрести сам, даже совсем нищий безработный... Конечно, в самом этом занятии тоже есть что-то не совсем нормальное, но лучше уж поддерживать ненормальность в людях на таком сравнительно безопасном уровне, чем доводить до крайностей и пускать все на самотек. Потому что если человек окончательно свихнется, то его, в конце концов, тоже, конечно, можно отправить в какую-нибудь лечебно-трудовую мастерскую, где он будет клеить конверты, например, а конверт – безусловно, вещь более полезная, чем стихотворение... Тем не менее каждого свихнувшегося для начала надо хоть немного успокоить, привести в чувство, то есть потратиться на врачей, лекарства и т.п. В общем, тут все надо еще очень тщательно посчитать, взвесить все «за» и «против», так сказать... Но, скорее всего, именно здесь и кроется главная причина того, что такое дохлое, в общем-то, занятие, как поэзия, продолжает пользоваться определенной популярностью в массах.

Правда, многие поэты теперь изловчились располагать слова своих стихов не в столбик, как раньше, а размазывать их по странице, то есть так, что их на первый, поверхностный, взгляд от прозы и не отличишь. Однако в крупных магазинах, как я уже сказала, все книги разложены по полочкам, в строгом соответствии с жанрами, а желающих копаться в общих кучах в магазинах поменьше очень-очень мало. В общем, на каждое действие в этом мире всегда найдется противодействие. Увы! И потом, я представляю, если бы вдруг какой-нибудь покупатель случайно купил себе сборник стихов, приняв его по ошибке, например, за детектив! Какое бы у него стало лицо, когда он дома открыл бы эту книгу и повнимательней вчитался: « Небо. Вечность. Я иду по дороге и вижу звезды и т.д., и т.п.» Нет, в ванную он бы, наверное, все-таки не побежал – это я уже переносу собственные чувства на других, – но все равно...

Все-таки в американских триллерах, мне кажется, гораздо лучше схвачен нерв современности, чем во всей русской литературе вместе взятой! Пусть это и презренный жанр, но зато живой! Я почему-то очень хорошо запомнила сцену из довольно старого фильма Кубрика «Сияние», в котором безработный писатель (в исполнении Джека Николсона) взялся охранять огромную гостиницу в горах в

зимний период, когда вокруг все заметает снегом и это место, где расположена гостиница, становится практически недоступным для людей. Писатель сидит и все время что-то строчит на машинке... И вот однажды жена обнаруживает, что вся рукопись, которую так долго писал ее муж, состоит из трех каких-то совершенно бессмысленных бесконечно повторяющихся фраз, что-то вроде: «Воспитывать сына. Тупо. Без игрушек.» И тут она понимает, что ее муж свихнулся, хватается своего маленького сына и бежит в ванную, а писатель, и вправду, уже гонится за ней с топором... Фильм называется «Сияние», потому что маленький сын писателя наделен такой странной способностью излучать мысли без слов. Эту способность один старый негр в фильме и называет «сиянием».

Лично я, например, очень хорошо себе представляю, что нечто подобное вполне могло приключиться и с женой Сорокина, если бы она как-нибудь не слишком удачно открыла его роман, где-нибудь поближе к концу. И почти наверняка приключилось бы, если бы Сорокина теперь так часто не показывали по телевизору. То есть жену Сорокина тоже вполне мог охватить приступ панического страха. Но все-таки если твоего мужа часто показывают по телевизору, то это как-то успокаивает. А жена героя Джека Николсона осталась один на один с маньяком вдали от людей!

Я где-то слышала, что жена Введенского выбросила часть рукописей своего мужа на помойку, не разобравшись толком, что это такое. И я очень хорошо ее понимаю, во всяком случае, нисколько не осуждаю. Ведь жена Введенского оказалась один на один со своим мужем в обстоятельствах еще покруче, чем просто занесенный на зиму снегом отель, где вокруг все было буквально пронизано каким-то нечеловеческим зловещим сиянием – такого впечатления Кубрик, видимо, достиг при помощи особых спецэффектов. В конце концов, какие бы дифирамбы не пел Некрасов русским женщинам, воспевая самоотверженность декабристок и т.п., но и их возможности не безграничны! Это тоже надо понимать!

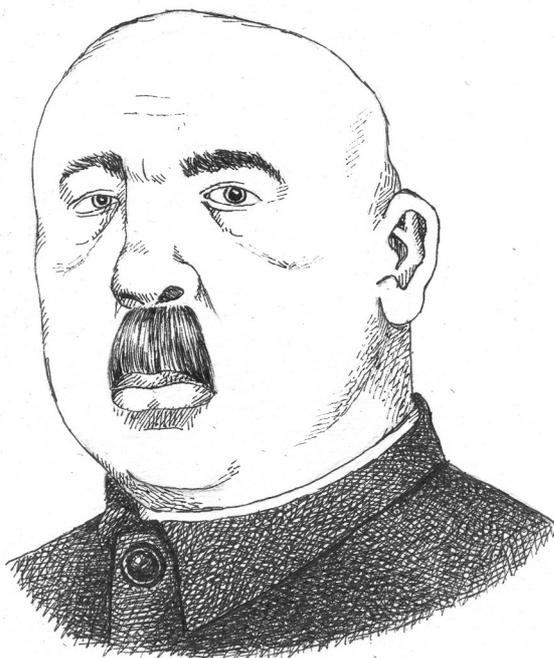
Ну а что касается поэзии и вообще всей русской литературы XIX века в целом, то в последние годы только однажды, пожалуй, меня посетили серьезные сомнения на этот счет. И произошло это сравнительно недавно, когда я переводила «Север» Селина и натолкнулась на сцену, в которой Селин описывает, как его, заманив в лес, пытается соблазнить слегка перезрелая, но, в общем-то, еще ничего, жена покалеченного на Восточном фронте нацистского офицера. В этом месте Селин, затравленный со всех сторон, передвигающийся на костылях, преследуемый постоянными головными болями (последствие старой контузии), мучительно обдумывающий пути спасения от надвигающихся с Востока русских, а с Запада – союзных войск и армии генерала де Голля, начинает размышлять... Он пускается в рассуждения о надоедливости женщин, об их редкой способности доставать окружающих своими чувствами, чувственностью, глупостью и болтливостью, причем чаще всего совсем некстати, как это, надо признать, и было в данном конкретном случае.

Забавно, но дойдя до этого места, я почему-то невольно вспомнила знаменитое стихотворение Баратынского «Не искушай меня без нужды», которое, сам того не подозревая, почти дословно, только в прозе, вдруг пересказал в этих своих рассуждениях Селин, – во всяком случае, общий смысл его мысленных рассуждений, обращенных к этой бабе, пытавшейся его соблазнить, был именно таков: «Не искушай меня без нужды... разочарованному чужды и т.д., и т.п.» И вот это неожиданное почти буквальное совпадение мыслей абсолютно не похожих друг на друга людей, принадлежащих к тому же к совершенно разным эпохам, культурам и т.п., вдруг заставило меня задуматься: а не была ли глубина

разочарования в женщинах, да и в людях вообще, этого попавшегося в юности на воровстве и вынужденного потом всю жизнь тусоваться в высшем свете в солдатской шинели русского поэта XIX века и вправду сопоставима с разочарованием и одиночеством всеми гонимого и проклинаемого Селина в конце Второй мировой войны? А может быть, Баратынский был еще и более одинок?

Но едва только эта мысль промелькнула в моем мозгу, как в моем сознании как-то невольно всплыл филармонический зал, до отказа заполненный напوماженными пенсионерами. И я тут же представила себе, как некоторые из них смахивают невольно набежавшую слезу, навеянную сладкими звуками романса Глинки на стихи Баратынского, видимо, предаваясь в это мгновение каким-то своим воспоминаниям молодости... И сразу же само сравнение двух этих, если так можно выразиться, «мастеров слова» показалось мне смешным и надуманным. Они мгновенно отделились друг от друга, снова разойдясь по свои странам и эпохам, чтобы, наверное, уже никогда больше не встретиться. Ни в чьем сознании!

А вообще-то, я думаю, когда-то все, действительно, считали, что в русской литературе – как в прозе, так и в поэзии – отразилось что-то очень важное и существенное для жизни, чуть ли не сама Истина. Однако в одно прекрасное мгновение все переменилось. И произошло это не иначе как в 1922 году, когда по указу Ленина были собраны практически все самые известные русские философы и интеллектуалы, посажены на корабль и отправлены за границу. Забавно, что когда-то и я разделяла широко распространенную точку зрения, будто это был акт жуткого вандализма. Но с некоторых пор я так больше не считаю. Потому что, если вдуматься, то именно с того мгновения людям вдруг и открылась самая последняя и настоящая истина о жизни и человеке, которая больше не замутилась ни литературой, ни философией, – открылась просто в виде какого-то нечеловеческого сияния, можно и так сказать.



Глава 25 Микромир

Иногда я ловлю себя на мысли, что русская литература двадцатых годов со временем почти бесследно стерлась из моей памяти. У Бабеля я запомнила только какие-то обрывочные фразы, да еще Беню Крика – и то, главным образом, потому, что этот персонаж чем-то отдаленно напомнил мне моего школьного приятеля Вову Гаусмана, который впоследствии угодил в тюрьму чуть ли не за убийство с отягчающими обстоятельствами. А вот Пильняка я почти уже не помню, хотя в свое время как-то даже умудрилась перевести его «Повесть непогашенной Луны» с чешского языка на русский, так как русский оригинал тогда находился в спецхране и был мне недоступен. Я нашла эту книгу в Публичной библиотеке. Чешского языка, правда, я совершенно не знала и переводила просто со словарем. Это, собственно, и был мой самый первый опыт перевода на русский. Жаль, что эта рукопись потом куда-то заделалась – забавно было бы сегодня ее сравнить с оригиналом.

Тем более сейчас я уж точно не могла бы сказать, о чем, собственно, писали Тынянов, Эренбург или же Шкловский. И даже Вагинов – один из писателей, с которым меня в различных статьях и рецензиях сравнивали едва ли не больше всего, – и тот сегодня не вызывает у меня уже почти никаких эмоций, хотя, когда я его читала, мне многое казалось забавным. Ну хоть убей, уже фактически ничего не помню! Гоголя, например, которого я читала гораздо раньше, я помню очень хорошо, а Вагинова – нет. Что же говорить о таких писателях, как Добычин, а ведь его мне тоже было когда-то довольно приятно читать... Станный какой-то мир русской литературы двадцатых годов! Настоящий мир теней! Неуловимых и бесплотных...

Впрочем, этот образ, пожалуй, слишком банален. Конечно, русские писатели в двадцатые годы оказались в абсолютно новых для себя условиях: все-таки только что закончилась Гражданская война, все переменялось... Но мне почему-то кажется, что революция в физике в начале двадцатого столетия, – а именно сенсационное обнаружение микромира – тоже каким-то таинственным и роковым образом сказалась на всем дальнейшем развитии искусства, причем это воздействие по своим последствиям для литературы, например, оказалось куда более значительным и серьезным, чем влияние многочисленных социальных катаклизмов и потрясений тех лет, и, в частности, той же Великой Октябрьской революции. Я хочу сказать, что и мир литературы, подобно внешнему физическому миру, тогда вдруг тоже неожиданно раскололся на две половины: микро- и макромир. Часть писателей вдруг как бы переместилась в тень, скрытую от обычного человеческого взгляда сферу бытия. И дело вовсе не в том, что, опасаясь ужесточения цензуры и политических преследований, некоторые литераторы предпочли удалиться подальше от официоза, в так называемый андеграунд – это было бы слишком просто! Дело в том, что часть писателей вдруг почему-то начала изъясняться на каком-то совершенно нечленораздельном языке, так дробить свои мысли, слова и образы, вкладывать в них столь «утонченный» смысл, что для обычного человеческого восприятия и памяти они стали просто неразличимы. В сущности, тут все обстоит почти точно так же, как с излучениями и флюидами, испускаемыми неведомыми ранее людям микрочастицами, которые не в состоянии уловить обычный человеческий слух, зрение и обоняние. Такая аналогия в данном случае, по-моему, вполне уместна и, можно даже сказать, напрашивается сама собой.

Подобное явление получило в те годы широкое распространение и в сравнительно свободных и либерально настроенных обществах, и этот факт

лишний раз свидетельствует, что его причины следует искать вовсе не в одиозных «репрессивных режимах», установившихся на какое-то время в России, Германии или же Италии. Более того, и сегодня я постоянно наталкиваюсь на тексты, где все мысли, образы и даже шутки так дробятся и утончаются, что порой невольно ловлю себя на мысли, что их, наверное, лучше всего смогли бы оценить комар или же муха, если бы, конечно, они могли читать. Не говоря уже о том, что подобная литература и в девяностые годы XX века, в эпоху торжества либерализма и всяческих свобод, расцвела в России просто пышным цветом... Все это также говорит в пользу высказанной мной гипотезы!

Хотя, возможно, некоторое ужесточение условий человеческого бытия все-таки оказало воздействие на возникновение описанного мной выше явления. Известно, например, что первобытным племенам, находившимся в жестких условиях борьбы за выживание, было свойственно наивное отождествление собственных чувств с явлениями окружающей их безжалостной, суровой природы, то есть они одушевляли гром, молнию, ветер и пр. В то же время они столь же наивно переносили свойства этой природы на собственную жизнь: по аналогии, так сказать. Например, когда-то давно мне попала на глаза книга – кажется, она называлась «Мифы и легенды аборигенов островов Кука», а может быть, и как-то иначе, но не в этом суть, – так вот, там, в этой книге, я нашла описание одного из племен, представители которого считали себя детьми Солнца, поклонялись восточному ветру, приносили ему в жертву животных, и даже чуть ли не собственных детей... Точно такой же наивный перенос некоторых явлений внешнего мира на собственную жизнь можно, видимо, наблюдать сегодня и у определенной части творческой интеллигенции. И в этом нет ничего удивительного!

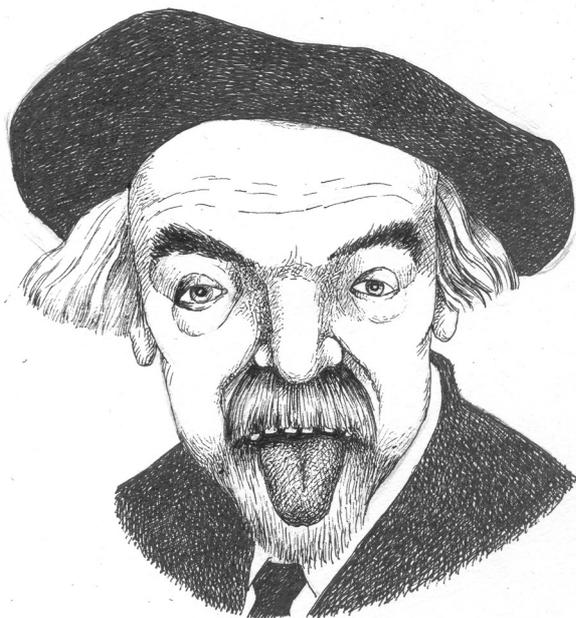
Вообще с течением времени условия человеческого существования меняются, а природа человека, скорее всего, остается все той же. Да и внешне люди, по-моему, не слишком изменились, даже по части волосяного покрова и размеров нижней челюсти – сегодня можно найти такие экземпляры, что неандертальцы и аборигены на их фоне смотрелись бы очень бледно. А чтобы окончательно отбросить все возможные сомнения на этот счет, мне кажется, можно было бы даже провести некий научный эксперимент, построенный, например, по образцу актов опознания, какие обычно проводят в отделениях милиции, когда пытаются выявить какого-нибудь скрывающегося от правосудия преступника. То есть изготовить несколько восковых копий доисторических людей, опираясь на результаты всевозможных раскопок и т.п., усадить их на скамеечку в специальной комнатке для дознания, а рядом посадить несколько наиболее ярких и характерных представителей нашего времени типа Майка Тайсона или же Марадоны, раздев их по пояс, а на восковые фигуры, наоборот, натянуть брюки... В соседнюю же комнату за стеклом, куда обычно запускают потерпевших и разных там свидетелей, пригласить несколько специалистов по этнографии, желательны кандидаты и докторов наук... Наверняка, даже они не смогли бы отличить одних от других!

Но это внешнее сходство! А о внутреннем мире и образе мышления и говорить нечего! Конечно, большинство людей сегодня очень сильно оторвались от природы и погрузились в мир цивилизации. Но в этом-то все и дело! Мир вокруг изменился, а сам человек – нет! Поэтому люди теперь и переносят свойства окружающей их технической цивилизации на себя точно так же, как в доисторические времена они переносили на себя свойства окружающей природы. Оно и понятно! Раньше человек бродил по девственным джунглям и постоянно натывался там на крокодилов, бегемотов и слонов, а теперь он натывается повсюду на автомобили, поезда и самолеты. И последние его теперь пугают

ничуть не меньше, чем самые хищные представители животного мира. Ну а ядерная физика и теория относительности – это соответственно теперь что-то вроде ноябрьского морозящего дождя, надоедливо стучащего за окном с утра до вечера.

Короче говоря, лично для меня совершенно очевидно, что переход части творческой интеллигенции в своеобразный «микромир» связан именно с таким наивным переносом процессов, происходящих в окружающем мире, на собственную жизнь и творчество. Конечно, современные писатели уже не считают себя детьми солнца или ветра и не приносят им в жертву своих родственников, однако где-то на бессознательном уровне им вполне может казаться, что их неуловимые для обычного человеческого восприятия мысли, образы, шутки, обобщения, чувства и прочее все-таки смогут распознать специально подготовленные для этого ученые-литературоведы, если и не оснащенные вдобавок еще какими-то особыми приборами, способными улавливать инфраизлучение и ультразвуки, то, во всяком случае, имеющие на этот случай тщательно разработанные научные методы и подходы. Точно так же как теперь специалисты в области ядерной физики распознают и определяют свойства разнообразных элементарных частиц при помощи тщательно разработанных теорий, приборов и расчетов. И самое главное, что многие современные литературоведы, причем едва ли не большинство, действительно специализируются сейчас на такой литературе «микромира», в то время как остальные по старинке остаются верными «последователями Ньютона» и продолжают изучать «макромир», т.е. интересуются только теми писателями, которые весомо обозначили себя во внешнем мире: получили какую-нибудь премию или же на худой конец напечатались в каком-либо солидном «толстом» журнале... Правда, меня немного удивляет, что это разделение в современном литературоведении произошло совершенно спонтанно, можно сказать, неосознанно, на бессознательном уровне, так как большинство литературоведов, точно так же, как и писатели, кажется, абсолютно не отдают себе в этом отчета. Поэтому, собственно, я и склонна усматривать в этом разделении некий наивный перенос «по аналогии», свойственный первобытным народам.

Что касается меня, то, обратившись к истории русской литературы и приблизившись к рубежу двадцатых годов прошлого века, я невольно чувствую себя теперь кем-то, вроде витязя из русской сказки, неожиданно оказавшегося на роковой развилке дорог. Честно говоря, я и в самом деле толком не знаю, куда мне теперь повернуть. С одной стороны возвышаются какие-то пугающего вида заросшие мхом пеньки типа Демьяна Бедного, Шолохова, Алексея Толстого... А с другой – мелькание неясных теней вроде Вагинова, Добычина, Введенского...



Глава 26 Необратимость

На днях, перебирая свои архивы, я случайно натолкнулась на уже слегка пожелтевшее письмо, которое связано со временем, когда я делала самые первые шаги в журналистике. Помню, тогда мне поручили составлять телеанонсы для популярной у петербургских домохозяек газеты «Пятница», выходившей в качестве приложения к газете «Час Пик». Пробежав глазами это письмо, я почувствовала сильное искушение поместить его в свою «Историю»... После некоторых колебаний я решила так и поступить. Вот это письмо с сохранением всех особенностей авторской орфографии и стиля.

«В редакцию газеты «Пятница» (Час Пик), Невский пр, 81

В настоящее время Ваша газета является одной из самых полезных, нужных и доступных (по цене) газет для Петербуржцев, тех, кому важно иметь информацию о выставках, и концертах, встречах людей искусства и здравоохранении и т.д. Газета насыщена полезной информацией и очень нужна той элите города, которая и составляет его лицо, как культурной столицы России. Именно эта элита сейчас бедна, месяцами лишена зарплат и пенсий и охотно получает информацию за 1 тыс. в неделю.

Долгое время нейтральная нужная информация о фильмах телевизионной недели также, я уверена, удовлетворяла читателей. Но вдруг, о ужас! Вы пустили на свои страницы не журналиста, а маньяка – Марусю Климову. Как вы – редакция, подписывающая газету к печати, можете ставить свою подпись под этими помоями, выплескиваемыми вопиющей серостью и грубостью: «параноик-режиссер», «потрепанные Делон и Абдулов» (Я вам всем желаю в их возрасте быть ТАКИМИ потрепанными), «откровенная неудача», «туфта» или, более того, «маразм», поскольку убогому восприятию Маруси просто недоступна поразительная красота съемок, высокий вкус операторов и тонкий английский юмор фильма «Африканец». А ее лексикон дешевой путаны: «неотягощенный комплексами», «красотка», «состряпанный заговор», «страхнутый пыльным мешком» и пр. Такие «перлы» просто недопустимы в журналистике.

Город отличается именно своим демократизмом в культуре и искусстве: здесь уживались Курехин и Петров, авангардисты и Ахматова, да можно привести сотни примеров. Какое право имеет какая-то Маруся на безапелляционные хамские суждения о чьем-либо творчестве на страницах Петербургской прессы?

Каждый имеет право на свои вкусы и мнения: кто-то смотрит детектив, а кто-то замирает от фильмов Годара, кто-то не любит экранизаций, а кто-то выключает телевизор во время сериалов. Нас миллионы, так почему же мы должны читать мнение непохмелившегося алкоголика, стоящего утром у пивного ларька – это самое место, где можно услышать такую неаргументированную, злую, неудовлетворенную брань, да еще на кухнях коммунальных квартир, населенных все теми же алкоголиками (имею большой печальный опыт «коммунальной» жизни, как многие коренные петербуржцы), а здесь – журналисты, четвертая власть!

Вспомните, как убежденный атеист Есенин ответил Демьяну Бедному: «Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос – все это миф, мы это понимаем, но ведь нельзя, как шелудивый пес, на все захлебываться лаем...» Вот этот лай и приводил к разрушению храмов и изгнанию Бродского и Галича.

Недопустимы строки, написанные рукой убогого, грубого или больного журналиста на страницах популярных петербургских газет, их могут читать не только немолодые образованные люди, а и молодежь, образования и опыта которой может не хватить на критическое восприятие этих, воистину пошлых, нездоровых, а главное, никому ненужных «резюме» о фильмах. Нам нужен год выпуска, страна, создатели, а дальше разберемся сами или переключим телевизор, но уж «черное» мнение, воспитанной социалистической «чернухой» Маруси нас не может интересовать, а вам, уважаемые издатели, подписывать такое к печати просто недопустимо. Неужели вы никогда не слушаете Вульфа или хотя бы Шолохова?

*Рункевич Н. А. педагог,
бывший сотрудник Комитета по культуре.
13.01.97*

Ну что тут скажешь?! Оставим за скобками «тонкий английский юмор» французского фильма «Африканец»... Это письмо является ярким свидетельством того, что я вовсе не случайно обратилась к «Истории литературы», а этому предшествовал довольно длительный период испытаний, во время которых я тщательно закаляла свой дух и оттачивала слог. Короче говоря, прежде чем обратиться к «сильно потрепанному» Пушкину, Толстому и Достоевскому я немного поупражнялась на более мелких сошках, типа Делона и Абдулова. Никогда нельзя браться за какое-нибудь серьезное дело, тщательно не подготовившись! А мое сотрудничество с газетой «Пятница» длилось очень недолго, так как приведенный выше отклик был, увы, далеко не единственным.

Тем не менее я и сегодня сохранила в душе свою тайную страсть к кино, которое, признаюсь, вдохновляет меня на творчество гораздо сильнее, чем литература.

Например, совсем недавно мне случилось присутствовать на просмотре фильма «Необратимость». Афиша в фойе Дома кино предвещала зрителям встречу с «самым большим скандалом последнего Каннского кинофестиваля». Лично я, как непосредственная участница одного из этих фестивалей, а именно юбилейного, пятидесятого, не слишком обольщалась на счет зрелища, которое мне предстояло увидеть. Однако соблазн посмотреть и посмаковать тщательно, со всеми подробностями отснятую сцену насилия, в конце концов, оказался сильнее меня. Создателей фильма, собственно, в этом и обвиняли: в том, что они именно смакуют в своем фильме насилие. Ну а те, естественно, всячески отнекивались и утверждали, что они это насилие обличают. Не помню уже точно, где мне попала на глаза эта полемика с фестивальной пресс-конференции, – кажется, в «Петербургском телезрителе», — не важно. Как и следовало ожидать, сцена насилия в фильме именно смакуется! Впрочем, я в этом несколько и не сомневалась, иначе бы вообще на этот фильм не пошла. Как, наверняка, и большинство зрителей переполненного до отказа зрительного зала... Однако, как выяснилось, самый главный прикол фильма заключался в том, что действие в нем разворачивается в обратном порядке. Нет, не то чтобы совсем – актеры не ходят задом наперед или же вверх ногами, – а просто кадр за кадром, сцена за сценой, все события показываются в обратной последовательности: сначала расправа над насильником, а уже потом – сама сцена насилия, ну а в финале соответственно –

картины безмятежного семейного счастья, предшествующие всем этим драматическим событиям, своеобразный happy end, короче говоря. Если же отбросить этот маленький нюанс, то фильм оказался классической чернухой. Такое впечатление, что молодому и никому не известному режиссеру удалось где-то раздобыть бабки и даже, благодаря каким-то связям, пролезть на Каннский фестиваль, потому что, ясное дело, это совсем не просто. Однако в самый последний момент, когда все уже было на мази и схвачено, он вдруг призадумался, сел, почесал свою репу (я почему-то очень хорошо себе представляю эту картину) и решил срочно свой фильм перемонтировать, пустить все события в обратном порядке, для того чтобы придать фильму своеобразный авангардный лоск и философичность. Не сомневаюсь, что все так и было! Тем более, что после идиллических картин семейного счастья и парадоксального хэппи-энда экран вдруг весь начинает как-то дергаться и трястись, а из-за кадра звучит зловещий голос диктора, произносящий просто убийственную фразу: “Время разрушает все!” На этом фильм резко обрывается... Ну, все, тут уже ничего не прибавить и не убавить!

Хотя нет, вернувшись домой, я вдруг вспомнила еще некоторые странности этого философски-авангардного произведения, которые в сумятице всех этих перевернутых и пущенных задом наперед событий поначалу как-то ускользнули от моего внимания. Например то, что насилие над бабой в извращенной форме совершает не кто иной, как гомосексуалист по прозвищу Солитер, с которым потом, то есть в самом начале фильма, и расправляются разъяренные бывший муж и любовник жертвы, ворвавшиеся в гей-клуб с символическим названием “Кишка”... В самом деле, если вдуматься, то в этом и вправду есть что-то странное! Пожалуй, это единственная деталь, над которой в данном случае стоило бы как следует поразмыслить... Одно из двух: либо режиссер фильма – законченный гомофоб, склонный во всех бедах и напастях человечества винить гомосексуалистов, даже в таких, в которых их, казалось бы, трудно заподозрить, либо, наоборот, режиссер – сам гомосексуалист, не упустивший случая публично посмаковать издевательство над бабой... Лично я больше склоняюсь к последнему... Но не будем забивать себе голову всякой чепухой! Пусть этим занимаются психоаналитики! В конце концов, заключительная фраза про всеразрушающее время снимает все мелкие неувязки и противоречия и, можно сказать, делает этот фильм универсальным и понятным абсолютно каждому!

Вот эти простота приема и глобальный размах заключительного обобщения, прежде всего, и заставили меня уделить так много внимания этому, в общем-то банальному и чернушному фильму. Мне кажется, я посмотрела его как раз вовремя, так как именно сейчас в своей фундаментальной книге о русской литературе я приблизилась к одному из самых драматичных моментов в ее истории, а именно, высылке ведущих интеллектуалов, философов и писателей из России в 1922 году, когда они, как известно, по приказу Ленина, были посажены на корабль и отправлены за кордон.

Сегодня личности самых разных политических взглядов и убеждений, в том числе, кажется, и коммунисты, склонны видеть в этом событии акт вопиющего вандализма и насилия над культурой. И с этой точкой зрения трудно не согласиться. Однако именно это редкое единодушие меня, признаюсь, больше всего и смущает. Честно говоря, я вообще не очень люблю все эти “общие места культуры” и предпочитаю держаться от них подальше. Вот и с этой злосчастной “высылкой” я долгое время не знала, как поступить. Думала даже просто перескочить через нее, сделать вид, будто ничего не было... Да и из писателей там, на этом пароходе, на самом деле, и был-то чуть ли не один Осоргин – в основном все философы... А к философии я, признаться, никогда не испытывала

особой симпатии! Это не то чтобы мертвый или же полностью разложившийся, как поэзия, жанр, но, во всяком случае, морально устаревший – уж это точно! Человек, задающийся сегодня глобальными вопросами мироустройства, по моему, в чем-то подобен кокетливой старушке, напялившей на себя мини-юбку времен своей молодости, туфли на шпильках, шляпку-голландку и заявившейся в таком виде на молодежную дискотеку. Смотреть на все это и неловко и смешно! В общем, как ни крути, но, собрав на одном корабле практически всех засветившихся к тому времени русских философов, Ленин, возможно, сам того не желая, достиг просто потрясающего эффекта! В освободившемся на какое-то время от философии Советском Союзе даже совсем простым и необразованным людям вдруг открылась едва ли не самая последняя истина о жизни и человеке! И все потому, что теперь они смогли созерцать эту истину, не замутненную ничьими туманными словами и рассуждениями. Не берусь утверждать, что это было очень приятное зрелище, но без того смелого эксперимента с кораблем такое было бы просто невозможно! Это же понятно! И особенно понятно теперь, после того как русская и прочая философии вновь вернулись к себе на родину в виде переизданных ранее запрещенных книг, а также вновь народившихся философов в лице выпускников всевозможных философских факультетов, которые снова напустили в мир столько словесного тумана, что за ним опять уже никому практически ничего невозможно разглядеть. В общем, помимо того, что это довольно комическое занятие, философия еще и далеко не безвредна. Потому что главная задача философии – это пудрить людям мозги. По моему, сегодня в этом уже мало кто сомневается! Во всяком случае, в России!

Так или иначе, но фильм о необратимом и разрушительном времени как-то невольно пробудил во мне давно тлевшее тайное желание, о котором я раньше, кажется, даже не подозревала... К стыду своему, я должна признаться, что мне вдруг тоже ужасно захотелось немного посмаковать эту сцену тотального насилия над культурой, а точнее, высылку группы отечественных философов на корабле за границу. К сожалению, в этом отношении возможности литературы, увы, крайне ограничены. Другое дело – кинематограф! Я бы с удовольствием написала сценарий к фильму (естественно, в высшей степени пафосному и гуманистическому!), посвященному этому яркому историческому событию, в котором был бы, к примеру, такой эпизод: красноармеец долго и мучительно тянет вверх по трапу корабля упирающегося Бердяева, ухватив его за вывалившийся изо рта язык... Стоит ли говорить об обличительном характере этой сцены! Даже пресс-конференцию, уверена, собирать бы не пришлось. И так все всем понятно! В конце концов, Лилиана Кавани оттянулась в своем якобы «антифашистском» «Ночном портье» от души, и загребла при этом кучу наград. А чем я хуже?!

Ну и наконец этот простой и гениальный прием с обращением вспять необратимого и разрушительного времени! Тут даже и выдумывать ничего не надо — сама жизнь подсказывает великолепный ход. Лучше придумать ничего просто невозможно! Некоторых деталей я сейчас уже не припомню, но точно знаю, что в 1992-м году какому-то представителю отечественной элиты, причем, кажется, именно из Петербурга, удалось урвать колоссальный грант, при помощи которого он и организовал грандиозный круиз на теплоходе по Средиземному морю, само собой, в память о тех трагических событиях, в год их семидесятилетия, так сказать. Мне потом одна непосредственная участница этого круиза все очень подробно описала! Ясное дело, она была в полном восторге – так эта поездка ей понравилась, что и словами не передать! На теплоходе, естественно, собрался весь цвет отечественной культуры: писатели, артисты, певцы, художники (естественно, митьки), группа «Колибри», «На-На»,

«Иванушки International», поэтесса Вольтская и многие, многие другие. А один маститый академик-античник почему-то забился к себе в каюту и не выходил оттуда на протяжении всего путешествия. И только когда теплоход приблизился к стране его мечты, Греции, о которой он всю жизнь так много писал, но ни разу до того мгновения не видел, так вот, только тогда он выскочил на палубу и едва не плюхнулся в обморок от волнения. А моя знакомая, глядя на него в этот момент, даже не смогла сдержать слез... Вот, мне кажется, на этом и должна была бы закончиться первая часть моего фильма. Ученый падает в обморок, а корабль уплывает в туман, как бы удаляясь в глубь времен. И тут время обращается вспять! Далее из тумана камера выхватывает уже совсем другой корабль, стоящий у пристани. Следует сцена с Бердяевым и красноармейцем на трапе, ну и еще кое-какие детали и подробности... И наконец, идиллические картины прошлого. Поэзоконцерт царственного Северянина, цветы, девушки... А в самом конце фильма уже Кузмин за роялем декламирует:

Уходит пароходик в Штеттин,
Остался я на берегу...

Очень удачная находка, по-моему, гораздо лучше, чем про время, которое все разрушает! Ведь корабль с философами поначалу отправился именно в Штеттин, да и Кузмин, как известно, был поэтом-символистом.



Глава 27 Новая эстетическая политика

Говоря о русской литературе двадцатых годов, конечно, нельзя обойти вниманием НЭП – это хитроумное нововведение, задуманное предусмотрительным Лениным, растоптанное и изничтоженное впоследствии коварным Сталиным. Это явление, несмотря на свое название – новая

экономическая политика, – кажется, не оказало никакого существенного влияния на экономику Советской России, зато оставило неизгладимый след в истории ее литературы и, я бы даже сказала, эстетики вообще. Признаюсь, никогда не понимала обличительного пафоса «Столбцов» Заболоцкого. Не знаю даже, чем он руководствовался, когда писал эту книгу? Ну разве что желанием тайно посмаковать всевозможные извращения и отклонения от нормы под видом их морального осуждения... Впрочем, есть ли там какие-нибудь извращения? Честно говоря, помню уже с трудом. Пафосное предостережение: «Целует девку Иванов!» - кажется, это оттуда. Что ж, будем условно считать это извращением... О «Ночном портье» Лилианы Кавани я уже писала и должна признаться, что нисколько не осуждаю эту смелую женщину. В конце концов, антифашизм – это святое! Гораздо больше меня возмутил откровенно педофильский фильм Шлендорфа «Огр», в котором режиссер для прикрытия своих очевидных даже полному профану наклонностей заставляет героя Джона Малковича в финале тащить на своих плечах еврейского мальчика через болото, якобы спасая его от нацистов и артобстрела еще и сопровождая эту сцену каким-то тошнотворным душеспитательным текстом, который произносит голос актера за кадром.

Конечно, в искусстве бывают и абсолютно случайные совпадения, когда первоначально совершенно невинные произведения, созданные их авторами, можно сказать, безо всякого тайного умысла, вдруг - в силу резкой смены культурного контекста, вызванной какими-нибудь историческими катаклизмами и потрясениями, - обретают крайне извращенный и неприличный смысл. То есть иногда в искусстве происходят такие внешние совпадения, лишенные какого-либо внутреннего смыслового созвучия, какие бывают, например, в языке, когда два совершенно одинаково произносимых слова имеют абсолютно разные значения и вообще произошли от не имеющих никакого отношения к друг другу корней. Такие слова в языке, кажется, называются омонимами. Вот и я условно бы назвала такие случайные совпадения в искусстве своеобразными эстетическими омонимами. Восприятие этих случайных неприличных созвучий окружающими во многом зависит от их сдержанности и внутренней культуры. В частности, мне редко когда случалось видеть, чтобы, например, произнесение вслух имени такого писателя, как Себастьян Жапризо, не сопровождалось бы какими-либо колкостями, сальными замечаниями и глупыми ухмылками со стороны моих знакомых. А о чем это говорит? Да прежде всего об их низкой культуре, хотя многие из них и мнят о себе бог весь что!.. То же самое, к сожалению, видимо, можно сегодня сказать и о культурном уровне всей русской нации в целом. Я, например, с трудом представляю, чтобы президент России во время своего последнего визита во Францию мог бы себе позволить отправиться на встречу к носителю столь неблагозвучной фамилии, как Жапризо, даже бы если именно он, а не Дрюон возглавлял сегодня Французскую академию. Представляю, что бы творилось в отечественных СМИ, не говоря уже о рядовых гражданах, которые бы, наверняка, все поголовно корчились от смеха, сидя у экранов своих телевизоров во время демонстрации последних известий. Другое дело обрамленный благородной сединой Дрюон!

По той же нелепой причине сегодня уже практически невозможно услышать по радио такие замечательные мелодичные песни, как «Снятся людям иногда голубые города» или же «А вокруг голубая, голубая тайга». Иногда я с некоторым ужасом представляю себе, как сегодняшняя публика восприняла бы заключительные кадры классического фильма советского кинематографа «Судьба человека», когда Бондарчук прижимает к своей волосатой груди плачущего Ванюшку. Нет уж, лучше пусть его больше совсем не показывают!.. Да что там говорить, практически все советское искусство пало жертвой этой случайной

эстетической омонимии. Бывает же такое! Парадоксально, но факт! Приходится это признать! А не будь этих многочисленных случайных совпадений, многие из произведений советской культуры до сих пор, наверняка, воспринимались бы большинством населения России как шедевры. В этом отношении, можно сказать, советским писателям, композиторам и режиссерам просто очень сильно не повезло. И им можно даже посочувствовать... В самом деле, над ними все хихикают, а лавры тем временем достаются другим, их более ушлым зарубежным коллегам!

Об этой вопиющей несправедливости к отечественному искусству я почему-то еще раз вспомнила совсем недавно, когда посмотрела увенчанный «Оскаром» фильм Альмодовара «Поговори с ней», повествовавший о несчастной любви санитаря больницы к девушке, пребывавшей в коматозном состоянии. Девушка забеременела и излечилась, а несчастный санитар угодил за решетку и покончил с собой... Не могу даже передать, какую сложную гамму чувств я пережила по ходу этого в высшей степени гуманистического фильма! И дело даже не в очевидной извращенности сюжета, преподнесенного со свойственной этому мастеру кино слащавостью... Больше всего меня возмутил факт совершенно очевидного плагиата, ибо в точности такой фильм, практически с точно такой же интригой, я уже видела лет десять тому назад. Назывался он «Грешная любовь» и был поставлен отечественным режиссером Польшинниковым. Причем отснят так – с таким гуманистическим пафосом и такими душещипательными подробностями, – что испанскому режиссеру-лауреату и не снилось! В свое время я даже писала об этом фильме, поэтому запомнила его содержание очень хорошо.

В провинциальный городок из столицы приезжает девушка Таня, дабы работать в местном заброшенном монастыре экскурсоводом. В нее влюбляются сразу два местных юноши, с совершенно одинаковыми квадратными головами, и зовут их тоже одинаково – Иванами. Правда, один юноша живет бедно, учится в медучилище и слегка заикается: его все называют просто Ваней. А другого, собирающегося переоборудовать провинциальный городок в туристический центр, называют на иностранный манер – Ив. Впрочем, насколько я помню, они оба все равно были почему-то одеты в неестественно новую и чистую одежду. Так же поблескивали свежей краской и стены якобы заброшенного старинного монастыря. Короче говоря, обоим нравилась Таня, но один ухаживал за ней, не скрывая своих циничных целей, а другой, Ваня, был настроен романтически. Однако у Вани было тяжелое детство: мать-алкоголичка, которая вступала в интимные отношения со своими случайными друзьями, не стесняясь присутствия малолетнего сына. Картины этого детства, сопровождающиеся душераздирающей музыкой, то и дело всплывают перед глазами Вани и кинозрителей, стоит только приблизиться к нему какой-нибудь женщине, в том числе и той, что ему нравится. Прекрасно помню также, как от психических травм детства пытался вылечить юношу пожилой рабочий, вместе с которым он чистил старый колодец. Рабочий проводит своеобразный сеанс психоанализа у старой стены монастыря, предлагая Ване упереться в нее лбом... Между тем, Ив времени даром не теряет и приглашает девушку покататься с ним на воздушном шаре, а во время полета начинает к ней грубо приставать. В результате девушка падает с воздушного шара и в коматозном состоянии оказывается в больнице. Ваня, который учится в медучилище и проходит в больнице практику, дежурит у ее постели день и ночь. Однажды, не сдержав нахлынувших на него чувств, он вступает со своей бесчувственной возлюбленной в интимные отношения. Девушка на мгновение пробуждается. Однако в реанимационную палату в это время заглядывает санитарка, в результате чего Ваня оказывается за решеткой. К

счастью, главный врач больницы – хороший человек и понимает, что Ваня своим «проступком» спас девушку, а потому настаивает, чтобы его выпустили. Ему отказывают наотрез, тогда главврач предлагает провести следственный эксперимент. И только так ему удастся убедить тупых несговорчивых милиционеров. Ваню привозят в больницу и там, в палате, на глазах у следователя и сотрудников милиции, он повторяет то, что сделал. И снова результат наилучший – девушка почти ожила! Все действия, как и в прошлый раз, проходят под душераздирающую музыку. Женщина-следователь не может сдерживать набежавшую слезу... Ну, все – дальше, я думаю, можно не продолжать.

О какой справедливости после этого можно говорить! Пока из отечественных режиссеров «Оскар»», насколько я знаю, были удостоены только Михалков и Меньшов, а о таком русском самородке, как Полынников, боюсь, в американской Киноакадемии даже и не подозревают! Впрочем, в данном случае и о плагиате со стороны Альмодовара всерьез говорить вряд ли стоит—скорее, тут имеет место некое совпадение, – но не случайное, а на сей раз вполне осмысленное и сознательное, я бы сказала: синонимическое духовное родство, – если уж продолжать лингвистические аналогии..

Я уже как-то писала о странной притягательности отрицательных персонажей в русской литературе XIX века. Для искусства XX века характерна, скорее, уже полная тошнотворность практически всех положительных героев! Сегодня разве что замочивший собственного папашу Павлик Морозов или же заложившая и обрекшая на смерть своего мужа Любовь Яровая не вызывают у меня полного отталкивания, да еще, может быть, комиссарша из «Оптимистической трагедии»... От остальных просто с души воротит!

Но я не случайно затронула в начале этой главы времена НЭПа. Этот короткий промежуток времени интересен для меня прежде всего тем, что тогда, наверное впервые в истории русской культуры, стилеобразующей фигурой стала женщина. Не какой-то там жлоб в бордовом пиджаке с золотой цепью на бычьей шее, а именно женщина. Точнее, такая дамочка с характерной волнистой челкой набок, отплясывающая чарльстон. Лучше всего этот образ, наверное, запечатлели Ильф и Петров в лице Элочки-людоедки. Странно, но эта девушка до сих пор кажется мне едва ли не самым притягательным образцом для подражания во всей русской литературе. Может быть потому, что практически ни одно слово из ее небогатого лексикона не выглядит сегодня устаревшим и архаичным, то есть она сумела найти какой-то вечный универсальный язык для выражения своих чувств. Мне также понятна и близка ее обостренная тяга ко всему модному и стильному, которой так не хватает большинству современных писателей. Да, пожалуй, из нее могла бы выйти настоящая писательница, законодательница мод! Ну разве что ей не хватает еще немного злости, которую Элочке, наверное, следовало бы позаимствовать еще у одной ключевой героини тех лет – Гадюки Алексея Толстого. Идеальная писательница, по-моему, должна периодически испытывать вот такие же, как эта Гадюка (уж не помню точно, как ее звали) приступы злобы, подступающие откуда-то из далекого прошлого, вплоть до готовности кого-нибудь замочить. Без этого современной писательнице просто не выжить.

Вполне допускаю, что мое желание соединить в одно образы Элочки Людоедки и Гадюки Алексея Толстого, да еще сделать их чуть ли не образцом для подражания для современной писательницы могло показаться кому-то чересчур нарочитым и надуманным. Однако я говорю все это вовсе не из желания кого-либо эпатировать – меня вообще редко посещает подобное желание. Потому что если повнимательней оглядеться по сторонам, то сама по себе окружающая реальность такова, что и напрягаться особенно не надо. Самой этой реальности

вполне достаточно, чтобы человек, если он как-нибудь случайно ненароком на нее натолкнется, навсегда остался заикой. Проблема заключается в том, что люди, как правило, наталкиваются на эту коварную реальность в самые неподходящие для себя моменты, так как большую часть своей жизни предпочитают проводить в иллюзиях. Причем эти утопические представления людей о жизни порой имеют далеко не столь очевидную форму, как, например, было в случае со строительством идеального справедливого общества, возделыванием обдуваемой всеми ветрами целины или же стремлением урвать баснословные вклады в каком-нибудь Русском Доме “Селенга”, неизменно “желающем всем счастья” с экранов ТВ.

Очевидность перечисленных выше утопий на самом деле в значительной степени ослабляет их опасные последствия. Так, человек, сидящий за рулем мчащейся на полном ходу машины, подвергает себя серьезной опасности только в те мгновения, когда по-настоящему, всерьез, погружается в глубокий сон. Если же он просто так, как бы только в шутку, прикрывает глаза, а на самом деле наблюдает за дорогой, то ничего особенно опасного, в сущности, и не происходит. Так, в общем-то, было и в нашем недавнем прошлом: люди как бы в шутку прикрывали глаза, а потом эта игра в жмурки им надоела, они просто снимали свои игрушечные повязки, и все! Поэтому и огромные разоблачительные тома русской эмигрантской философии, объемистые антиутопии – о сочинениях так называемых диссидентов я вообще молчу - сразу же, мгновенно утратили свою актуальность и стали абсолютно никому не интересны. Все ведь и так всем понятно без этих многомудрых книг!

Однако есть утопии куда менее игрушечные и потому гораздо более опасные, подпадая под влияние которых человек и вправду погружается в какой-то сон и почти полностью утрачивает ощущение реальности. Однако, если кто-нибудь вдруг решил, что я вижу свое предназначение, как писательницы, в том, чтобы просвещать своих читателей на этот счет, делиться с ними своим жизненным опытом и пр., то он глубоко заблуждается. Моя главная и единственная задача в жизни - кое-как сориентироваться во внешнем мире самой, чтобы, не дай бог, не заснуть и не вмазаться в какую-нибудь стену на полном ходу – скажем так, раз уж я взялась проводить эту аналогию между человеческой жизнью и мчащейся на всей скорости машиной... И мое равнодушие к окружающим вовсе не продиктовано какими-то особыми садистскими наклонностями моей природы – у меня просто-напросто нет времени оглядываться по сторонам и обращать внимание на других. Поэтому мне и нет до них, в сущности, никакого дела. Главное – выжить самой!

Так что не для всех, а просто себе на заметку, могу сказать, что одной из самых коварных и опасных утопий на сегодняшний день кажется мне глубоко неверные и иллюзорные представления о женщине, взращенные русской литературой XIX века. Достаточно вспомнить все эти непомерно возвышенные и идиллические образы женщин у Некрасова, Тургенева, Толстого и, особенно, Достоевского... В самом деле, может ли убийца всерьез рассчитывать на понимание и сочувствие проститутки, как это описано у Достоевского? Думаю, далеко не одного мужчину, оказавшегося в столь непростой ситуации, ждет теперь разочарование. Современная русская женщина будет в равной мере уязвлена и тем, что от нее такого понимания ждут, и тем, что от нее такого понимания не ждут... В общем, получается какой-то замкнутый круг, из которого лично мне очень хотелось бы раз и навсегда вырваться... И кажется, не мне одной!

Возьмите, к примеру, слово “гендер”, поднятое сегодня на щит феминистками всего мира! Признаюсь, первое время мне это слово не просто

резало слух, а даже внушало некоторый ужас! Гендер! И означает-то всего какой-то род или же пол, причем чаще всего именно женский, а звучит, и вправду, как-то устрашающе... Во всяком случае, депутатам Госдумы, выступающим сегодня за чистоту русского языка, такое слово явно не должно было бы понравиться. Лично я бы не удивилась, если бы они даже выступили с отдельной инициативой: изъять это слово из употребления и заменить его на какую-нибудь ласкающую слух “женственность”: слово родное и приятное во всех отношениях! Особенно, мне кажется, это касается депутатов, представляющих фракцию “Регионы России”, а значит, и волжские селенья, где, согласно известной песне застойных времен, “бесконечно и нежно любя, женщина скажет: жалею тебя...”

А “гендер”?.. Не слово, а прямо какая-то чугунная булава, которой современные женщины как будто специально решили бить по башке наиболее тупоголовых и простоватых мужчин, пребывающих в мире архаических иллюзий... И все-таки трудно сейчас сказать, приживется ли слово “гендер” в русском языке окончательно. Но еще труднее предсказать судьбу того, что скрывается за этим словом: судьбу образа современной женщины, слегка пугающего и агрессивного... Не могу сказать, чтобы меня вполне устраивал этот образ. Пожалуй, мне бы хотелось чего-нибудь менее явного, но зато более таинственного и жутковатого, такого, чего депутатское ухо сразу бы даже и не уловило. Чтобы можно было так незаметно подкрадываться сзади и... В общем, чего-нибудь такого, в духе Габриель Виткоп, например, которая совсем недавно, в декабре прошлого года, во Франкфурте в возрасте 82-х лет покончила с собой... Вообще-то, она родилась во Франции и фамилия у нее была Менардо, впоследствии же она вышла замуж за нацистского офицера-гомосексуалиста, которого укрывала у себя во время войны, после того как тот дезертировал из армии... Забавно, но позапрошлым летом в Париже я встречалась с издателем Бернаром Валле, который вытаскил из небытия эту полузабытую публикой старушку, тридцать лет назад громко заявившую о себе романом “Некрофил”. А последней ее книгой стал роман “Тишайшее убийство”. В целом меня бы, пожалуй, устроило что-нибудь в этом роде. Вот такое “тишайшее из убийств”! Даже не знаю, чего конкретно, но вообще.

К тому же, ничего не поделаешь, но в последнее время мне все меньше нравится смотреть на себя в зеркало. Конечно, иногда мне все еще отпускают комплименты и в такие минуты в глубине души мне приятно осознавать, что в жизни я все еще не так страшна, как часто думаю про себя теперь сама – во всяком случае, не вижу особого смысла настаивать на противоположном.

Однако в глобальном масштабе, в том, что касается женщин вообще, я бы, пожалуй, особенно не ободрялась! Все эти идиллические представления о красоте, мне кажется, сегодня выглядят уже абсолютным атавизмом, пережитком прошлого, о котором подавляющее большинство людей (и мужчин и женщин) рассуждают чисто по инерции. Современная женщина, на мой взгляд, должна прежде всего устрашать – и в этом заключается ее главное предназначение, по крайней мере в искусстве! Не обязательно, конечно, своей внешностью, то есть быть пугалом, но, вообще, в глобальном смысле, как я уже сказала. Не знаю даже, понятно ли я изъясняюсь, может быть, чуточку сбивчиво...

Попробую пояснить на примере. Не так давно меня пригласили принять участие в одном круглом столе, и стоило мне только там появиться, как ведущий ни с того ни с сего представил меня присутствующим как отъявленную “фашистку”. Неизвестно, чем он руководствовался, но поначалу я даже немного оторопела, так как не знала, как мне на это отреагировать: обижаться или же наоборот, сделать вид, что все так и есть, а может, обратить все в шутку. В общем, я это “проглотила”, а потом, оглядевшись по сторонам, поняла, что

ведущему, в соответствии с темой обсуждения: "Искусство и политика" – просто очень важно было, чтобы среди участников были представлены все спектры политических направлений, от крайне правых до крайне левых. Вот он и решил заполнить мной пустовавшую до моего прихода нишу, раз уж я так случайно подвернулась ему под руку, а точнее, под язык. Позднее он мне пояснил, что так меня ему часто характеризовали в личных беседах какие-то наши общие знакомые.

Однако, несмотря на перенесенные мной в тот момент несколько неприятных секунд, обратившись к самой глубине своей души, я сегодня вынуждена признать, что такое определение если и могло меня когда-нибудь по-настоящему задеть, то разве что лет пятнадцать тому назад, а сегодня оно меня совсем-совсем не трогает, потому что само это слово "фашизм" кажется мне теперь в высшей степени затрепанным и банальным, как бы позаимствованным из детских игр про войну... Короче говоря, меня больше не устраивает это определение, и вовсе не потому, что оно кого-то где-то еще якобы способно испугать, а совсем наоборот – потому, что это слово по-настоящему уже давно никого не пугает, не волнует и не задевает.

Вот так и с внешностью женщины, да и красотой, вообще! Красота сейчас годится разве что для детских игр в дочки-матери. А в реальности женщина сегодня должна именно утраивать! И это не игрушки!

И тем не менее я по-своему даже признательна ведущему того круглого стола, хотя бы за то, что он причислил меня к противоположному политическому спектру, точнее, усадил меня напротив членов НБП и всяких там левых и ультралевых (вот в них почему-то в зале недостатка не было!), потому что те несли, по-моему, и вовсе какой-то уж совсем запредельный бред, который я не берусь здесь даже пересказать. Один достаточно известный теоретик современного искусства, например, с совершенно серьезным видом подверг критике либеральную трактовку известного высказывания Ленина о том, что "коммунизм наступит тогда, когда каждая кухарка научится управлять государством". По его мнению, либералы совершенно напрасно хихикают по этому поводу, так как Ленин имел в виду совсем не то, что они думают и над чем смеются, а то, что "коммунизм должен наступить тогда, когда каждая кухарка достигнет такого совершенства, что..." Не знаю даже, стоит ли продолжать эту глубокую мысль – по-моему, и так все понятно! *Cherchez la femme!* С чего я, собственно, и начала.

Вот так и случилось, что я, несмотря на свою врожденную веселость, все чаще чувствую сегодня припадки ужасной тоски и отвращения. И вовсе не от того, что в последнее время мне уже не так приятно смотреть на себя в зеркало. Самую большую скуку у меня вызывает вот эта не прекращающаяся ни на секунду вселенская тяга к совершенству! Одна кухарка уже создала понятную каждой кухарке книгу – "Унесенные ветром"! О каком совершенстве еще можно мечтать?



Глава 28 Жизнь после смерти

Когда-то в далеком прошлом – правда, это было уже очень давно, и сегодня мне даже как-то странно об этом вспоминать, - мне было очень жалко Зайцева, Шмелева, Цветаеву, Бунина да вообще практически всех писателей-эмигрантов, я чуть не плакала над их участью! Как это ужасно - вдали от родины, вдали от любимых, от отеческих гробов, от родного пепелища! А у Шмелева и сына еще к тому же расстреляли, и он от этого удара вообще оправиться не смог. Потом, уже во Франции, он, кажется, постепенно и вовсе утратил способность писать: какие-то обрывки фраз, отдельные слова и многоточия, как будто он задыхался вдали от России, без которой просто не мог жить. И вот эти обрывочные слова, как глотки воздуха, которые он судорожно в себя втягивал, как будто в последнем усилии, в последнем порыве устремляясь к жизни...

Должна признаться, в первый раз я увидела не какого-то одного белого русского, а сразу целую толпу – когда мой знакомый повел меня в церковь Сен Серж, и я была даже немного разочарована, потому что оказалось, что они ничем особо не отличаются от французов, по крайней мере, на первый взгляд, внешне – ну разве что более белесые, бледные и засушенные, – засушенные потому, что в основном там были люди весьма преклонного возраста. Один из них дышал очень громко, с хрипами и переливами, и даже как будто подхрюкивал периодически – звуки его дыхания напоминали сильный храп, но он не спал, а просто так дышал. Другой, трясущийся старичок, удивительно похожий на жабу, вцепился в меня двумя своими иссохшими лапками и, оживленно тряс мою руку, стал приглашать в гости, при этом у него на губах запузырилась слюна, я постаралась поскорее отойти, чтобы он меня, не дай Бог, не обрызгал. Мой знакомый шепотом называл мне их имена и фамилии, а меня буквально трясло от возбуждения – боже мой, да я же про них столько слышала, читала, а теперь вижу воочию, это же просто невероятно! Я внимательно смотрела на них, стараясь запомнить, кто есть кто, но мне это так и не удалось – чем-то все они неуловимо были похожи, или же сливались для меня в одно целое.

Вероятно, поэтому всякий раз, приезжая в Париж, я до сих пор невольно чувствую себя тоже чуточку эмигранткой... Впрочем, наверное, это все равно что примерять на себя чужое платье. Все-таки, я никуда никогда всерьез не эмигрировала – скорее, просто путешествовала. А несколько моих школьных подруг так и исчезли в этом безумном городе - "безумном", потому что тут чуть ли не на каждом шагу попадаются сумасшедшие, и это сразу бросается в глаза, даже после Петербурга! Один гордо шествует по улице, обнажившись по пояс, другой, наоборот, натянул на уши дубленку, третий идет по мостовой прямо в носках... И все, как это и положено безумцам, громко разговаривают сами с собой. Нет, что бы там ни говорили, а сумасшедших в Париже гораздо, гораздо больше, чем в Петербурге! И когда я впервые приехала в Париж, то этот город, подобно горячечному бреду безумца, меня как-то целиком охватил, окутал, и я вообще перестала что-либо соображать. Я сама на какое-то время превратилась в такого же безумца, мечущегося по этим пыльным магическим улицам в поисках неизвестно чего и даже не пытающегося присесть хоть на минуту – все равно будто ветром сдует, и тут же бежишь дальше, не в силах справиться с внутренней нервной дрожью...

Хотя, в сущности, Париж не такой уж и плохой город, как об этом теперь все долдонят. Обидно, что многие сочли мой роман "Домик в Буа-Коломб" франкофобским - я не заслужила подобных обвинений! Но эмигрировать?! Мне всегда казалось, что в этом желании так вдруг взять и покинуть своих друзей и близких есть нечто от того, что должен испытывать самоубийца. Помню, в детстве, получив плохую оценку в школе, я часто понуро тащила домой, где меня ждало неизбежное наказание. В такие мгновения мне порой даже хотелось, чтобы на меня вдруг случайно наехал автобус или же троллейбус, но не настоящему, а как бы понарошку, во всяком случае, не до конца, не насмерть, и главным образом потому, что мне было очень интересно посмотреть, как там все будут после по мне горевать и плакать, и как я всем таким образом досажу, особенно родителям, за то, что они меня постоянно достают с этими отметками. Вот нечто подобное, по-моему, и должен испытывать эмигрант, которому удастся для всех, кто его знал, вдруг как бы умереть и при этом со стороны понаблюдать, как они там без него. Стоит ли говорить, что большинство эмигрантов в результате этого эксперимента над собственной жизнью постигает ужасное разочарование, ведь окружающие, как правило, и не думают ни о ком особенно горевать, даже о покойниках. Только покойники об этом уже никогда не узнают, а вот те, кто решился на подобный фокус, имеют возможность в этом убедиться на собственной шкуре, так что им, на мой взгляд, потом умирать по-настоящему вдвойне тяжелее. Вот поэтому мне всегда было ужасно жалко эмигрантов! И моих школьных подруг, растворившихся в этом безумном Париже, тоже! Большинству смерть сулит самые радужные перспективы и массу удовольствия от сознания, как все вокруг по ним будут рыдать и сокрушаться, а эмигрантам от смерти, в сущности, нечего и ждать: она у них, если так можно выразиться, уже позади, полностью отрететирована.

Помню, еще в девяносто первом году, когда я впервые приехала в Париж, я встретила там одного жирного и полностью заросшего густой курчавой бородой писателя, который принадлежал к последней, так называемой "третьей", волне эмиграции. Так вот, этот писатель буквально трясся всем своим жирным телом и едва не топал ногами от злости, стоило ему хотя бы издали заметить своих бывших соотечественников. Он даже запретил переиздавать свои книги в России и вообще упоминать собственное имя в печати. Но все напрасно! Его бывшие сограждане всем скопом нахлынули в Париж, и теперь он вынужден был постоянно наткаться на знакомых, родственников и друзей, которым он так

хотел досадить своим исчезновением, наподобие того, как я в далеком детстве тайно желала попасть под троллейбус или же автобус, чтобы досадить папаше и мамаше.

Вообще, я думаю, что не только непосредственно окружающий человека мир достаточно просто устроен – и я, кажется, уже об этом писала, – но так же и все то, что принято называть громким словом "Вечность", то есть и мир потусторонний, при желании не так уж и сложно понять. Для этого достаточно самой минимальной сообразительности и наблюдательности. Например, наблюдая за поведением этого моего парижского знакомого, довольно просто смоделировать поведение самоубийц, если бы их кто-нибудь когда-либо вдруг решил воскресить, желая, к примеру, воплотить в жизнь прозрения Николая Федоровича Федорова о научном воскрешении предков. Начав клонирование, человечество, кстати, уже вплотную приблизилось к решению этой проблемы. Причем я почти не сомневаюсь, что писатели, наряду с кинозвездами, окажутся в числе первых, кого благодарные потомки пожелают видеть рядом с собой. Другое дело – кого именно и в какой очередности! Это, видимо, будет зависеть от сложившейся к тому моменту конъюнктуры. Если бы воскрешение проводилось во времена расцвета сюрреализма, то наверняка настаивали бы на воскрешении в первую очередь личностей, вроде Сада, Лотреамона или Гойи; в наши дни, скорее всего, предпочтение было бы отдано Борхесу. Впрочем, если подобные вопросы будут решаться на референдуме, то самыми первыми могут воскреснуть Донцова, Кристи и Митчелл. При этом возможны и парадоксальные ситуации, когда жители России через сотню лет пожелают видеть во плоти Франсуазу Саган, которая и сегодня-то, при жизни, у себя на родине во Франции уже почти забыта. Очнувшись от долгого сна, она в первый момент даже не поймет, на каком языке вокруг нее говорят все эти радостные и улыбающиеся люди. А если этот референдум будет к тому же еще и тайным, то лично я бы не удивилась, если бы кандидатура Пушкина на подобных выборах вообще с треском провалилась, так как у нас его уже давно никто не любит и не читает, а во всем остальном мире практически никто и не знает... Так вот, возвращаясь к теме самоубийц: я очень хорошо себе представляю, как какой-нибудь там Добычин или же Мисима будут недовольно брыкать ногами и выворачиваться, когда благодарные потомки будут доставать их из огромной пробирки специальными гигантскими заранее продезинфицированными щипцами. А вот мой парижский знакомый, если очередь вдруг когда-нибудь дойдет и до него, наоборот, скорее всего, отнесется к такой процедуре вполне стоически, так как нечто подобное ему уже пришлось пережить еще при жизни, после крушения Советского Союза. Хотя, конечно, снова увидеть все эти рыла своих соотечественников, да и вообще людей: разных там соседей по коммунальной квартире, критиков и т.п. – перспектива для писателя не из приятных!

Однако все, что я тут говорю, включая мое глубокое сочувствие эмигрантам, ни в коей мере больше не относится к русским эмигрантам "первой волны", хотя бы потому, что, если хорошенько вдуматься, большинство из них покинули свою родину не по своей воле, то есть и этот опыт "смерти при жизни", и мои детские переживания им, в сущности, глубоко чужды. Поэтому в данном случае, по моему, и вовсе не о чем особенно говорить – все предельно просто и банально! Художники, оказавшиеся по разные стороны баррикад, возможно, сами о том не подозревая, заложили бомбу с двойным детонатором под будущее России! Нет, под мое будущее – пожалуй, так будет точнее! Одни создавали монументальные произведения, вроде "Кубанских казаков", в которых столы ломались от виртуальных яств, а другие – вроде Бунина, Зайцева и особенно Шмелева, – с тайным наслаждением и сладострастием, видимо, желая таким образом досадить

своим оппонентам (и у них были для этого серьезные причины), подробно живописали всевозможные разносолы, маринованные грибочки и блинчики с черной икрой, которые они, якобы, только и делали, что пожирали в огромном количестве в своем счастливом прошлом. А в результате, лично я сегодня уже абсолютно не понимаю, с чего это вдруг я взяла и сожгла свой диплом, что это мне взбренило в голову, причем как раз тогда, когда мой отец уже работал в Посольстве в Никарагуа, при котором, кстати, в качестве корреспондента какой-то газетенки ошивался Ампилов. И Проханов, между прочим, уже тогда спокойно печатался себе в "Литгазете"! Не сомневаюсь, что, если бы не эти вот подробные описания разных там блинчиков и особенно пирожных, моя судьба могла бы сложиться совсем, совсем иначе!

Об исторической роли русской философии я уже написала!

Кстати, совсем недавно я узнала, что все посаженные Лениным на корабль философы оплачивали дорогу за свой счет. Если это действительно так, то Ленин был и вправду гением. Напрасно я его всегда недооценивала! Но подлинная гениальность никогда сразу и не бросается в глаза - это такой совсем маленький, крошечный нюанс, отделяющий великое от смешного. Вот простоватые последователи Ленина, которые сажали диссидентов на самолет и доставляли их в Париж за счет государства, только этим крошечным нюансом и отличаются от своего великого предшественника. Поэтому они, в конце концов, все и развалили!

Глава 29 Унесенные волнами

Но порой я и у себя дома, в Петербурге, чувствую себя не то что там иностранкой или же эмигранткой, а вообще инопланетянкой. Вот буквально несколько дней тому назад включила радио и услышала, что некий писатель по фамилии не то Круглов, не то Шаров не смог опубликовать в журнале "Новый мир" свою повесть из-за расхождений с редакцией в трактовке учения уже упоминавшегося мной Николая Федоровича Федорова. Писатель подверг критике мысли Федорова, тогда как члены редколлегии журнала собирались сделать их чуть ли не стержнем в концепции новой национальной идеи России. Причем происходило это аж в самом начале девяностых, когда я, вынуждена признаться, и вовсе еще жила совсем бездумной и растительной жизнью. И вот, в это мгновение, прослушав эту драматическую историю, я почувствовала себя натурально свалившейся с Луны: настолько невежественной, грубой и тупой я себе показалась в сравнении с просвещенными сотрудниками "Нового мира" и писателем Кругловым-Шаровым!

В довершение всего, ночью мне еще приснился совершенно сумасшедший сон: яркий, цветной, со звуками и даже с запахами. Помню, я ощущала во сне резкий пряный и сладостный запах опопонакса, которого на самом деле я не только не нюхала, а даже никогда и не видела, и голос, как бы за кадром, произнес: «Пиво Опонакс – лучше не бывает!» Я увидела двух девушек, переходящих через Фонтанку по Аничкову мосту, и одна громко говорила другой: «И вот они поставили здесь памятник чижику-пыжику. На него все кидают денежки, и если денежка ему на головку упадет и задержится на подставочке, на которой он стоит, то все у тебя будет хорошо - благополучие, деньги, достаток, все будет.» И вдруг я как будто очутилась в теплом, уютном, защищенном от внешних воздействий месте – у меня и раньше иногда возникало такое ощущение, но на этот раз все было гораздо приятнее. Мало того, я как будто увидела внутренним взглядом вереницу ежиков в красных с золотом попонках,

которые напоминали мне мраморных слоников, вроде тех, что я когда-то видела на салфетке на буфете в доме моей тетки.

Однако, нет худа без добра! После этой радиопередачи я все же заглянула в энциклопедию и теперь имею хотя бы самое общее представление об идеях Федорова. Впрочем, нет, не совсем так. Лет пятнадцать назад я уже, по-моему, слышала это имя, но потом начисто забыла. Стоит ли удивляться после этого, что у России до сих пор нет внятной национальной идеи! Ведь большинство ее населения, наверняка, составляют такие же легкомысленные профаны, как и я. В кругу моих знакомых, например, нет ни одного человека, который бы относился всерьез к идее о научном воскрешении предков. А жаль! Лично я считаю, что это вполне реально, к сожалению... Потому что Циолковский, который тоже, вроде бы, был поклонником Федорова, наверняка задумал свои космические аппараты для того, чтобы потом отправлять на Луну таких, как я. Не исключено ведь, что впоследствии именно Луна станет местом ссылки неугодных писателей, каким раньше было Михайловское для Пушкина или же Париж для многих русских писателей и философов. Сам Циолковский, по-моему, от рождения был полностью глухим и еще с какими-то дефектами, так что он, вообще, скорее всего, женщин должен был ненавидеть и, наверняка, не прочь был бы их всех отправить на Луну. То есть, задумав свое безумное изобретение, он ведь мог только прикрываться Федоровым и его гуманными намерениями воскресить всех умерших и планомерно расселить их во Вселенной, а на самом деле, в глубине души, руководствовался совсем другими мотивами. Так ведь очень часто бывает! Владик Монро на одной из своих фотографий весьма удачно, по-моему, перевоплотился в Циолковского. Создал очень точный образ! На постели, облокотившись на подушки, лежит дряхлый старик с бородкой и в очечках. Его горящий взор устремлен куда-то в туманную даль, а рядом, у его ног, сидит юная девушка и с восторгом смотрит на своего кумира. Глядя на эту картину, как-то невольно и сразу постигаешь скрытый смысл открытий Циолковского, даже не надо учиться в техническом ВУЗе!

Однако все эти мысли и мечты об общенациональной идее происходят, по-моему, главным образом от того, что в России так и не появилось какого-нибудь объединяющего всю нацию произведения, каким стали для Америки, например, "Унесенные ветром". В "Войне и мире", как я уже сказала, слишком много нарочитой философии, которая все портит. Пожалуй, такой книгой могло бы стать "Хождение по мукам" Алексея Толстого. Тоже ведь гражданская война и тоже "унесенные ветром" человечки, порхающие по миру в поисках своего маленького человеческого счастья.

«Хождение по мукам» был любимым романом моей мамы, она мне и рекомендовала его прочесть. Что я и сделала, а мне было тогда, кажется, лет двенадцать. Я была совершенно потрясена красотой описаний жизни до революции, которую Толстой живописал с особым вкусом, но этих описаний, к сожалению, было мало. Больше всего мне тогда понравился образ актера Мамонта Дальского, безвременно закончившего свои дни под колесами трамвая — я долго по нему горевала и все перечитывала те страницы, где он еще жив, и специально останавливалась незадолго до того места, когда он погибает. Таким образом, у меня создавалось впечатление, что он просто забыт автором и где-то там, за кадром, продолжает жить, играть, ходить, говорить. Правда когда я чуть позже посмотрела фильм по этому роману, Мамонта Дальского в моем сознании совершенно затмил колоритный анархист с одесским акцентом Лева Задов, все время повторявший: «Я Лева Задов, со мной шутить не надо!», — ударяя при этом по столу огромным пистолетом.

Мысленно перечитывая заново сегодня эту книгу, я нахожу ее даже в чем-то оригинальной и парадоксальной или же, по крайней мере, остроумной. Все почти как у Селина: у тебя забирают твой дом, имущество пускают с молотка, грабят, короче говоря, а на твоих стульях и за твоим столом уже сидят какие-нибудь обыватели, мсье со своей мадам, и обсуждают, куда они летом поедут в отпуск, а их маленькая дочурка беззаботно бренчит на расстроенном рояле. Только, в отличие от Селина, Алексея Толстого почему-то больше всего волновали именно судьбы последних. Такая книга безусловно могла бы объединить нацию!

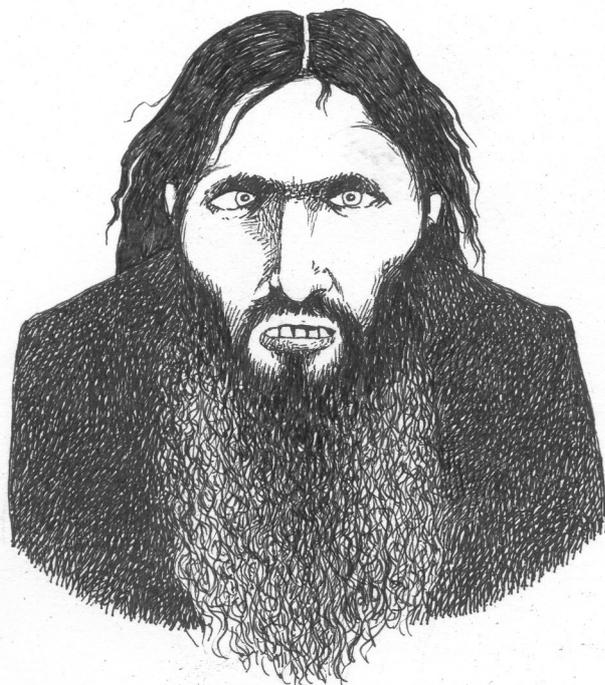
Единственный недостаток "Хождения по мукам" – то, что этот роман написала не женщина. Если бы автором была женщина, да еще впоследствии попавшая под трамвай или автобус, вот тогда русским не пришлось бы особо ломать голову над тем, что их всех теперь объединяет. То есть «Хождению по мукам», несмотря на название, не хватает все-таки некоторого драматизма и ощущения, что эта книга, на самом деле, написана очень слабым и беззащитным существом. Сам автор тоже, кажется, это бессознательно понимал, поэтому и сделал главными персонажами романа женщин: двух сестер, Катю и Дашу. Однако этого оказалось недостаточно. Конечно, в лице Алексея Толстого было что-то бабье и волосы у него, судя по портретам, в молодости были длинные и кудрявые и спадали почти до плеч, но все-таки он – не женщина, во всяком случае, я никогда не слышала никаких литературоведческих дискуссий на этот счет. Поэтому как историк литературы могу с уверенностью констатировать: Алексей Толстой не был женщиной! А в результате, одна часть русской нации объединилась вокруг «Мастера и Маргариты» Булгакова, а другая – вокруг «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. И это печально! Поневоле задумаешься над единой общенациональной идеей, причем такой, которая могла бы объединить членов редколлегии «Нового мира», писателя Круглова и таких, как я. Прямо скажем, задача не из легких!

Однако, с другой стороны, раз такая книга до сих пор не написана, то, например, у меня есть все шансы ее написать. Название напрашивается само собой: «Унесенные волнами». Как ни крути, а волн эмиграции было три. Именно волн! Не знаю даже, кто их сосчитал, но так уж повелось говорить: «первая волна эмиграции», «вторая волна» и наконец, «третья»... Очень удачная метафора, между прочим, с волнами – гораздо удачнее, чем у Леонтьева с подгнивающим телом, на мой взгляд. Интересно, кому первому пришел в голову такой образ, ведь в русской литературе и моряков-то толком не было – одни врачи и сумасшедшие инженеры-железнодорожники! Может быть, какой-нибудь философ, глядя за борт корабля, уплывающего в Штеттен в двадцать втором, до такого додумался? А может, участника юбилейного средиземноморского круиза вдруг озарило?.. Теперь уже трудно сказать. Такое впечатление, что эта метафора существовала всегда!

А ведь все так и есть, точнее не скажешь! Не то, чтобы обычный человек, но даже писатель, будь он хоть семи пядей во лбу – не более, чем щепка на волнах жизни. И с дистанции времени это видно очень хорошо, можно даже не открывать ничьих книг и ничего не читать. И судя по всему, никто давно уже ничего и не читает, а все только цепляются друг за друга, особенно за тех, кому удалось хоть немного поймать волну. Если тебе повезет и ты застанешь волну на подъеме, хотя бы даже на самом излете, хоть чуть-чуть, самую малость – значит у тебя есть шанс, и тебя заметят. Если нет – затеряешься где-нибудь в блокадном ленинградском дурдоме, как Хармс, или же будешь переписывать ноты в оккупированном Париже, как Божнев... Писатели – это щепки на волнах жизни, я бы так сказала... И теперь, облетая на самолете «место крушения» русской

литературы, с высоты птичьего полета, если так можно выразиться, это прекрасно видно.

А вот Алексей Толстой и сегодня вовсе не кажется такой щепкой. Он умел ловко поймать волну и писал о хозяевах жизни. Жаль, что его книги сейчас уже почти никто не читает!



Глава 30 Наше все-2

Рано или поздно, покончив с историей русской литературы, я, скорее всего, займусь... Да чем угодно! Хоть бы даже историей математики! Я где-то читала, что самое главное в любой сфере деятельности способен узреть именно глаз дилетанта, потому что только у дилетанта совсем неангажированный взгляд, не замутненный всякими там внутренними дрызгами и второстепенными мелочами. Ну, как взгляд ребенка! Кажется, я читала это в какой-то статье по поводу Шпенглера и его книги «Закат Европы». Шпенглер в этой статье назывался дилетантом... Хотя все это уже и так доказано жизнью, безо всякого Шпенглера! Не случайно ведь любые самые жуткие каракули приводят в бурный восторг сюсюкающих над своими любимыми чадами мамаш и папаш. Какая бы запредельная абракадабра ни была на самом деле нарисована, они все равно обычно почему-то вне себя от радости и гордости за своих отпрысков, гладят их по головке и покупают им разные конфетки и шоколадки! А почему? Да потому что у ребенка очень свежий и непосредственный взгляд на мир! Об этом же написано во всех учебниках психологии, да и вообще известно практически каждому, даже самым диким и необразованным неграм в Африке, почти не соприкасающимся с европейской цивилизацией.

И лучше всего в это почему-то врубались художники! Музеи и галереи всего мира буквально ломаются от множества чудовищных абракадабр, имитирующих детскую беспомощную мазню, символизирующую якобы непосредственно чистый и наивный взгляд на мир вполне взрослых и потрепанных жизнью дядь и тетей. Но самое главное, что подавляющее большинство этих дядь и тетей

умудряются за свою «непритязательную» мазню получать бабки, причем немалые! Главным образом, думаю, в данном случае раскошеливаются состоятельные старые девы, не сумевшие иначе реализовать свои материнские чувства. Уверена, что поощряя таких художников, покупая их живопись, они как бы мысленно гладят по головке неких не существующих в реальном пространстве детишек, по которым они, видимо, очень истосковались. То есть, у них во время посещения всевозможных вернисажей вдруг при созерцании какой-то особенно беспомощной и дебильной картины неожиданно начинаются «глюки», подобно тому, как путникам, слишком долго блуждающим в пустыне, в конце концов начинают мерещиться всякие там цветущие оазисы с фонтанами бьющей из-под земли ключевой воды. Кроме того, художникам еще постоянно отламываются гранты от разных фондов, и опять-таки, потому, что такие фонды, как правило, возглавляют уже означенные выше дамы.

Странно, но помимо художников во все эти особенности и свойства человеческой психики врубилась только еще, разве что, поэты, которые со времен Хармса и дадаистов тоже постоянно всячески коверкают и переворачивают слова, как бы стараясь сымитировать детскую бессвязную речь и, я бы даже сказала, лепет. Однако поэтам, как они ни стараются, в отличие от художников, практически ничего не отламывается. И это не удивительно, потому что, если хорошенько подумать своей головой и внимательно осмотреться по сторонам, то можно заметить, что дети, в подавляющем большинстве своем, очень любят рисовать, но очень мало кто из них занимается стихосложением. Не исключено, что тяга к рифмованию слов вообще возникает у детей только вследствие каких-нибудь черепно-мозговых травм, полученных в самом раннем младенческом возрасте, то есть в результате выпадения из кровати и т.п. Хотя это пока и не доказано, но факт остается фактом: большинство нормальных, здоровых детей и не думают сочинять стихи, а только рисуют. Странно, что современные поэты не обратили внимание на столь очевидную вещь и тупо подражают художникам в тщетной надежде что-нибудь тоже от кого-нибудь урвать, от какого-нибудь фонда или же мецената. Хотя, если высказанное мной предположение о пробуждении поэтических способностей верно, то к поэтам не следует быть чересчур строгими. Что можно требовать от людей, ударившихся в детстве головой об пол и, возможно, даже не один раз.

Самое удивительное, что наиболее успешным и продвинутым во всех отношениях художникам почему-то совершенно не подражают современные философы. И это действительно странно, потому что большинство детей просто обожают задаваться всякими глобальными вопросами бытия. Без преувеличения можно сказать, что дети любят философствовать ничуть не меньше, чем рисовать, а может быть, даже и больше, за исключением разве тех, кто слишком сильно стукнулся головой и полностью заиклился на рифмоплетстве, но и то неизвестно, так как этот вопрос требует отдельного и более пристального изучения. А я пока говорю очень приблизительно, стараясь очертить проблему в самых общих чертах. Так вот, о чем это говорит? Да о том, что философы принадлежат к самой заторможенной и несообразительной части народонаселения земли! Поэтов я в расчет не беру, так как с них, по понятным причинам, нельзя спрашивать сполна, как со взрослых и полноценных людей. А вот с философов можно, потому что их тупость необъяснима и находится за пределами обычного человеческого понимания. Примерно то же самое можно, видимо, было бы сказать и о литературоведах, однако их, скорее, можно отнести к той же категории людей, что и поэтов, и даже еще более травмированной, поскольку лично я вообще никогда не встречала детей, испытывающих тягу к занятиям литературоведением. Так что философы по своей тупости, видимо, не

имеют себе равных среди людей так называемых творческих профессий. Как говорится, что и требовалось доказать!

Именно поэтому, думаю, наиболее глубокое суждение о бытии, времени и т.п. в двадцатом веке принадлежит вовсе не философам, а не кому иному, как Сталину, которому, судя по всему, удалось сохранить по-детски наивный и незамутненный взгляд дилетанта на окружающий мир. «Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы!» Это высказывание как бы подытожило и вобрало в себя всю мудрость не только двадцатого, но и множества прошедших и, наверняка, будущих веков. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что и по истечении тысячелетий, когда от современной цивилизации не останется уже практически ничего, даже основание Эйфелевой башни сотрется с лица земли и превратится в пыль, а не то чтобы там диссертация какого-нибудь Мамардашвили, люди далекого-далекого будущего будут судить о нынешней эпохе именно по этим словам. Точно так же, как современный человек всякий раз, обращая свой мысленный взор к Древней Греции, невольно повторяет про себя фразу Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю!»

Пример Сталина, признаюсь, больше всего и вдохновляет меня заняться в будущем историей какой-нибудь из точных наук, так как некоторая посвященность в литературу, вовлеченность во всю эту тусовочную возню, да и вообще определенная начитанность, знание языков и прочее, наверняка, очень часто мешают мне схватить самое главное в ее истории. А вот, к примеру, глядя со стороны на Циолковского, я могу совершенно определенно и твердо сказать, без каких-либо особых колебаний, что это был точно такой же дегенерат, какими были уже описанные мной Хлебников и Платонов, похожий на них просто как брат-близнец. Главное, не забивать себе голову всякой чепухой о том, что он изобрел какую-то там ракету и т.п., и вообще, отбросить этот дебилский и вредный совет, что о людях надо, якобы, судить по их плодам. Чушь! Наоборот, надо постараться просто об этом не думать, и тогда истина сама тебе открывается, как нечто совершенно самоочевидное. И в случае с Циолковским окончательное умозаключение, должна признаться, мне сделать гораздо проще, чем это было в случае с Платоновым или же Хлебниковым, так как я абсолютно ничего не понимаю в технике и мне совершенно ничего не мешает видеть последнюю и окончательную истину об этом выдающемся деятеле науки.

Не говоря уже о том, что точные науки не так уж и сильно изолированы от искусства. И я уже писала о том, как открытие микромира в современной физике невольно повлияло на появление почти точно такого же микромира в русской литературе двадцатых годов. И думаю, что любой человек, долго занимавшийся, например, изучением творчества Вагинова или же Добычина, уже довольно неплохо подготовлен к тому, чтобы постичь смысл какого-нибудь там дифференциального исчисления, даже если он раньше об этом абсолютно ничего не слышал и вообще получал в школе по математике одни «двойки» и «тройки» и, более того, именно поэтому пошел учиться на филфак, подался в гуманитарии.

Обратное, думаю, тоже верно. Помню, со мной в школе училась одна девочка, которая достаточно хорошо успевала по всем предметам – не то чтобы была круглой отличницей, но в основном у нее были «четверки» и «пятерки», в том числе и по математике. Однако в старшем классе с ней случилось что-то невероятное и все из-за того, что в это время, вместо обычной геометрии, мы стали изучать стереометрию. И вот, эта девочка, которая всегда без труда решала все обычные геометрические задачи, совершенно не могла понять, что такое пирамида, куб, цилиндр и прочие пространственные фигуры, то есть у нее оказалось полностью не развито пространственное мышление и не просто не развито, а скорее, даже было что-то вроде болезни, то есть она не ощущала

трехмерности пространства, как, к примеру, дальтоники не различают цветов. Учитель математики ужасно с ней мучился, а потом просто махнул на нее рукой. Ничего не поделаешь, болезнь есть болезнь, и приходится с ней считаться... Примерно такой же болезнью, на мой взгляд, страдает подавляющее большинство литературоведов, с которых, впрочем, как я уже сказала, трудно что-либо всерьез спрашивать. Они очень напоминают мне мух, ползающих по плоскому тетрадному листу, намазанному медом, настолько эти люди не способны оторваться от литературы и хотя бы на секунду взглянуть вверх или же чуточку в сторону. Мне кажется, дополнительные занятия стереометрией им бы не помешали – для развития воображения, так сказать. Потому что, в результате, все эти наивные антиномии, которые они тщательно вычерчивают на своем жалком листочке, чтобы школьникам и обычным обывателям было потом проще запоминать имена писателей и поэтов, используя их в качестве своеобразных мнемонических правил, на самом деле, не имеют никакого отношения к реальности. Даже ребенку ясно, что Пушкину противостоит никакой не Лермонтов или там Тютчев, а вообще не находящийся в плоскости литературы Дантес. Об этом же, вроде, все постоянно трюндят, а литературоведы и историки литературы как будто бы этого не слышат и не видят.

Есть и менее очевидные, но от того не менее вопиющие издевательства над здравым смыслом и реальностью. Я уже говорила о том, как жалко смотрится Есенин в сравнении с Маяковским. Что способен противопоставить Есенин непреклонной воле и аскетизму Маяковского, кроме жалкой распушенности? Такое противостояние, ко всему прочему, еще и противоречит элементарным законам физики, согласно которым каждое действие обязательно вызывает равное ему противодействие. Хотя это пока никем не доказано, но этот закон на все сто процентов применим и к духовному пространству. Стоит ли удивляться, что столь неверно расчерченное и спланированное и, я бы даже сказала, просчитанное пространство русской литературы, в конце концов, рухнуло и рассыпалось на мелкие, уже ничем не связанные между собой, никакими напряженными драматическими противостояниями и антиномиями, кусочки.

Одним словом, Маяковскому самым естественным и логичным образом способен противостоять и противостоит только Распутин, который, опять-таки, не имеет ровным счетом никакого отношения к литературе, поэтому, видимо, ни один из литературоведов и историков литературы его до сих пор и не заметил. А между тем, его своенравие, непредсказуемость и, в каком-то смысле, безграничная распушенность только и способны уравновесить столь же безграничные волю и аскетизм Маяковского. И кстати, именно Распутин, но уж никак не Пушкин, вне всякого сомнения, воплощает едва ли не все самые характерные черты русской нации в глазах остального мира. То есть Распутин на данный момент и является подлинным «нашим всем». Определенную конкуренцию в этом отношении ему способен составить разве что Достоевский, но об этом я уже тоже писала.

Глава 31 **Магическая книга**

Шолохов – едва ли не самый загадочный писатель во всей русской литературе! Писатель-вундеркинд, в двадцать с небольшим лет ставший автором пугающих размеров книги “Тихий Дон” и потом фактически всю оставшуюся жизнь почивавший на лаврах и уже ничего толком не написавший, не считая романа-агитки о коллективизации под названием “Поднятая целина” да еще

эпического рассказа “Судьба человека”... Ну, да! Вроде бы, еще была книга “Они сражались за Родину”, которую я помню по одноименному фильму с Шукшиным. Все советские солдаты в этом фильме, сражавшиеся за Родину во время Отечественной войны, были в каком-то неестественно чистом и отутюженном обмундировании, что очень возмущало мою бабушку, которая утверждала, что у русских солдат во время войны не было даже сапог – большинство были обуты в так называемые “обмотки”, то есть в тряпки, обмотанные вокруг ступней ног.

И тем не менее, в каком-то смысле, Шолохова все же, думаю, можно назвать автором одной книги, наподобие Сервантеса или же Грибоедова и Венечки Ерофеева. Уж больно навязчиво и упорно, я помню, учительница в школе противопоставляла “Тихий Дон” всем другим его произведениям. И не только она! Мои родители придерживались точно такой же точки зрения, мало того, моя тетя, ее жирный муж, судовой радист дядя Юра, и даже бабушка и дедушка в Шепетовке – все сходились на мнении, что “Тихий Дон” – лучшая книга Шолохова, после которой он уже так ничего и не смог написать, создать что-либо ей равное. И должна признаться, задолго до того, как я впервые открыла эту книгу, я и сама уже была полностью убеждена в том, что эта книга полна описаниями каких-то нечеловеческих могучих страстей и неслыханного размаха драматических событий! Мой интерес к ней еще больше подогревался тем, что почему-то именно эту, самую важную и прекрасную книгу Шолохова, о которой так много говорила учительница, мои родители, дядя, тетя и бабушка с дедушкой, ко всему прочему, еще и не включили в школьную программу. Вместо нее все должны были изучать какую-то “Поднятую целину”, прохладного отношения к которой не могла скрыть даже наша литераторша. Вот “Тихий Дон” – это да! Совсем другое дело – не какой-то там грязный дед Щукарь в драном тулупе и с лягушками!

Короче говоря, за этой книгой мне пришлось идти в школьную библиотеку. И тут меня ждало еще одно волнующее открытие, или даже потрясение. Потому что меня буквально сразил внешний вид этой книги, точнее, ее размер – это был огромный том величиной с Библию или же “Капитал” Маркса! И такую громадную книгу смог написать молодой человек, которому едва перевалило за двадцать! Такое с трудом укладывалось в моей голове и, как я заметила, в головах моих родственников и знакомых тоже. Пожалуй, именно это обстоятельство волновало их больше всего. Естественно, что человек, в молодости написавший такую огромную книжищу, имел полное право потом всю жизнь провести не работая, хотя в те годы тунеядство и не поощрялось. Но Шолохов оказался в положении своеобразного рантье среди остальных советских писателей: жил на проценты с заработанного в юности капитала. И это тоже, как я могла заметить, вызывало тайную зависть и восхищение со стороны окружавших меня родственников и знакомых. Я и сейчас думаю, что Шолохову, в каком-то смысле, удалось то, чего так и не смог добиться, например, Рембо, тоже порвавший в юности с литературой и вынужденный затем перебиваться всякими случайными работками, включая работорговлю.

Как бы то ни было, эта огромных размеров книга, да еще написанная совсем молодым человеком, действительно, судя по всему, оказывала какое-то необъяснимое магическое воздействие не только на рядовых граждан, вроде моих родителей, тети, бабушки и дедушки, но и на самых влиятельных и могущественных представителей советской власти.

В этом мире ведь все относительно! Француз Жорж Батай, например, сочинивший свою банальную, в общем-то, по западным меркам “Историю глаза” в 29-м году, до самой смерти так и не решился опубликовать ее под своим настоящим именем. А Шолохову было позволено нарушать в своей книге

множество неявных существовавших в ту пору в советском искусстве табу, например, на описание эротических сцен. Тогда как по неписаному канону социалистического реализма обнаженная натура практически не допускалась даже в живопись, а ведь Шолохов был, что называется, официальным писателем, и едва ли не самым главным. Еще бы! Ведь его книга не уступала по своим размерам не только “Войне и миру”, но и самому “Капиталу”! Кстати, вероятно, разгадка этой волшебной свободы самовыражения кроется, прежде всего, именно в грандиозных размерах “Тихого Дона”, хотя доказать это сегодня, естественно, уже невозможно. Об этом теперь можно только догадываться...

И самое главное, что Шолохову, на мой взгляд, лучше всего и удавались именно описания всевозможных пыток, убийств и эротических сцен. С этой точки зрения Шолохов, вообще, едва ли не самый извращенный писатель во всей русской литературе. Не сомневаюсь, что его книги способны были бы поставить богатейший материал какому-нибудь досужему психоаналитику – во всяком случае, не в меньшей, а может быть, и в большей степени, чем книги самого Жана Жене. Если бы отечественные профессора вроде Бахтина не были начисто лишены воображения и не заикливались на банальном Достоевском, то именно в России, а не во Франции должно было бы впервые появиться какое-нибудь объемистое исследование типа: «Уважаемый Михаил Александрович Шолохов: казак и коммунист».

Да и сама биография Шолохова к этому весьма располагает – он же был незаконнорожденным. Его мать в молодости стала жертвой домогательств богатого барина, а когда она забеременела, барин выдал ее замуж за какого-то там престарелого казака, родившаяся вскоре дочка почти сразу же умерла, а казак тоже не особо хорошо с ней обращался, и в результате она от него ушла и сошлась, кажется, с каким-то купцом, что ли, устроилась к нему экономкой... Вот от этого внебрачного союза и родился потом великий советский писатель Шолохов. Будущий нобелевский лауреат, между прочим!

Шолохов смолоду жил в ужасной нищете, очень неустроенно, зато потом, когда вырос и стал знаменитым, устроил у себя в станице на Дону некое подобие крепостной деревни, где вел себя как настоящий барин или же там атаман, а остальные обитатели этой деревни находились от него чуть ли не в рабской зависимости. И опять-таки – недопустимая свобода поведения для советского официального писателя тех лет, когда все его современники, даже самые маститые, пребывали в постоянном страхе перед возможными репрессиями и старались вести себя крайне осторожно.

А чего стоят многочисленные описания «красавцев-казачков»: в каждом слове так и ощущается настоящее сладострастное трепыхание. На первом месте по красоте стоит, конечно же, главный герой, Григорий Мелихов – своеобразное «альтер эго» автора. В его красоте никто не сомневается: все окружающие, как мужики, так и бабы, только и твердят о том, какой он красавец, разве что изъясняются они таким нечеловеческим языком, что повторить все эти эпитеты довольно-таки сложно. От этого, видимо, и содержание романа запомнить практически невозможно – лично я в своей жизни не встречала людей, которые могли бы толком вспомнить все замысловатые перепитии его сюжета. Но если все-таки чуточку напрячься и постараться хоть что-нибудь да припомнить, то вдруг невольно с ужасом осознаешь, что роман «Тихий Дон» населен едва ли не сплошными извращенцами. Отец насилует свою дочь Аксинью; сама Аксинья открыто живет с двумя мужьями, один из которых, законный муж, всячески ее садирует; распутная казачка, заболев сифилисом, бросается в Дон и топится; законная жена Григория, Наталья, пытается покончить с собой, совершив настоящее харакири, причем с соблюдением всех самурайских канонів – сперва

серпом полоснула себя по горлу, а потом, поняв, что не довела дело до конца, берет еще и косу и лезвием этой косы тычет себе под грудь, предварительно расстегнув блузку, прислушиваясь к хрусту тканей и ощущая леденящий холодок стали. Удивительно, но она все же осталась жива, только стала после этого малость кривобокой. Среди героев полно немощных похотливых стариков и таких же старух, готовых совокупляться чуть ли не с быками.

И единственный нормальный человек среди всего этого паноптикума – все тот же Григорий. Он не только красавец, но еще очень добрый и гуманный, он не в состоянии сдержать слез при виде несчастного птенчика, случайно зарезанного серпом во время жатвы, ему также очень жаль горничную, которую изнасиловали двести казаков, настолько жаль, что он сам даже отказывается принять участие в этом процессе и собирается пожаловаться вахмистру, но тот, оказывается, уже в курсе. В общем, это благородный человек, настоящий супермен, гордый красавец – казак, одним словом. Поэтому, не без колебаний и внутренней борьбы, он в конце концов все же понимает всю важность и необходимость советской власти.

Впрочем, последнее, в сущности, не так уж и важно. Эта тщательно скрытая от глаз читателя непоследовательность Григория, его фактическая измена исконным интересам казачества и переход на службу большевикам, выдающая тайное коварство характера Григория, только придает этому в высшей степени нарциссичному персонажу, наделенному какой-то нечеловеческой красотой и силой, да еще и облаченному в эффектный казачий мундир, еще большее сходство с нарциссически влюбленным в самого себя матросом Кэрелем из одноименного романа Жана Жене. Образ этого автора почему-то невольно всплывает в моем сознании всякий раз, когда я думаю о Шолохове. Возможно еще и потому, что я его когда-то переводила...

Сам Шолохов, конечно, был далеко не красавец: маленький, худой, с узкими монголоидными глазами, как у Будды, и красными припухшими губами, как у вурдалака. Однако и Жан Жене тоже ведь был далек от эталонов мужской красоты.

Тем не менее, проводя эту аналогию, я вовсе не хочу указать на какую-то латентную гомосексуальность Шолохова, хотя невозможно не заметить, что практически все мужские образы в “Тихом Доне” нарисованы автором гораздо ярче и выразительнее, чем женские. Не говоря уже о том, что практически все они облачены в великолепную казачью форму: в штанах с лампасами и шашками на боку. И вот эта форма, по-моему, значит для Шолохова гораздо больше, чем те, на кого она надета, то есть сами люди. Примерно то же самое можно было бы сказать и об облаченных в форму моряках и полицейских в романах Жене, которого практически не интересует реальная психология персонажей и всякая там “диалектика души” – они для него, прежде всего, красавцы в форме. То же самое относится и к казакам Шолохова. Это тоже – красавцы в форме, все остальное не так уж и важно. Однако, как я уже сказала, ни о какой латентной гомосексуальности речь в данном случае не идет.

В конце концов, и нацистские, и белогвардейские офицеры тоже были облачены в очень красивую и завораживающую форму. Но о гомосексуальности это еще не свидетельствует. А скорее, даже совсем наоборот: свидетельствует о тайном культе женщины, о признании за ней права тоже видеть перед собой нечто прекрасное и эстетичное в лице представителей противоположного пола – права, которое сегодня, кажется, окончательно подвергнуто сомнению. Так как сегодня уже сама женщина превратилась в какую-то разукрашенную и разодетую куклу в руках облаченных в бесцветные серые наряды мужчин... В конце концов, и в животном мире самцы – всякие там индюки, попугаи, львы и тигры, – как правило, выглядят несколько эстетичнее, чем самки, у них более яркое оперение,

более красивые шкуры и гривы. То есть в явной деградации современной мужской одежды, скорее всего, есть все-таки что-то противоестественное и не совсем нормальное, ведущее ко всевозможным отклонениям... Впрочем, я не чувствую себя способной на подобные глобальные обобщения. Просто мне это вдруг пришло в голову, когда я вспомнила загадочную книгу о становлении советской власти на Дону...

Как бы то ни было, “Тихий Дон” в рамках советской цивилизации был, как я уже сказала, едва ли не самой магической книгой. Почти такой же магической, какой является сегодня в мировой литературе “Кэрель” Жене...

Ах, да! Чуть не забыла! Авторство “Тихого Дона” с самого момента его создания подвергалось и продолжает подвергаться сомнению. И это тоже лишний раз подтверждает сказанное мной: насколько сильно эта книга волновала умы и сердца советских граждан! Никто ведь и не думал претендовать на авторство “Доктора Живаго” или же, тем более, “ Архипелага ГУЛАГ”. Кому они, в сущности, нужны?! Во всей мировой литературе до сих пор сомнению подвергалось разве что авторство произведений Шекспира и Гомера. А в русской литературе это вообще явление беспрецедентное!



Глава 32 Уроки Большого стиля

Селин со свойственной ему пронизательностью, на мой взгляд, абсолютно точно определил дату, которая отделяет Современность от Прошлого – 1913-й год! «Если вы не видели, как под звуки рожка разворачиваются во фронт сразу несколько кавалерийских дивизий, значит, вы не видели ничего!» – восклицал он. Примерно эту же дату, 1913-й, подняли на флаг, взяли на вооружение впоследствии всевозможные «прорабы перестройки», пытаясь доказать своим оппонентам, что именно к этому времени Россия достигла чуть ли не апогея в своем развитии, некоего пика, после которого стремительно покати́лась вниз.

Таким образом, если вспомнить Селина, то получается, что не только одна Россия – чуть ли не весь мир после 13-го года стремительно покотился вниз!

Тем не менее, лично я так и не увидела разворачивающихся во фронт кавалерийских дивизий, не услышала никаких рожков, а значит, я не видела и не слышала, в сущности, ничего. Вынуждена это признать. Согласна! Однако из всех метафор, обычно применяемых к литературе, меня почему-то все равно больше всего привлекают именно метафоры войны. Более того, я считаю, что только они и являют собой образцы хорошего стиля, столь редкие для русской литературы. Увы!

Даже так называемый «большой стиль» сталинской эпохи при более пристальном рассмотрении оказывается развернутой метафорой банальной стройки или какого-нибудь завода по производству велосипедных шин. Еще бы, ведь самой главной составляющей этой метафоры оказывается не что иное, как Литературный институт имени Горького, который проговаривается эпохой на уровне бессознательного, едва ли не буквально по Фрейдю, несмотря на грандиозные планы «строительства» коммунизма... Хотя нет! Скорее, в полном соответствии с ними. Но это вовсе не значит, что революцию в России совершили какие-то там «вольные каменщики» или, как их еще обычно называют, «масоны». Подобные параноидальные разоблачения меня никогда особенно не волновали и не интересовали. Просто людям того времени больше всего на свете нравилось строить и созидать, такая уж у них, видимо, была душа. Поэтому они и учредили Литературный институт по полному образцу и подобию вузов, где готовили инженеров и строителей для обычного производства. Само собой, они воевали, но как бы нехотя и через силу, на время отрываясь от своей созидательной деятельности, которую и считали главной.

Если мне память не изменяет, то, кажется, один из прожженных мафиози в фильме «Крестный отец» наставлял своего более молодого подельника: «Никогда не стоит недооценивать человеческую жадность!» Вне всякого сомнения, он был прав! Правда я бы еще добавила к этому: «Никогда не стоит недооценивать человеческую глупость!» Потому что тот, кто сегодня мнит себя интеллектуалом (то есть, очень умным) и при этом склонен называть социалистическое искусство «большим стилем», тот именно так и поступает: недооценивает человеческую глупость!

Коммунисты совершенно искренне, безо всякой задней мысли, злого умысла и малейшего циничного намерения со своей стороны, перепутали искусство с производством! Кроме Литинститута, у них еще было такое умопомрачительное количество подобных «оговорок», выдающих их истинное понимание искусства и литературы, что Платонов со своим «Котлованом» и копошащимися там людишками выглядит просто лишним и никому не нужным бумагомаракой, но уж никак не гением. Все и так понятно, без него! А его размазывание соплей по поводу невозможности окончательного завершения «стройки» в виду неясности архитектурного замысла и прочее только вносит еще больше путаницы во всю эту возню!

Короче говоря, коммунисты, несмотря на то, что их было так много, все вместе, включая опальных «гениев» вроде Платонова, на поверку оказались ненамного умнее и прозорливее Леонтьева, перепутавшего Россию с человеческим телом, а философию – с медициной... Вообще-то и Фрейд здесь не особо нужен. Сталинский «большой стиль» прекрасно прочитывается и без его копаний в бессознательном – все лежит прямо на поверхности, непосредственно в языке и искусствоведческой терминологии тех лет: во всех этих «пластах реальности», «поступательном движении истории», «кирпичиках мироздания» и

прочее, прочее, прочее... И опять-таки, никогда не стоит недооценивать человеческую глупость: на смену «строителям коммунизма» пришли «прорабы перестройки»!

Безусловно, «Тихий Дон» мог бы служить замечательным образцом хорошего стиля, поскольку в нем явственно прослеживается метафора войны: казачьи сотни многократно под звуки рожка разворачиваются во фронт, хотя, к сожалению, главным образом, тоже до 13-го года. Увы! Тем не менее в этом романе, как я уже сказала, очень много людей в форме – и это радует.

Однако лично меня всегда немного смущал затянувшийся до сегодняшних дней спор по поводу его авторства. И все бы ничего, но то, что этот спор фактически начался еще при жизни Шолохова, настораживает меня больше всего! Все-таки Шекспир и Гомер умерли уже очень-очень давно – естественно, их жизнь и творчество за время их отсутствия в этом мире успели обрасти всякими легендами и небылицами. А тут! Одни совершенно искренне полагают, что такую замечательную, красочную и пугающую своими размерами книгу не мог написать жалкий недоучка, вроде незаконнорожденного простого казака Шолохова, да еще в столь юном возрасте, когда ему едва перевалило за двадцать, поэтому он, скорее всего, стащил черновые наброски и дневники у какого-нибудь маститого писателя старой выучки, типа Крюкова, а потом наспех их перелатал, кое-что кое-где подогнал, в соответствии с требованиями времени и господствовавшей идеологии. Другие же, напротив, считают, что даже такую огромную книгу, больше даже, чем «Капитал» Маркса, запросто мог сочинить любой дурак, наподобие того, как явный дегенерат, инвалид детства, Циолковский смог сконструировать столь сложное техническое сооружение, как ракета. И вот это представление о произведении искусства, как о совершенно отчужденном от самого человека и его жизни сооружении, чуде техники, конструировать и сооружать которые обучают в «технических» вузах, типа Литинститута, так вот, это представление и поныне господствует в умах большинства современных литературоведов и критиков, глупость которых, как я уже сказала, никогда не стоит недооценивать, ибо она воистину безмерна!

Боюсь, что и дискуссия по поводу авторства «Тихого Дона» закончится еще не скоро, так как победителей в ней просто не может быть вообще! Ведь эти споры – всего лишь иллюстрация одного из человеческих заблуждений насчет искусства, и не более того. Можно ведь сколь угодно долго упираться лбом в стену – от этого стена все равно вряд ли сдвинется с места, одного упорства тут явно недостаточно. Неплохо бы еще осознавать, во что ты упираешься, и вообще, для чего тебе это надо... В целом же данная бессмысленная дискуссия невольно свидетельствует о том, что и современники, и потомки вовсе не склонны видеть в авторе «Тихого Дона» казака, а, судя по всему, он тоже представляется им кем-то вроде выпускника Литинститута.

Короче говоря, если кто-то еще до сих пор чего не понял, то могу подсказать: искусство – не производство и не стройка! Точнее, я бы даже сказала так: искусство – это метафора человеческой жизни. И если кто-либо принимает собственную жизнь за производство, а себя самого – за участника какого-то строительства или же там колхозника, то должна его огорчить – он очень сильно заблуждается. Если уж человеку что-нибудь и надо строить в этой жизни, то разве что укрепсооружения, типа замков, дотов и цитаделей, чтобы обороняться от нападающих на него врагов. Иными словами, я хочу сказать, что жизнь – это война, ну а искусство и литература соответственно – ее метафоры...

Ближе всего к такому пониманию искусства подошел Ницше, который понимал жизнь как преступление, то есть войну одного против всех. И в этом отношении он даже несколько опередил свое идиллическое время, когда

кавалерийские дивизии стройными рядами разворачивались во фронт под звуки рожка...

Но еще ближе к пониманию смысла искусства приблизился все тот же Селин. Точнее, пример Селина позволяет максимально приблизиться к пониманию смысла искусства и литературы – так, пожалуй, будет более правильно сказать. Потому что сам Селин, рассуждая о значении своих знаменитых многоточий, называя себя новатором и реформатором литературного языка, сумевшим передать «особенности письменной речи посредством устной», «схватить ускользающие эмоции», сравнивая себя с импрессионистами и т.д. и т.п., так вот, рассуждая подобным образом, Селин, на самом деле, демонстрирует свое откровенное непонимание смысла литературы. Кому они, в сущности, нужны все эти его «эмоции», «художественные открытия», «импрессионисты» и «особенности устной речи»? И что за праздное занятие, в конце концов – реформировать литературу?! Тем не менее, пример Селина очень хорошо демонстрирует, что литература сама по себе вовсе не нуждается в каком-то особом понимании – вполне достаточно приблизиться к пониманию смысла собственной жизни! Так как искусство, как я уже сказала, – это всего лишь метафора жизни. Не случайно ведь Селина, в отличие от Шолохова, по крайней мере, никто не принимает за выпускника Литинститута, даже самые тупые селинисты или там селинологи. Мне, во всяком случае, такие не попадались!

Самая злая шутка в адрес Селина, которую мне когда-либо приходилось слышать, исходит от его наиболее ярких недоброжелателей и заключается в том, что все его творчество является следствием тяжелого ранения в голову, полученного как раз вскоре после рокового и поворотного в истории человечества 13-го года: где-то так году в 18-м, в сражении под Поэлькапель. И действительно, на протяжении всей своей жизни, практически во всех своих книгах Селин постоянно жалуется на тяжелейшие головные боли, якобы являющиеся следствием этого ранения. Однако никаких документальных подтверждений этого ранения по сей день так и не найдено. А существует только единственная, но вполне официальная медицинская справка, свидетельствующая о том, что под Поэлькапель Селин был ранен в руку, ну разве что его еще слегка где-нибудь подбросило взрывной волной и все-таки стукнуло головой о дерево или же землю, но об этом остается только гадать...

Примерно то же можно сказать и про его знаменитые «многоточия». Скорее всего – и лично я почти в этом не сомневаюсь – Селин при помощи этих многоточий сумел выбить у своего издателя Гастона Галлимара лишние бабки, так как автору, все-таки, платят по количеству знаков, прямо пропорционально, короче говоря...

Не знаю даже, достаточно ли ясно я сумела выразить свою мысль, но без этих вот маленьких тонкостей, а возможно, даже и хитростей, Селин, по моему глубокому убеждению, сегодня был бы уже совершенно не актуальным и архаичным писателем. Точно таким же, как и все литературные реформаторы и новаторы XX века, творившие после 13-го года, то есть находился бы вместе с ними на свалке истории, точнее, пылился бы на полках рядом с никем так толком и не прочитанными томами Пруста и Джойса. А так он преподносит урок совсем неплохого стиля, я бы даже сказала, «большого»!



Глава 33 Смысл истории

В последнее время я все чаще получаю послания, в которых выражается недоумение, ради чего я отложила на время в сторону собственное творчество и занялась историей литературы. Хороший вопрос! Пожалуй, мне не так уж и легко на него ответить; честно говоря, этот вопрос даже ставит меня в тупик... И прежде всего своей неожиданностью, потому что я совершенно к нему не готова. Ничего не поделаешь, но такой уж у меня склад ума — сначала я что-нибудь делаю, а уже потом думаю зачем. Вот так и с историей литературы: я уже практически покончила со всей отечественной классикой, все расставила по своим местам, а зачем, для чего - так до сих пор и не поняла. Ну ничего! В конце концов, лучше поздно, чем никогда!

Прежде всего нужно сказать, что меня всегда раздражали писатели и, между прочим, вовсе не обязательно русские. В данном случае русские писатели просто попались мне под руку, так что в том, что я занялась именно русской литературой, нет ничего особенного, с этим все более или менее ясно. А писатели меня больше всего раздражали, ну, как бы это попонятнее выразиться... Даже не знаю... Скорее всего, своей глупостью?.. Не уверена, что только этим, но, скорее всего, именно глупостью! Другого слова, к сожалению, мне пока подобрать не удастся. В принципе, мне не было бы никакого дела до писательской глупости, если бы мне самой постоянно не приходилось пожинать ее плоды, то есть не испытывать ее последствия на собственной шкуре. Иными словами, куда бы я ни приходила, к каким бы законченным кретинам и дегенератам, в какую бы самую тухлую и замшелую контору, пусть даже по починке ржавых и прогнивших канализационных труб, мне повсюду приходится ловить на себе насмешливые взгляды всяких там нетрезвых и деградировавших личностей, порой даже уже почти совсем утративших человеческий облик и находящихся в абсолютно невменяемом состоянии. Не люди, а инопланетяне какие-то! Не случайно ведь, образно говоря, они нашли свое место “у параша” — я имею в виду всяких там ассенизаторов и сантехников — правда в городском или же районном масштабе,

но суть-то ведь от этого не меняется. Общий смысл их деятельности заключается именно в том, чтобы “выносить парашу”, хотя, естественно, так прямо в лоб, точнее, в глаза им этого никто не говорит... Так вот, как это ни печально, но я ничего не преувеличиваю и не утрирую: все смотрят на меня свысока, даже самые убогие представители городского дна! И все потому, что я писательница! Нет, на лбу, конечно, у меня это не написано, но мне все равно кажется, что дело именно в этом. Просто мне не хочется особо вдаваться в детали, и я описываю ситуацию самыми общими и приблизительными штрихами, только чтобы подчеркнуть суть. А суть заключается в том, что писатели во всем мире уже давно зарекомендовали себя в качестве законченных идиотов, отчего окружающие и смотрят на них свысока.

Кстати, заранее прошу у всех прощения, что тут на одной странице три раза повторяется слово “суть” - это вовсе не от того, что у меня очень маленький словарный запас и я совсем не умею писать или там, как обычно принято говорить в подобных случаях, “не владею пером”. Просто это такой сознательный стилистический прием, который в данном случае призван подчеркнуть неявное сходство “сути” деятельности писателей и сантехников и их реального положения в современном мире. Так как прямо в лоб я об этом, естественно, говорить не могу, чтобы не обижать своих многочисленных коллег, мне и приходится прибегать к подобного рода стилистическим хитростям и иносказаниям.

В общем, мне это порядком надоело! Надоело расплачиваться за идиотизм других, который по инерции переносится и на меня! Более того, сложившаяся ситуация далеко не так проста и безобидна, как это может показаться на первый взгляд. В этой ситуации кроется определенная опасность, последствия ее вообще трудно предсказать. И я в этом тоже неоднократно убеждалась на собственном опыте. Например, со стороны тех же читателей! Некоторые из них, натываясь на мои книги и обнаруживая, что я вовсе не такая идиотка, как остальные писатели, вдруг впадают в жуткую ярость. И это вовсе не смешно, по крайней мере, мне! Хорошо еще, что пока мои книги издаются сравнительно небольшими тиражами, и в жизни я крайне редко пересекаюсь с читателями своих книг, то есть, согласно теории вероятности, возможность подобного пересечения пока ничтожно мала, не выше, чем вероятность разбиться на самолете, к примеру. А самолеты, как известно, на сегодня – самый безопасный вид транспорта. Один мой знакомый математик мне даже все посчитал: сопоставил общий тираж моих книг с данными последней переписи населения – пока все в рамках минимального жизненного риска. Я могу спокойно ходить по улице и ожидать, что мне скорее на голову свалится кирпич, чем на моем пути попадет разгневанный читатель моих романов. Но это пока! Как будут развиваться события в дальнейшем, в какой динамике, предсказать невозможно.

А все дело в том, что Пушкин и остальные – раз уж речь идет о России, – приучили наших соотечественников к тому, что любой самый последний кретин, читающий их книги, поневоле ощущает свое над ними превосходство. Короче говоря, современные читатели привыкли считать всех русских классиков за откровенных лохов, и им приятно осознавать это свое величие, пусть даже никем не признанное и нигде явно не обозначенное. Люди вообще не любят тех, кто их в чем-либо превосходит, особенно в плане умственных способностей. Этим и объясняется, почему русская классика так популярна сегодня в массах, издается такими большими тиражами, постоянно экранизируется и пр. Этим же, кстати, объясняется и популярность так называемой массовой литературы: разных там детективов, триллеров и «женских романов», авторы которых порождают уже совсем откровенную туфту. Неважно! Все они, а не только один Достоевский, в

определенном смысле, «выросли из гоголевской шинели». И обывателям в равной мере приятно видеть у себя на полке томики всех этих умственно отсталых дурачков, так как это созерцание – созерцание подобной литературы – позволяет им почувствовать себя едва ли не пупом земли. А это, ясное дело, ни с чем не сравнимое ощущение!

Со мной же все происходит с точностью до наоборот! Поэтому меня не очень-то издают, кажется, вовсе не собираются экранизировать, ну и т.д. Думаю, можно не продолжать. Все понятно! Что касается разных там водопроводчиков и сантехников, то с этими совершенно отъехавшими личностями я, в конце концов, кое-как научилась справляться. В частности, я постоянно ношу с собой свое удостоверение члена Международной федерации журналистов, потому что оно самое большое и солидное из всех моих удостоверений, размером с такую крупноформатную записную книжку, не меньше, кроме того, у этого удостоверения на зеленой корочке еще большими серебряными буквами вытиснено: «ПРЕССА». И, как правило, прежде чем вступить в переговоры с какими-нибудь дегенератами вроде тех, что я уже перечислила выше, я лезу в свою сумочку якобы за шариковой ручкой или же носовым платком, и среди всяких необходимых в быту предметов, ключей, зажигалки, записной книжки, помады и пр., как бы ненароком достаю и выкладываю на стол это удостоверение... Если же я оказываюсь в аналогичной ситуации где-нибудь за границей, например, в Париже, то я стараюсь положить это удостоверение так, таким образом, чтобы оно оказалось на столе сверху другой стороной, с точно такой же надписью, только латинскими буквами: «PRESS»... И ничего! Насколько я могла заметить, действует! Вид этого удостоверения заставляет даже самых опустившихся кретинов немного шевелить остатками своих прокуренных и заспиртованных мозгов. Короче говоря, они понимают, что видят перед собой не просто писательницу, “продолжательницу пушкинской традиции в русской литературе” и т. д., и т. п., а нечто большое и значительное. И все эти мои наблюдения над жизнью вовсе, увы, не субъективная паранойя, а самые что ни на есть подлинные и объективные факты жизни, которые, на мой взгляд, сегодня даже не нуждаются в особых доказательствах и разъяснениях ввиду своей самоочевидности и самодостаточности.

С читателями же, к сожалению, все обстоит гораздо сложнее. С трудом себе представляю, при каких обстоятельствах я бы могла пихнуть им в нос свое удостоверение с надписью “ПРЕССА”. Разве что во время творческого вечера выложить на столик рядом со своим новым романом? Но боюсь, что его разглядят только сидящие в первых рядах, так что это, по-моему, глупо. С читателями этот номер не пройдет! Даже если бы меня вдруг показали по телевизору, это удостоверение все равно вряд ли сработает, так как по телевизору рядом на экране наверняка будет отсвечивать какой-нибудь журналист, одно присутствие которого способно затмить тысячу подобных удостоверений. Конечно то, что со мной публично побеседует известный и уважаемый журналист, наверняка поднимет мой авторитет в широких массах, но меня, честно говоря, это все равно совершенно не устраивает. Просто в данном случае уже журналист выполнит роль удостоверения с надписью “ПРЕССА”, только и всего, но я об этом, собственно, с самого начала и говорю, если уж быть последовательным и не утрачивать нить моих рассуждений...

С другой стороны, безусловно, те писатели, которые сегодня сами откровенно косят под дурачков и работают в жанре всевозможных детективов, триллеров и “женских романов”, уже достигли определенных успехов и повысили в глазах окружающих статус писательской профессии - надо это признать. И вряд ли этот факт сегодня уже вызывает у кого-либо серьезные

сомнения. Ярким доказательством является и то, что наиболее ушлые из читательской массы, причисляющие себя к так называемой “элите”, сейчас уже не желают видеть на своих книжных полках рядом с томиками Пушкина, Набокова, Джойса, Кафки и Пруста “всяких там”, как они выражаются, донцовых, бакуниных, доценко, картленд и пр. А почему, собственно? В чем дело? Ответ, по-моему, напрашивается сам собой! Люди, как я уже сказала, не выносят рядом с собой присутствия тех, кого считают умнее себя! Поэтому Донцову, Б. Акунина, Доценко, Картленд и остальных им подобных сегодня читают только самые доверчивые и недалекие люди – те, кто по наивности продолжает считать их глупее себя, то есть точно такими же дурачками, как подавляющее большинство русских классиков, так толком и не “выросших из гоголевской шинели”. Увы! Короче говоря, как это ни парадоксально звучит, приходится констатировать: Донцову, Б. Акунина и остальных сегодня читают только уже совсем законченные дегенераты и простачки!

Вот тут наконец мы и подошли к ответу на главный и, к моему удивлению, заинтересовавший столь многих вопрос о смысле “Моей истории русской литературы”. Этот ответ, думаю, теперь уже тоже напрашивается сам собой. Даже как-то странно, что, приступая к написанию данной книги, я сама предварительно об этом не подумала. Так вот, смысл “Моей истории” заключается в том, чтобы вовремя отделить себя от остальных русских писателей, отгородиться, так сказать, провести разделительную черту, а может быть, даже и противопоставить себя им – подстраховаться, короче говоря, пока не поздно, с учетом всех перечисленных выше обстоятельств и тенденций...

Причем мне особенно хочется подчеркнуть, чтобы ни у кого не возникло никаких иллюзий и заблуждений на этот счет: речь в моей истории русской литературы прежде всего идет о реальных умственных способностях отечественных писателей, а вовсе не о многократно опошленных и искаженных всевозможными критиками и литературоведами их образах. Я заранее хочу предостеречь всех, кто взялся читать мою книгу, от этого опасного и вредного заблуждения. Ведь литературоведы и критики, на мой взгляд, и вовсе находятся за пределами какой-либо из существующих ныне гуманитарных наук, несмотря на то, что сами они склонны причислять свое занятие именно к ним, к этим наукам. Во всяком случае, лично я с трудом себе представляю какую-либо более или менее реальную, а не фальшивую, тщательно подтасованную и надуманную историю отечественного литературоведения или же критики. На мой взгляд, все эти факты, вся эта так называемая «литература» уже больше представляет интерес для медицины, для каких-нибудь дефектологов или там, не знаю, как их даже назвать, «дебилологов»...

Кстати говоря, я заметила, что писателям всегда с большим трудом даются произведения, посвященные другим писателям или же просто каким-нибудь творческим личностям. А фильмы о поэтах и художниках вообще, как правило, просто невозможно смотреть. Иногда такой фильм даже навсегда способен отбить охоту читать книги персонажа, которому он посвящен. Последний раз нечто подобное со мной случилось, когда я посмотрела «Дневник его жены» – фильм, снятый, кажется, специально к 130-летию Бунина. Там Бунин предстает в образе какого-то отвратительного зажавшегося номенклатурного советского писателя – такое у него гладкое и сытое лицо. Он постоянно ходит в белом костюме, жрет, жадно чавкая, громко орет и скачет от восторга, узнав, что ему присудили Нобелевскую премию, трясется от негодования всем своим желеобразным телом, когда его обыскивают немецкие пограничники, а после даже, кажется, начинает рыдать и, в довершение всего, чуть ли не трахается с

собачкой, во всяком случае, спит с ней в одной постели, ну, в общем, почти как Герасим с Му-Му... Гадость какая! С тех пор я Бунина не то, что читать, слышать о нем не могу! А ведь когда-то мне он нравился. Особенно мне нравилось рассматривать его желчное холёное лицо на маленькой фотографии в Большой Советской Энциклопедии: благородная седина, презрительная складка губ... Но после фильма все очарование рассеялось!

Сравнительно удачным в этом жанре получился разве что фильм Агнешки Холланд «Полное затмение» о сложных взаимоотношениях Верлена и Рембо, с легким налетом скандальности из-за откровенных постельных сцен. Но второй раз я бы и этот фильм смотреть, пожалуй, не стала.

В чем тут дело? Я думаю, что писателю и режиссеру всегда лучше обращаться к обычной жизни, к образам простых обывателей, далеких от культуры, так как любая творческая личность – это уже как бы однажды обработанный материал, так как образ каждого писателя уже сложился и запечатлелся в сознании людей задолго до того, как кто-нибудь решил снять о нем фильм или сострять книгу. В общем, писать о писателях и снимать о них фильмы – это все равно, что ювелиру братья за обработку уже отшлифованного алмаза или же портнихе заново перешивать уже готовое платье. Все-таки лучше купить кусок нового материала, чтобы не мучиться... Достоевскому, правда, как-то удалось втиснуть Тургенева в свой роман «Бесы», и вполне удачно, хотя к тому времени тот уж точно был отшлифованным и по-своему совершенным бриллиантом. Но такая удача – редкое исключение!

Другое дело – историк литературы! Он просто вынужден обращаться к образам писателей! В противном случае, об истории чего вообще можно говорить?! Не жизни ведь, в конце концов? Такой истории, по-моему, и вовсе не существует. История жизни – это уже, наверное, и есть литература или что-то вроде того... Нет, историку литературы совсем не нужно мучиться над созданием каких-либо законченных образов, заниматься их тщательной доработкой. Главная его задача – объективно констатировать факты, закрепляя и подтверждая тем самым их существование в литературе. И если я вижу, к примеру, что Хлебников – это законченный олигофрен, хотя и сочинявший стихи, то я просто констатирую этот факт. И все! Больше от меня ничего и не требуется! Ну разве что несколько комментариев по этому поводу.

Так или иначе, но продвигаясь все дальше и дальше во времени в своей истории, я отдаю себе отчет в том, что рано или поздно и она, как и все другие, должна закончиться. Но когда? Честно говоря, мне не хотелось бы заранее ограничивать себя какими-то строгими временными рамками. Думаю, что моя история русской литературы постепенно как-то сама сойдет на нет. Например, наступит такой момент, когда я вдруг почувствую, что – все, кругом больше нет ни одного человека, которого по тем или иным причинам можно было бы назвать писателем, остались только одни обыватели! Вот тогда, думаю, мне и следует остановиться. Главное, надо быть очень внимательной, чтобы случайно не переступить эту зыбкую, в общем-то, черту, отделяющую историю литературы от литературы...

Меня всегда немного смущало, что в XX веке число поэтов и писателей в России как-то вдруг резко возросло. Не исключено, что именно эта возросшая численность литераторов, в конечном счете, отрицательно сказалась на качестве литературы. Возможно, каждой нации вообще отпущено свыше какое-то определенное количество духовной энергии, и если поэтов, писателей и художников вдруг становится слишком много, то эта энергия дробится на всех, то есть на более мелкие «порции». Вот и получается, что в девятнадцатом веке произрастали разрозненные, одинокие, но довольно крупные дубы и сосны,

вроде Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Тютчева или Фета... А в двадцатом — в литературе расцвели уже целые заросли кустарников в виде разных объединений символистов, акмеистов, футуристов, имажинистов и т.п. А дальше хуже: почва, на которой они все произрастали — и дубы, и кустарники, — постепенно сильно истощилась, и растения еще более измельчали, можно сказать. Как ни крути, а так оно и выходит! Сама реальность об этом свидетельствует!

Невозможно не заметить, например, что даже Блок, в сущности, был не совсем самостоятельным поэтом-творцом, а уже, в определенном смысле, и актером-исполнителем, хотя и выделявшимся в многочисленной труппе своих коллег, но все равно нуждавшимся в режиссерских наставлениях теоретика типа Вячеслава Иванова. И это действительно так, потому что без этих «установок» очень многое в стихах Блока сегодня, вероятно, было бы совсем непонятно. И вот этот едва заметный сдвиг в русской культуре начала XX века, тоже, на мой взгляд, имел достаточно серьезные последствия для ее дальнейшего развития...

Что касается количества писателей, и особенно поэтов, сегодня, то оно просто пугает. Это уже не деревья или там кустарники, и даже не трава, а настоящая саранча — я имею в виду прежде всего их численность. Стоит мне только мысленно представить себе, сколько сегодня поэтов... Какие-то пугающие тучи саранчи!.. Впрочем, на самом деле, возможно, не так уж все и страшно! Во всяком случае, лично я постепенно научилась чувствовать себя совершенно отдельно от этой массы, точнее, стала просто воспринимать ее, как часть жизни, уже ничем не отличающуюся от других ее проявлений (политики, экономики и т.п.), к тому же, по моим наблюдениям, у современных писателей начисто атрофировался такой необходимый отличительный атрибут этой профессии, как собственная творческая воля. Они теперь уже даже не актеры, а просто какие-то куклы-марионетки в руках все тех же политиков, банкиров и издателей.

Короче говоря, у меня такое впечатление, что «круговорот литературы в природе» сегодня окончательно завершился и практически все, что сейчас по инерции еще называется словом «литература», на самом деле, уже давно является обычным сырым материалом, нуждающимся в дальнейшей обработке. То есть, все вернулось на круги своя! И на самом деле, писателей теперь в России опять считанные единицы, гораздо меньше даже, чем в XIX веке, а порой даже кажется, что никого и вовсе нет — кроме меня, естественно.

И надо сказать, что я даже довольна подобным положением вещей! Потому как сама жизнь, то есть все эти толпы обывателей, издателей, политиков, банкиров и пр., и есть самый что ни на есть подходящий материал для писателя. Может быть, это звучит немного банально и напыщенно, но в человеческом духе, и в самом деле, есть что-то общее с огнем. Не сомневаюсь, что об этом сходстве уже кто-нибудь до меня писал: какой-нибудь Гераклит, Платон или же, на худой конец, Пифагор, а может, и еще кто... И я, при всей своей нелюбви к философии, вынуждена, в данном случае, с кем-то из этих троих-четверых согласиться. Да, они совершенно правы! Человеческий дух в чем-то подобен огню! Во всяком случае, писатель нуждается во всевозможных непосредственных проявлениях никем не осмысленной неотрефлексированной жизни, примерно так же, как огонь нуждается в дровах. А уж чего-чего, а подобных «дров» в России сегодня хватает! Наверняка их гораздо больше, чем нефти! Поэтому и на будущее русской литературы я, как это ни странно, смотрю с определенным оптимизмом. Неплохой костер, в общем-то, может разгореться, причем в самом недалеком будущем.

Ах, если бы только смысл человеческого существования сводился исключительно к литературе! Увы, это далеко не так!

Мне, к примеру, (и думаю, что не только мне) до известных событий в сентябре 2001 года и в голову не могло прийти, что у кого-нибудь вдруг может возникнуть желание въехать в рай прямо на самолете: побыстрее, так сказать, используя повышенные скоростные данные этого чуда техники. Казалось бы, любому здравомыслящему человеку понятно, что самолет создан для того, чтобы людям было как можно удобнее и комфортнее перемещаться в пространстве, путешествовать по свету, посещать всевозможные музеи, осматривать всякие там достопримечательности, экономить драгоценное время и т.п. Ан, нет... Нашлись-таки совершенно деградировавшие и отсталые личности, которые решили использовать самолет абсолютно неожиданным и оригинальным способом. Лично я до такого никогда бы не додумалась! Честное слово!

А почему такое стало возможно?! Да хотя бы потому, что те же расплодившиеся, как саранча, писатели, кажется, совсем позабыли еще об одном своем очень важном предназначении – просветительской деятельности! Если кто-нибудь подумает, что я шучу, то он глубоко заблуждается. Я говорю абсолютно серьезно! Такая деятельность сейчас, по-моему, и самим писателям была бы крайне необходима, хотя бы в интересах их же личной безопасности, так что они вполне могли бы уделить просвещению масс хотя бы чуточку своего времени, отвлечься немного от своей писанины. Причем побуждать к подобным занятиям их должны были бы вовсе не мои слова, а исключительно чувство самосохранения... А то так ведь сядешь однажды в самолет, чтобы слетать в Париж, например. И привет! Окажешься в раю, совсем того не заслуживая.

Вот так задумаешься немного и поневоле придешь к мысли, что и в нашем недавнем прошлом далеко не все было так уж плохо – в конце концов, я тоже вынуждена это признать. Кое-какие традиции следовало бы возродить! И сейчас не мешало бы формировать компактные агитбригады по пять-шесть человек из наиболее авторитетных писателей, лауреатов разных премий, чтобы они периодически ездили по стране, посещая самые отдаленные ее уголки. И если бы какой-нибудь лауреат премии Белого, например, хотя бы несколько раз в году выступал на небольшой сельской сходке где-нибудь «в глубинке» и сообщал местной публике, точнее, просто напоминал собравшимся, что уже сорок лет назад Гагарин летал в космос и никого там не видел – никакого Бога – то это, по-моему, было бы совсем не лишним. Небольшая политинформация, но очень полезная, на мой взгляд. Не сомневаюсь, очень у многих людей после таких просветительских бесед в голове бы кое-что прояснилось и опять встало на свои места, по крайней мере, то, что в последнее время сдвинулось...



Глава 34 Трагедия русской души

Веянье времени: старушки в общественном транспорте с «Идиотом» Достоевского в руках! Лично я видела уже, по крайней мере, трех. Последняя в вагоне метро сидела, уставившись в книгу сквозь невероятной толщины стекла очков, с самым что ни на есть серьезным и сосредоточенным видом... Глядя на нее, я, пожалуй, впервые в жизни задумалась об ответственности писателя перед своим народом. Честно говоря, раньше мне как-то и в голову не приходили подобные мысли. Наверное, просто не было повода... Странно! С чего бы это их потянуло на Достоевского – я имею в виду старушек – уж лучше бы читали литературное переложение «Рабыни Изауры» или же «Богатые тоже плачут». Нет, в этом странном увлечении пенсионерок Достоевским, и в самом деле, есть что-то пугающее, я бы даже сказала, апокалиптическое. Добром это определенно не кончится!

В любом случае, Достоевского предпочтительнее читать в начале жизни, на заре туманной юности, так сказать, чтобы потом была возможность разочароваться в собственных заблуждениях. Приступив же к чтению Достоевского под конец жизни, на закате своих дней, старушки рискуют отправиться на тот свет, так ничего толком и не поняв в этом мире. Не велика, в общем-то, потеря, с одной стороны: какая разница, познаешь ты что-нибудь в этой жизни или нет? По большому счету, тут и познавать-то особенно нечего, – а все равно немного обидно.

А вдруг на том свете их ждет встреча со Всевышним! Что тогда? Простит ли он им их путаницу в мозгах? Станет ли вообще с ними разговаривать? Вот если женщина всю жизнь пахала, работала где-нибудь на фабрике, не разгибая спины, горбатилась, иными словами, и ее потом лишили нормальной пенсии, на которую она всей душой надеялась, искренне верила в ее неотвратимость, то есть, если ее таким образом вдруг неожиданно обломили, то она, конечно, вправе рассчитывать, что на том свете Господь воздаст ей по заслугам, войдет в ее положение, наградит званием Героя Социалистического Труда, пожмет ее

трудовую мозолистую руку и т. д. и т. п. В общем, такая обделенная вниманием государства пенсионерка вполне может найти в Вечности успокоение и удовлетворение, которых она вдруг лишилась на старости лет. Но старушка, отправившаяся на тот свет с томиком Достоевского под мышкой, рискует такого успокоения не найти.

Не уверена, не могу сказать точно, о чем повествует произведение «Богатые тоже плачут», более того, готова допустить, что в нем наворочено много всякой чуши, однако уже из названия видно, что хоть какой-то проблеск истины в этом произведении присутствует. Богатые тоже плачут – это факт! С этим вряд ли кто-нибудь станет спорить, можно даже особенно и не углубляться в чтение. И в «Рабыне Изауре», судя по всему, говорится о вреде рабства и торговли рабами, о чем тоже можно догадаться уже из названия, особенно ни во что не углубляясь. Вряд ли в наши дни кто-нибудь всерьез способен усомниться в такого рода вещах: рабство антигуманно, унижает человеческое достоинство и пр., пр., пр. Правда мне, к примеру, доводилось встречать в Париже таких жутиков, что словами и не передать, то есть, если начнешь кому-нибудь рассказывать, и не поверят, что в наши дни, причем не где-нибудь в джунглях, а в большом европейском городе можно встретить подобных человекообразных существ, которых даже никаким удостоверением с надписью «PRESS» не проймешь, можно даже и не пытаться. Бесплезно! Такое впечатление, что некоторые из этих особей только что послезали с деревьев у себя дома, на своем южном континенте, и сразу же отправились в Париж на заработок... Думаю, всем было бы спокойнее, если бы они жили где-нибудь на отдаленных фазендах под присмотром строгих, но справедливых хозяев. Однако рабство – это зло! Этот факт не подлежит сомнению хотя бы потому, что открытое провозглашение каких-либо унижающих человеческое достоинство лозунгов ничего, кроме вреда, людям не несет, в том числе и тем, кто не прочь кого-нибудь себе подчинить, а может, даже и поработить. Короче говоря, если человеку предначертано судьбой находиться «у параша», то он там непременно окажется, и вовсе не обязательно ему об этом так прямо в лоб, точнее, в глаза говорить. В некотором смысле, это даже вредно. Согласна!

Короче, получается, что произведения вроде «Рабыни Изауры» или же «Богатые тоже плачут» не способны каким-либо существенным образом сбить с толку отечественных пенсионеров, внушить им какие-нибудь вредные идеи и мысли. А чему может научить их такая книга, как «Идиот»? И опять-таки, ответ тут лежит прямо на поверхности, даже странно, что кто-то еще до сих пор мог его не заметить и не уловить. Лично мне кажется, что ответить на этот вопрос был бы способен даже компьютер, если бы в него только заложили специальную программу по распознаванию письменной речи, потому что прямая подсказка в данном случае тоже содержится уже в самом названии книги, в чтение которой можно было бы, пожалуй, даже особо и не углубляться, в точности так же, как и во всех перечисленных выше случаях. Роман «Идиот» способен научить всех этих замеченных мной чрезмерно любознательных пенсионеров только идиотизму! Вполне логично! По-моему, этот вывод напрашивается сам собой... Мне почему-то кажется, что и сам Достоевский, давая своей книге именно такое название, отчасти хотел предупредить читателей об этой содержащейся в ней опасности, все-таки хоть какую-то ответственность перед своим народом он должен был испытывать, по крайней мере, на бессознательном уровне. Вряд ли он, конечно, предполагал, что со временем его книги будут читать преимущественно пенсионеры, но все равно...

Хотя с другой стороны, если хорошенько вдуматься, то научить отечественных пенсионеров идиотизму – это все-таки надо очень-очень

постараться! И Достоевский как раз на это способен, как никто другой, вынуждена это признать, надо отдать ему должное! Кстати, я уже выше об этом писала, об этой его уникальной способности «пудрить своим соотечественникам мозги». Однако это новое веянье, все эти старушки в метро с книгами Достоевского, невольно побудили меня снова вернуться к этой теме, и в частности, к роману «Идиот», ставшему ныне столь популярным у пожилых людей. Я бы даже сказала, что мне и самой тоже невольно захотелось перечитать этот роман, ну хотя бы мысленно, так как на большее у меня сейчас просто нет времени.

Безусловно, этот всплеск интереса к «Идиоту» Достоевского в обществе, скорее всего, был спровоцирован выходом на экраны ТВ одноименного сериала, поставленного по этой книге. Это понятно! И лично у меня нет никаких особых претензий к режиссеру этого фильма, который сделан, что называется, профессионально, то есть с истинно обывательской основательностью: все ключевые роли поручены маститым актерам старой выучки, преимущественно народным артистам России – сразу видно, что режиссер очень опасался ошибиться в подборе актеров, поэтому решил действовать наверняка, не рисковать, так сказать. И все актеры очень стараются, особенно исполнитель главной роли, князя Мышкина, – этого тоже просто невозможно не заметить... В общем, что бы там кто ни говорил, но сериал получился на славу: с интригой вокруг неожиданно полученного наследства, расстроенной женитьбой, всякими там коварными происками и кознями, плетущимися вокруг внезапно вспыхнувшего чувства взаимной приязни между недалеким простачком Мышкиным и прожженной дамой полусвета, эффектной брюнеткой-путаной Настасьей Филипповной... Все это, само собой, смотрится на одном дыхании! Ничуть не хуже, чем «Рабыня Изаура» в конце восьмидесятых, в самый разгар перестройки!

И тем не менее, как это обычно и бывает, экранизация все-таки сильно уступает оригиналу и в том числе – а в данном случае, я бы даже сказала, прежде всего, – в отношении идиотизма. В частности, в фильме Ганя Иволгин на фоне остальных персонажей выглядит однозначно наиболее свежо и оригинально, и вообще, выгодно отличается от остальных. Без особого преувеличения можно сказать, что фактически весь фильм держится исключительно на нем, на его здравых и осмысленных реакциях на абсолютно неадекватное поведение окружающих. Стоит только хотя бы мысленно убрать Ганю из фильма, как все происходящие в фильме события окончательно погружаются во мрак беспросветного и всеобщего идиотизма, такой роман, без Гани, пожалуй, можно было бы уже назвать не «Идиот», а «Идиоты» – во множественном числе. Не уверена, правда, что это входило в замысел режиссера. Может быть, он даже специально поручил эту роль не слишком «засветившемуся» актеру, не отмеченному официальными званиями, чтобы еще больше подчеркнуть ничтожность данного персонажа. Однако вышло как раз наоборот: не слишком отягощенный архаичной системой Станиславского и старательностью Ганя кажется самым современным, невыдуманым и жизненным героем и вызывает наибольшую симпатию, во всяком случае, у меня.

А вот в романе, к сожалению, все преподносится далеко не так. Достоевский приложил немало усилий, чтобы всячески принизить этого юношу, – между прочим, из очень хорошей, но бедной семьи, – вынужденного из последних сил поддерживать материально свою сестру и больную мать. Достаточно вспомнить хотя бы одну из ключевых сцен романа, когда Настасья Филипповна зачем-то бросает в огонь пачку с сотней тысяч рублей и предлагает ее оттуда вытащить своему теперь уже бывшему жениху, так как перед этим она только что отвергла

его предложение выйти за него замуж, подчинившись «мудрому» совету идиота Мышкина. Ганя с трудом сдерживает охвативший его приступ нечеловеческой «жадности» и падает в обморок. Настасья Филипповна по достоинству оценивает его выдержку и презрительно бросает ему слегка обгоревшую пачку денег. А далее все происходит уже почти в точности, как в одной известной песне, ныне очень популярной на петербургской радиостанции под символическим названием «Русский шансон». Настасья Филипповна в сопровождении всех этих девочек «Маруси, Розы, Раи» и «ихнего спутника Васьки-Шмаровоза» в лице Рогожина гордо удаляется, демонстрируя собравшимся там «фраерам», а точнее, отставным слабоумным генералам, распутным помещикам и прочей шушере из дворянского сословия, что это и есть «салонное танго» (с ударением на последнем слоге)...

Достоевскому, впрочем, представлялось, что действие его романа больше перекликается со стихотворением Пушкина о бедном рыцаре. Но это, в конце концов, было всего лишь его субъективной точкой зрения, – со стороны и временной дистанции все представляется несколько иначе.

Финал этой занимательной истории известен. Подчинившаяся «мудрому» совету Мышкина Настасья Филипповна получает удар ножом в сердце, а сам Мышкин отправляется обратно туда, откуда и явился, то есть в дурдом.

А ведь все могло бы завершиться и иначе, и не только в романе, но и в истории русской литературы, а возможно, даже и всей России. Последнее, конечно, мало вероятно, но меня, в конце концов, в данном случае больше интересует литература – ею пока можно и ограничиться.

Я вот, к примеру, вполне допускаю такой поворот событий в романе «Идиот», когда какая-нибудь завистливая и злобная девица, вроде Аглаи Епанчиной, могла бы вдруг взять и выкрасть дневник Гани Иволгина, в котором он расставляет свои, совсем иные, чем у Достоевского, акценты, комментируя разворачивающиеся вокруг драматические события и давая емкие характеристики их главным участникам, включая Мышкина, Рогожина и Настасью Филипповну. Короче говоря, этот роман мог бы завершиться чуть раньше публичным чтением дневника Гани и последовавшей затем немой сценой... То есть всячески оплеванный Достоевским Ганя Иволгин опять-таки, как и в других уже описанных мною ранее ситуациях с Гоголем и Островским, на самом деле, гораздо больше, чем сам автор «Идиота», мог бы соответствовать истинному предназначению писателя: потихоньку втираться в доверие к окружающим, а потом неожиданно их всех обсирать, поливать грязью.

И вот теперь, надеюсь, всем уже окончательно стало понятно, насколько это важно для писателя – соответствовать своему истинному предназначению! Ведь гипотетическое чтение дневника Гани и последовавшая затем немая сцена могли бы слегка притормозить надвигающуюся трагическую развязку, а может быть, даже и вовсе предотвратить гибель главной героини.

А к каким результатам приведет нынешнее тотальное увлечение пенсионерок романом Достоевского «Идиот»? Я уже сказала: хотя такое и трудно себе представить, но они рискуют впасть в еще больший идиотизм! Со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Ну вот, только я написала про «Идиота», как почти сразу же услышала по ТВ, что князь Мышкин был воспринят в самых отдаленных русских селеньях на «ура», все его ужасно полюбили, а исполнитель главной роли теперь самый что ни на есть настоящий «народный артист России»... Ага, так я и думала! И между прочим, это полностью совпадает с данными последней переписи населения, согласно которой большинство жителей России составляют пенсионеры и люди старше сколько-то там лет – в общем, самая благоприятная среда для восприятия

подобных сериалов... А мне вот больше понравился Ганя! Еще бы! Тут и говорить не о чем. Князя Мышкина с ним и рядом не лежало!

Что ни говори, но приятно осознавать собственное величие и превосходство над окружающими людьми! А если тебя сплошь и рядом окружают какие-то замшелые и умственно отсталые дегенераты, то и напрягаться особенно не надо. Селину вон приходилось лезть вон из кожи и крыть последними словами Мальро, Мориака, Клоделя, Морана, Сартра за то, что их, а не его, награждали Нобелевскими премиями, постоянно показывали по телевизору, принимали в Академии... А ведь тогда еще где-то неподалеку отсвечивал и Жене... А мне?! Нет, у меня даже язык не поворачивается произнести вслух имена тех, с кем мне реально сегодня приходится соперничать – когда подумаешь об этом, то даже как-то немного становится не по себе. Короче говоря, лучше уж об этом совсем не думать. А то ведь так, чего доброго, можно и усомниться в своих способностях... Лучше просто жить и наслаждаться!

Свободно и легко плыть по бескрайнему океану человеческой тупости, в котором тоже, конечно же, скрыты кое-какие подводные рифы и камни, – не стоит об этом забывать. И самое главное, как я уже сказала, никогда не надо недооценивать масштабы человеческой глупости! Вот это очень опасно! А об остальном можно даже особо не задумываться и не волноваться... Человеческая тупость подобна бескрайнему океану! Замечательный образ, по-моему, и, самое главное, очень точный и актуальный. Ну а гений – это отважный мореплаватель, держащий курс... чуть было не сказала “по звездам”... Нет! Гений – это отважный мореплаватель, блуждающий по этому океану в густом беспроглядном тумане или же во мраке глухой беззвездной ночи, полагаясь исключительно на везение – больше, по правде говоря, полагаться и не на что. Потому что, если сегодня ориентироваться на “звезды” вроде Достоевского, то точно сразу же сядешь на мель, далеко не уплывешь. “Звездами” вроде Достоевского можно позволить себе сегодня любоваться только где-нибудь на берегу, в отдаленном от моря селенье, стоя в очереди за автографом к какому-нибудь “истинно народному артисту России”, чтобы скоротать время.

Кстати, этот образ бескрайней и по-своему даже в чем-то величественной человеческой глупости родился у меня совсем недавно, а точнее, во время моего пребывания на французском атлантическом побережье. И вот там, стоя на прибрежной скале и глядя в бескрайнюю туманную даль, скользя взглядом по поверхности этой ничем, никакими берегами не ограниченной водной поверхности, я впервые отчетливо почувствовала, насколько все-таки велик человек по сравнению с этой огромной мутной лужей, населенной, главным образом, всякими там ракушками, мулями, устрицами, кальмарами, креветками, медузами, омарами и прочей склизкой и вонючей нечистью. Можно в любой момент, например, плюнуть со скалы в этот огромный и “великий” океан, а он ответит тебе сонным урчанием своих безмозглых волн, а может, и вовсе не заметит. Жалкое зрелище! Во всем мире, в сущности, нет ничего более бессмысленного, скучного и тупого, чем эти безграничные водные пространства, на которые зачем-то со всех концов света приезжают плясать впавшие в маразм престарелые туристы.

Хотя, на самом деле, я этот сериал про “Идиота” не очень-то и смотрю, так что, может быть, и зря так о нем пренебрежительно отзываюсь. Но, как я уже сказала, экранизация наверняка сильно уступает оригиналу, и в отношении идиотизма тоже. Наверняка! Просто у меня компьютер, за которым я работаю, слегка отгорожен от телевизора книжным шкафом. И вот оттуда, из-за этого шкафа, до меня и доносятся периодически всякие реплики из разных фильмов, в том числе и из этого. А если я хочу что-нибудь повнимательней рассмотреть, то

мне приходится, сидя на стуле, слегка отклоняться в сторону и выглядывать из-за шкафа.

И вот как раз в тот самый момент, когда я пишу эти строки, князь Мышкин произносит пламенную речь. Надо же, а я уже эту сцену в книге успела совсем позабыть... Нет, подумать только! Целую речугу толкнул о России, патриотизме и даже о коренном отличии католицизма от православия... Ничего себе! Во дает! Казалось бы, человек совсем плох и дам высшего света от проституток не отличает, не понимает, как стрелять из пистолета и драться на дуэли, а тут вдруг такие тонкости! Как говорится, дурак-дураком, а соображает! Ага... Сейчас перейдет к знаменитому *filioque*, которое я, вовсе не идиотка, и то все время путаю: «и от Сына» или же только «от Отца»... Когда я работала экскурсоводом в Исаакиевском соборе, то вроде бы знала, в чем заключается это главное отличие православия от католицизма, а теперь опять забыла. Ну наконец-то мне сейчас объяснят... Нет, черт возьми, не успел! Упал и забился в припадке... Да уж, поневоле такого человека зауважают во всех отдаленных уголках России. Он ведь оказался настоящим специалистом по богословию. Просто доктор наук какой-то, а не идиот!

Ну, да бог с ним, с этим фильмом! Сколько можно, в конце концов!.. Все это так, отдельные мелочи и недоработки... В любом случае, лучше чем у Толстого, который, вообще безо всякого предупреждения, втискивал целые огромные куски своей философии в романы, можно сказать, обрушивал их на голову читателя, не вкладывая ее в уста никаких идиотов. Поэтому, думаю, читатели в большинстве своем гораздо больше и уважают Толстого, чем Достоевского, считают его гораздо умнее. Еще бы! Ведь получается, что это сам Толстой такой умный, а тут какой-то идиот расфилософствовался! Глядя на него многие вообще забывают, что эту книгу написал Достоевский. Смешно сказать, но на таких вот мелочах и держится весь этот мир, точнее, весь этот океан безграничной человеческой тупости. И я вовсе не шучу! Потому что когда этот “истинно народный артист”, исполнитель роли князя Мышкина, теперь приедет в какое-нибудь отдаленное российское селение, то девяносто процентов обитателей этого селения, наверняка, будут совершенно искренне убеждены, что это к ним явился сам князь Мышкин, собственной персоной, а вовсе не артист никакой. А если он вдруг надумает к каким-нибудь чуркам поехать или же к чукчам, за Полярный круг, что тогда? Россия ведь большая, ничуть не меньше Атлантического океана... Короче говоря, в эти вещи лучше даже и не углубляться, а то “крыша” и вправду может поехать.

Зато название своей книге Достоевский подобрал удачное. Тут уж ничего не скажешь! Это название до сих пор сверкает и переливается разными оттенками смыслов, подобно дорогому многогранному алмазу. Мне почему-то даже кажется, что это название будет жить гораздо дольше самой книги и сейчас, возможно, уже отчасти ее пережило. “Идиот” – это звучит очень актуально и современно! “Болван”, например, это слишком мягко, а какой-нибудь “мудак”, наоборот, слишком грубо. А “Идиот” – в самый раз, в этом отношении эстетическое чутье Достоевского не подвело. Чего никак нельзя сказать, в частности, о названии романа “Бесы”, так как значение этого слова уже сегодня мало кто способен толком понять. А что будет лет так через сто?

Хотя в остальном Достоевский, в сущности, ничего нового не изобрел в своем “Идиоте”, даже если взглянуть на этот роман с традиционной, литературоведческой, точки зрения. Просто позаимствовал расхожий сюжет у Сервантеса, взял образ Дон Кихота да вывернул его наизнанку, превратив неудачника и идеалиста в любимца дам, даже героя-любовника, можно сказать. Таким образом он, видимо, замыслил повернуть время вспять: от Нового времени

назад к новому Средневековью. В пику Сервантесу! Чтобы по свету повсюду снова стали бродить разные бедные рыцари с лилиями, хризантемами и ромашками на щитах, поклоняясь своим избранницам и любя их исключительно издалека... Заходишь, например, куда-нибудь в кафе выпить чашечку кофе, а там уже тебя в углу поджидает какой-нибудь маньяк с деревянными щитом и мечом, да еще в пожарной каске. Все вокруг над ним хихикают, а ему все по фигу! Еще бы, ведь он же бедный рыцарь и полный идиот – с такого и спрашивать-то ничего всерьез нельзя! В каком-то смысле, сейчас все так примерно и происходит. Во всяком случае, вокруг любой заштатной поп- или рок-звезды полно таких «идиотов» ошивается, у некоторых даже на груди вытатуировано имя их избранницы. Короче говоря, все как положено! Как у Достоевского! О настоящих маньяках из триллеров и говорить нечего! Те так ратуют за чистоту своих избранниц, что чуть что – сразу топором по башке или же целлофановый пакет на голову, и дело с концом! Девяносто процентов маньяков являются самыми что ни на есть упертыми идеалистами и... можно сказать, максималистами! И все поначалу тоже испытывают глубокую и искреннюю симпатию к своим будущим жертвам.

И ведь если вдуматься, то в князе Мышкине, и вправду, есть что-то уж чересчур бесплотное, и своих избранниц он любит тоже исключительно издалека, что называется, «платонической» любовью, старается к ним особенно не приближаться. Но это еще вовсе не значит, что он, подобно Платону, на самом деле предпочитал мальчиков. Хотя у меня и был один такой знакомый, который усвоил себе ну прямо в точности такие манеры, как у Мышкина в сериале. Просто один к одному! Так вот он определенно любил мальчиков, а баб просто ловко использовал: например, жил за их счет, и вообще, обдeldывал свои дела...

Между прочим, большой специалист в подобного рода вопросах, Доминик Фернандес, с которым мне довелось несколько раз в Париже встречаться, убежден в «нетрадиционной сексуальной ориентации», скажем так, и Сервантеса, и его главного героя Дон Кихота. Он даже, помнится, написал на эту тему большую статью, которая, как предполагалось, должна была предварять юбилейное издание собрания сочинений Сервантеса. Однако издательство «Грассе», в котором готовилось это издание, в последний момент отказалось от такого «юбилейного» предисловия. Мне же доводы автора этой статьи представляются вполне убедительными. Уж больно непривлекательными и даже отталкивающими выглядят в романе Сервантеса все реальные женщины, с которыми приходится сталкиваться Дон Кихоту, а образ его тайной избранницы Дульсинеи, наоборот, чересчур идеален и бесплотен.

Что касается Достоевского, то он, как я уже сказала, все перевернул и поставил с ног на голову. Женщины у него красивы и полновесны, а сам их избранник Мышкин совсем бесплотен. Конечно, и он тоже, как бы соблюдая преемственность по отношению к своему предшественнику, старается держаться от них на расстоянии. Даже и не знаю, что бы это значило? Вот так прямо с ходу и не скажешь... Лично мне кажется, что тут Достоевский просто чуточку перемудрил. Хотя, может быть, он хотел показать, что русские женщины еще глупее, чем самый последний идиот мужского пола? Но это как-то ускользает, потому что специального слова для обозначения такой меры человеческой глупости в русском языке просто не существует.



Глава 35 Вечная женственность

Ну вот, кажется, демонстрация фильма про «трагедию русской души» и закончилась. «Трагедия русской души» – так ведь, вроде бы, называлась статья Вячеслава Иванова?! Надо же, в конце концов, внести ясность, а то вдруг кто-нибудь что-нибудь неправильно поймет. Или же Вячеслав Иванов про что-то другое писал, не про «Идиота», а про какой-то другой роман Достоевского? А какая, в сущности, разница! Я все равно его статью не читала, но содержание примерно представляю, кое-что слышала... Про то, как у Достоевского все зашифровано. Так вот, если Вячеслав Иванов писал про «Идиота», тогда, скорее всего, Настасья Филипповна – это сама Россия, она же по совместительству – Вечная Женственность, ну а князь Мышкин – это ее Жених, и ему никакая мужественность особо не нужна, так как в уже самом слове «жених» кроется нечто женственное. Само собой! Женщина обречена на вечную женственность, а жениху все по фигу... Впрочем, раз у Вячеслава Иванова все расшифровывается, то мне это делать не обязательно. Зачем дважды повторять одно и то же?

Помню, когда-то, уже очень давно, я смотрела в «Кинематографе» на Васильевском «Замужество Марии Браун» Фассбиндера, и мне поначалу этот фильм понравился, особенно Ханна Шигула в роли Марии... И что же? Не успела я смахнуть слезу после того, как в финале главная героиня случайно чиркает спичкой в заполненной газом кухне, и весь ее дом и она сама взлетают на воздух, не успела я отойти от только что пережитого потрясения, как на сцену перед потухшим экраном вскарабкался какой-то мудака с бородой и начал всем растолковывать смысл того, что только что было показано. Оказывается, Мария Браун – это вовсе не простая немецкая женщина, а сама Германия в женском облике, ну а все мужики, с которыми она в разные периоды своей жизни жила, соответственно, ее женихи, но не претенденты на руку и сердце, а Женихи – в смысле Избранники Германии. Сначала у нее, кажется, был немец, потом американец, и, насколько я помню, чуть ли даже не негр, потом опять немец, хотя точно сейчас я уже не могу сказать, но определенно не турок и не китаец...

Короче говоря, таким образом Фассбиндер отобразил достаточно большой период истории военной и послевоенной Германии. Ну а взрыв в конце – это было его такое провидческое предупреждение потомкам, тонкий намек, можно сказать, на то, чем весь этот бардак может закончиться, если все вот так будет и дальше продолжаться, и его страна будет вести столь легкомысленный образ жизни.

В результате этой мудацкой лекции впечатление от фильма у меня тогда если и не было окончательно испорчено, то порядком смазано. Помню, что я почувствовала тогда приступ скуки и раздражения, в общем, у меня осталось такое ощущение, будто я только что не фильм просмотрела, а прочитала какую-то газетную статью, которую мне незаметно подсунули под нос, когда я слегка задремала и погрузилась в мир грез. И даже игра Ханны Шигулы тоже сразу очень сильно поблекла. Еще бы! Ведь она играла саму Германию, и вряд ли это ей удалось! Германию все-таки не так просто сыграть, как Марию Браун. Я даже не знаю, как бы она могла выглядеть на самом деле – Германия! Не просто же как какая-то финтифлюшка из наркоманской тусовки Фассбиндера. Пригласили бы уж тогда Нонну Мордюкову, например...

И потом, мне было очень неприятно осознавать, что я просмотрела целый фильм и, на самом деле, так в нем ни фига и не поняла. Раньше ведь со мной такого никогда не случалось! А этот жирный мудака с бородой, закончив свою лекцию, преспокойно спустился себе со сцены, да еще под аплодисменты придурков, собравшихся в зале. Не знаю даже, чем они были все так довольны, чему аплодировали – лично меня он ужасно раздражил. Как я уже писала, люди не выносят присутствия тех, кого считают умнее себя. И я сама, видимо, тоже не исключение.

А ведь точно такую же болягу про Жениха и Германию, кажется, привязывают и к «Фаусту» Гете. Во всяком случае, я помню еще один фильм под названием «Мефисто», и там один из героев точно рассуждал на эту тему, глядя на сцену, на которой в картинной позе и эффектных нарядах стояли Фауст и Маргарита. Правда у Гете уже столько всего наворочено, что там и сам черт ногу сломит, так как у него в пьесе не то чтобы какая-то там Германия, а уже сам дьявол задействован... Тем не менее, эта пьеса до сих пор пользуется определенным спросом у немецкой публики и, главным образом, думаю, потому что, несмотря на то, что Маргарита ненароком замочила собственную мамашу, в финале с небес раздаются сладкие голоса ангелов: «Спасена!» - и это означает, что, мол, все нормально, все в порядке, за дальнейшую судьбу Маргариты можно не волноваться... Данное обстоятельство, само собой, очень утешает немцев, так как Маргарита – как-никак, их родина, где они все живут, и им важно осознавать, что в конце концов все сложится очень хорошо, даже если они начнут мочить собственных родителей.

На самом деле, вот таких произведений про «женихов» и их «избранниц», наверняка, в мировой литературе можно обнаружить до фига и больше. Коммунисты за семьдесят лет вряд ли смогли «настрогать» столько про классовую борьбу, хотя они и действовали очень целенаправленно и слаженно, а образы «женихов» и олицетворения всевозможных стран возникали достаточно хаотично и бессистемно, то тут, то там, порой в самых неожиданных местах и произведениях.

Вячеслав Иванов, на мой взгляд, вполне мог бы взять в качестве основы для своего труда про «трагедию русской души» вместо Достоевского какой-нибудь рассказ Чехова, например, «Душечку». По-моему, это было бы очень символично и пророчески! «Душечка» – это образ России, которая постоянно меняет своих избранников... Короче говоря, все понятно – можно не продолжать! Хотя лично

мне больше нравится рассказ «Попрыгунья», но я не уверена, что там можно нащупать какие-то олицетворения... Зато в этом рассказе Чехову довольно удачно удалось схватить образ ученого, который с бараньим упорством служит медицине и кропает диссертации, а его жена пытается вопреки своему туповатому супругу жить в свое удовольствие и веселиться. Однако когда ее муж случайно заражается дифтерией и умирает, то у его смертного одра появляется еще один тупоголовый коллега мужа, но еще более упертый, чем тот, и начинает ей втюхивать такую запредельную туфту про недооцененные окружающими способности ее супруга, что, кажется, все это количество сконцентрированного вокруг идиотизма, да еще при столь неприятных обстоятельствах как смерть супруга, все-таки пагубно влияет и на ее мозг, и она начинает о чем-то сожалеть и в чем-то раскаиваться. Нет, хорошо все-таки, что Чехов писал рассказы, а то продолжение этой истории, боюсь, было бы очень грустно читать.

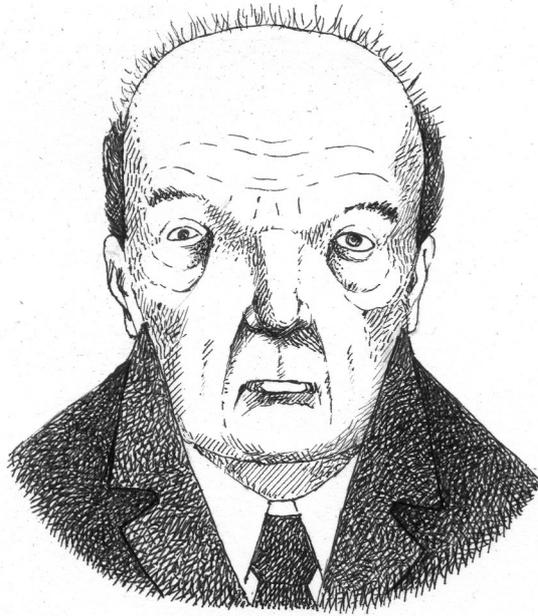
Нет никакого сомнения в том, что Булгаков тоже вкладывал в свой роман «Мастер и Маргарита» некий запредельный и символический смысл, скорее всего, что-то из той же оперы про «женихов и невест», по мотивам «Фауста» Гете... Однако у него получилось уже такое отстойное произведение, что даже ни один из мало-мальски уважающих себя отечественных философов, насколько я знаю, так до сих пор и не взялся его трактовать. В общем, даже самые тупые из гуманистичеев, каковыми являются философы, врубаются, что тут что-то явно не то. А я бы сказала, что это самое что ни на есть типичное «не то». Зато я однажды слышала, как на радиостанции «Эхо Москвы» устроили нечто вроде конкурса для своих московских слушателей, чтобы те бегали, как дурачки, по Москве и отыскивали всякие булгаковские места, за что им потом вручали разные призы. Эта «народная забава», по-моему, красноречивее всего свидетельствует о контингенте читателей данной книги. У нас в Петербурге хотя бы никто не играет в Раскольникову или же Мышкина. И то хорошо!

«Мастер» - так обычно за глаза называют моряки капитана судна, да еще в очереди иногда подвыпившие граждане обращаются к мяснику: «Эй ты, мастер!» Но «Мастер и Маргарита» – это уже слишком даже для уха самого рядового петербуржца, не то что для меня.

Однако, что бы там ни писал Вячеслав Иванов про трагедию русской души в своей статье, какую бы судьбу ни предрекал своей родине, но сериал по «Идиоту» закончился несколько неожиданно, по крайней мере, мне так показалось. Нет, хэппи-энда, конечно, не произошло. Но два здоровых мужика, валяющиеся в обнимку около бездыханного тела Настасьи Филипповны в финале фильма, – пожалуй, это было уже некоторым перебором! Ко всему прочему, вскоре из соседней комнаты, где тоже есть телевизор, вышел мой младший сын и обратился ко мне с вопросом: «Мама, они что, гомосеки?» Ну вот! Значит, такие ассоциации возникли не только у меня одной, а устами младенца, как известно, и вовсе глаголет истина.

Кстати, я не так давно где-то прочитала, что Уильям Берроуз едва не поссорился со своим издателем, когда тот попытался заменить название его романа «Пидор» на «Педик». Между ними разгорелась настоящая полемика по этому поводу. Берроуз, в частности, утверждал, что «пидор» звучит куда более благородно и мужественно, чем «педик». И кажется, в конце концов ему удалось настоять на своем. Так вот, мне почему-то думается, что если уж ставить все точки над «і» и провести до конца эту начатую не мной аналогию между Дон Кихотом и Мышкиным, то можно, наверное, было бы самое главное отличие между ними сформулировать еще и таким образом: Дон Кихот – это самый что ни на есть настоящий мужественный пидор, в том смысле, на котором с таким упорством настаивал Берроуз. А вот князь Мышкин – это, по-моему, все-таки

педик. Увы! Я знаю, что очень многие со мной не согласятся и даже бросятся спорить, начнут возмущаться, но основное различие между Дон Кихотом и Мышкиным заключается именно в этом. И другими словами его, это различие, на мой взгляд, просто не передать!



Глава 36 Вечное возвращение

Напрасно все-таки Достоевский ляпнул, не подумав, что, мол, «все мы вышли из гоголевской «Шинели»». Во-первых, я терпеть не могу, когда кто-нибудь вот так вдруг начинает вещать от лица всех: «мы». Пусть это даже будет сам Достоевский. На редкость мудацкая манера! Вот он точно вышел из гоголевской «Шинели» – так и говорил бы про себя: «Я вышел...» А то подобные высказывания надолго потом сбивают с толку безмозглую толпу. Стоит только какому-нибудь авторитетному писателю, а тем более, так называемому «классику», с глубокомысленным видом изречь какую-нибудь сногшибательную глупость, как все потом сто лет будут, как попугаи, ее повторять. Не помню уж, кто первый изрек про Пушкина: «Наше все!», - кажется, Тютчев, а может быть, опять Достоевский или же Фет... И вот все до сих пор так и долдонят: «Наше все, наше все...» И выражение-то какое-то нечеловеческое, – по-моему, по-русски так вообще не говорят: чем-то даже напоминает современный рекламный щит с надписью типа: «Твой аромат – твои правила!» Сейчас такие плакаты на каждом шагу попадаются, но ведь в XIX веке русский язык так не коверкали.

Нет. Каждый писатель «вышел» из чего-то своего, причем часто из чего-то такого, о чем другие даже и не догадываются, а может быть, он и сам толком не понимает. Мне, например, кажется, что из какого-нибудь Алексея Толстого и его «Хождения по мукам» тоже многие вышли и самым неожиданным образом. Да хотя бы вот из той сцены, где некий пресыщенный и утомленный жизнью поэт Бессонов совращает одну из сестер, не такую уж и юную, в общем-то, особу. Прообразом Бессонова, как известно, был Александр Блок – так, во всяком

случае, часто говорят и пишут «толстоведы»... Таким образом, Алексей Толстой как бы незаметно подводит читателей к мысли, что оскорбленные в лучших чувствах сестры Катя и Даша впоследствии с неизбежностью должны преисполниться ненавистью к царскому режиму и вообще всей старой рафинированной культуре, мешавшей невинным и простодушным существам вроде Кати, Даши, Горького и самого Алексея Толстого самоутвердиться в этом мире.

Одним словом, мне почему-то кажется, что именно из этой сцены вполне могла родиться «Лолита» Набокова, в которой уже главный герой Гумберт Гумберт оттягивается на тупой обывательской мамаше Лолиты, как бы мысленно отыгрываясь на ней за Блока-Бессонова, которого бессмысленные наглые матроны вроде нее и Кати-Даши с чисто детской непосредственностью и невинностью втоптали в грязь. Честно говоря, я никогда не была большой поклонницей Набокова, но тем не менее, сцена чтения дневниковых записей своего нового мужа мамашей Лолиты, должна признаться, доставила мне несколько приятных минут. Жаль, что в романе эта сцена длится очень недолго, и мамаша Лолиты почти сразу после этого попадает под автомобиль. Трагическая участь всех американских домохозяек, включая Митчелл! Последнее обстоятельство особенно огорчительно, так как отсутствие в романе этой законченной идиотки сразу же лишает его настоящего напряжения, и все действие постепенно скатывается к банальной педофилии, временами переходящей чуть ли не в тошнотворную роковую любовь... В конце концов, Набокову ничего не остается, как кое-как завершить свой роман, так как его юная Лолита, ко всему прочему, грозит вырасти в очередную перезрелую и рассерженную на весь мир Настасью Филипповну, уже однажды описанную Достоевским, которого, как известно, Набоков сильно недолюбливал.

И при чем здесь «Шинель»? Если внимательно проследить за моей мыслью, то получается, что все «мы» (признанные и непризнанные классики русской литературы, включая Достоевского) вышли из «Сестер» Алексея Толстого! Вот так! Не сомневаюсь, что теперь толпа безмозглых олигофренов еще лет двести будет мусолить вслед за мной это мое открытие... Хотя, честно говоря, я совсем недавно до такого додумалась, даже сама себе немного удивляюсь. А получилось почти как у Ницше. Вечное возвращение! Круговорот Лолиты, Кати, Даши и Настасьи Филипповны в природе!

Смешно сказать, а ведь раньше, когда мне попадалось в какой-нибудь статье, – например, в Литературной Энциклопедии – имя Набокова, у меня перед глазами сразу же всплывала узкая, раздвоенная на конце, наподобие вилки, рыбная кость с натянутой между острыми кончиками струной. Только и всего! Правда эта ассоциация сохранялась только до тех пор, пока я думала, что имя Набоков произносится с ударением на первом слоге... По правде говоря, это даже трудно сейчас объяснить – со стороны выглядит даже как-то неправдоподобно. А ведь нечто подобное я могла бы сказать и про Бальмонта.

Помню, однажды одна из моих университетских сокурсниц поправила меня: «Не Бальмонт, а Бальмóнт!» – с ударением на последнем слоге, и в ее голосе прозвучало невыносимое презрение. В тот день я совершила еще одну ужасную оплошность. Вместе с нами на курсе училась девочка по фамилии Балмон, она казалась мне очень красивой: большие серо-голубые глаза, маленький изящно очерченный ротик, прямой нос, длинная толстая русая коса – настоящая икона, сказочная красавица, сошедшая с картины Васнецова. С тех пор, правда, мои представления о красоте сильно изменились, но тогда она казалась мне просто неземной красавицей. Хотя моя подруга Лара обратила мое внимание на то, что у Балмон очень толстые уродливые ноги, но она всегда носила длинные юбки,

закрывавшие даже щиколотки, так что этот дефект не так уж бросался в глаза. И я осмелилась предположить, что, возможно, Балмон – такая неземная возвышенная красавица, дивное создание – является правнучкой или еще какой-нибудь отдаленной родственницей Бальмонта. Но тут уже ее подруга, толстая круглая бесформенная девушка в очках, презрительно глядя даже не на меня, а куда-то поверху, отчеканила: «У Бальмонта не было сыновей. У него было две дочери». Я буквально онемела перед столь поразительной осведомленностью, мне нечего было возразить. К тому же, я еще и ударение в фамилии Бальмонта неверно ставила... Я почувствовала себя жалкой убогой идиоткой.

Хотя, на самом деле, и сам Бальмонт был очень странным персонажем. Всю жизнь зарабатывал переводами, а значит, был не особо богатым. У меня на книжной полке и теперь стоит целое антикварное собрание сочинений Кальдерона в переводах Бальмонта... Тогда на какие же шиши он объездил весь мир: побывал на Канарах, Балеарских островах, в Африке, Испании, Америке? Годами жил в Париже? С трудом верится, что все расходы компенсировали издатели его переводов – переводчики всегда влачили жалкое нищенское существование. Однако больше всего у Бальмонта я люблю переводы Эдгара По и еще, конечно, его фамилию, именно так, с ударением на последнем слоге, на французский манер. А вообще-то, он, бедняга, явно страдал психическим расстройством: в молодости сиганул из окна третьего этажа, потом примкнул к революционерам, периодически менял баб и даже в стихах воспевал свой якобы очень «сладкий поцелуй»... Короче говоря, что-то есть в нем и от меня самой, точнее, в этих странных несоответствиях и перипетиях его личной жизни, и главным образом, в его манере впадать в крайности. Нет, и вправду, он чем-то похож на меня, но от этого я не чувствую к нему особой симпатии. Отнюдь! Мне нравится в нем только та часть его личности, которая раздражает всевозможных литературоведов. Чем-то в этом отношении он даже напоминает мне Северянина, хотя, на самом деле, до Северянина ему далеко. Почти так же далеко, как мне до Чарской! Как ни крути, но Северянин не утруждал себя переводами, потому что по-настоящему царственный поэт никогда не возьмется за это лакейское и унижительное занятие, даже если будет умирать с голоду.

Тем не менее, несмотря на очевидность всего того, что я только что высказала, всех этих моих догадок, прозрений и неопровержимых аксиом, сам Набоков вряд ли когда-нибудь, даже в мыслях, был способен представить себя «вышедшим из Алексея Толстого». Трудно себе такое вообразить. И все-таки, это именно так! К счастью, сам Набоков уже давно помер, и мне не придется вступать с ним в какие-либо длинные препирательства на этот счет. Что хочу – то и говорю! Большинство людей вообще очень плохо осознают самих себя, и вступать с каждым в препирательства, что-то им доказывать – очень утомительное занятие, на которое не хватит ни времени, ни сил. Итак, Набоков, как и все мы, вышел из «Сестер» Алексея Толстого! И если Набоков чем-то недоволен, то пусть себе лежит в своей могиле и помалкивает, раз уж ему так не повезло, и он умер раньше меня. Может даже в знак протеста перевернуться в гробу – да сколько угодно – я не возражаю, мне от этого ни холодно, ни жарко!

Хотя я и признательна ему за несколько приятных минут, которые я вместе с этой безмозглой мамашей Лолиты провела за чтением дневника Гумберта Гумберта. И более того, готова признать, что в этом месте своего романа ему даже удалось достичь некоторой символической обобщенности, естественно, в меру отпущенных ему свыше способностей. Потому что все эти «дамы бальзаковского возраста» вроде лолитиной мамы и вправду бывают очень утомительны и надоедливы, так что хочется иногда немного отвести душу. Что я при помощи Набокова и сделала!

Правда сегодня, наверное, нет уже никакой необходимости говорить всерьез о каких-то там «отпущенных свыше способностях» писателя, «божьем даре», «искрах вдохновения» и т.д., и т.п. – вся эта возвышенная туфта давно устарела. Так что лично я употребляю это выражение разве что просто так, шутки ради... На самом деле, все гораздо проще. Писатель способен достичь символической обобщенности и убедительности ровно в той мере, в какой у него накопилось настоящей злобы к потенциальному объекту своего описания. И пример Набокова – лишнее тому свидетельство. Насколько он ненавидел всяких обывательских баб, которые его на протяжении жизни всячески доставали, настолько ему эта, уже неоднократно упоминавшаяся мной тут сцена с дневником и удалась. А попутно он еще немного отомстил за таких, как Блок и Кузмин, но это уже не так и важно... Короче говоря, никакого вмешательства высших сил писателю не требуется. А перефразируя известное высказывание знаменитого боксера-тяжеловеса, которое тот изрек, когда ему еще окончательно не отшибли мозги, я бы так сказала: «Писатель должен порхать среди разнообразных цветов жизни, подобно бабочке, ну хотя бы для того, чтобы все думали, что он собирает и разносит необходимую растительному миру пыльцу, а потом вдруг — раз, и жалить, как пчела, то есть выпускать в цель накопившийся у него за все это время яд!» На большее, к сожалению, писатель не способен, но хотя бы это...

Набоков, в сущности, так и поступил. Большинство обывателей думали и продолжают думать, что он просто очень любит эту малолетнюю Лолиту, и доверчиво тянут свои невинные «детские» ручонки к его роману, но не тут-то было – там их все-таки ждет несколько весьма неприятных минут.



Глава 37 В лучах заходящего солнца

Как я ни старалась быть предельно точной и внимательной к мелочам, как ни настраивала себя на серьезный лад, садясь за очередную главу своей истории, а все-таки с Северяниным опять прокололась. Только я написала, что этот царственный поэт никогда бы не опустился до такого презренного занятия, как

перевод, и опять получаю письмо из Эстонии от все того же компетентного человека, в котором он пишет, что Северянин в последние годы своей жизни чуть ли не одними переводами и жил, и переводил он – кто бы мог подумать – главным образом, с эстонского. Заглянула в Литературную энциклопедию и глазам своим не поверила: Северянин переводил еще и с немецкого, французского, польского, сербского и... даже еврейского. Надо же! С ума можно сойти! А я-то думала... Более того, Северянин сегодня в Эстонии известен чуть ли не исключительно, как переводчик эстонского поэта Хенрика Виснапуу. Вот так! Как говорится, век живи – век учись! Ученье – свет, а неученье – тьма! Знание – сила!... А с другой стороны, пускай думает лошадь, у нее голова большая!.. Вот, разве что, эта последняя поговорка меня немного утешает. Или же еще: много будешь знать – скоро состаришься! Именно! Состаришься и проведешь остаток своих дней за переводами великого сенегальского поэта Леопольда Сенгора, сына Инчу-Чуна. И самое смешное, что тебя даже абсолютное незнание какого-нибудь местного суахили не спасет, а вполне хватит французского, потому что Сенегал – бывшая французская колония, и этот Сенгор, не будь дураком, писал по-французски. И вот тогда-то ты и пожалеешь, что в детстве тебя зачем-то выучили французскому. И еще как! Это знание тебе выйдет боком.

Но шутки шутками, а одна моя подруга в Париже в свое время пыталась окрутить сына африканского царька. С собой этот потомок древнего царского рода очень сильно напоминал лягушонка: маленького росточка, весь сгорбленный, с приплюснутым лбом, толстыми, вывернутыми наизнанку губами, да еще с каким-то невероятно темным цветом кожи лица, а вот ладони у него почему-то, наоборот, были светлые, не то чтобы совсем белые, но гораздо светлее, чем лицо. Короче говоря, ни дать, ни взять, вылитый Сенгор, если только верить портрету в книге его стихов, которые я когда-то в школе вынуждена была учить на французском в качества задания по внеклассному чтению. Однако правильно написал один русский поэт: «Что есть красота? Сосуд она, в котором пустота!» И моя подруга точно так же считала! Потому что этот маленький черный принц жил в совсем не маленьких роскошных апартаментах, да еще в самом центре Парижа, на улице Лепик. Однако этот уродливый негр не захотел связывать свою судьбу с моей приятельницей, несмотря на то, что внешне она была очень эффектная блондинка, а просто, как бы это поточнее выразиться, немного «попользовался» ею и бросил. В результате, от всех этих переживаний она даже угодила в дурдом, и мне пришлось какое-то время носить ей туда передачи. Но может быть, это и к лучшему, а то еще неизвестно, где бы она могла оказаться на старости лет и чем бы ей пришлось тогда заниматься. С каких языков и на какой переводить! И хорошо еще, если переводить! Сидела бы она сейчас в какой-нибудь жалкой лачуге в Африке и пряла на прялке пряжу, чтобы добыть себе деньги на пропитание. Потому что в Африке постоянно случаются всевозможные перевороты и революции, и тот, кто был всем, запросто в любой момент может стать ничем. А так она сейчас совсем неплохо устроилась, нашла себе нормального мужа и, насколько я знаю, часами просиживает у телевизора, ничем особенно себя не утруждая... В иные минуты я ей очень завидую, но стараюсь не подавать вида, потому что, мне кажется, она, в свою очередь, втайне сильно завидует мне, так как я для нее – писательница с мировым именем, а она – самая обыкновенная домашняя хозяйка.

Ну да ладно, ладно... Порой я и сама удивляюсь, откуда у меня такое предубеждение против всяческих знаний? Может быть, это как-то застряло в подсознании и связано с детскими впечатлениями от разных приключенческих фильмов? Ведь чуть ли не в каждом из них какой-нибудь матерый преступник

или же одноглазый пират, склоняясь над еще не успевшим окончательно охладеть трупом своего бывшего соратника, зловещим голосом произносил: «Он слишком много знал!» Да уж, насмотревшись в детстве подобных фильмов, человек поневоле на всю жизнь сохранит в своей душе глубокое недоверие к знаниям. Удивительно, что в советские времена то и дело устраивались всякие кампании по улучшению общего морального и физического состояния народа, – например, во время борьбы с пьянством даже из песен и классических романсов вроде «Поднимем бокалы, содвинем их разом...» выбрасывались любые упоминания об алкоголе, – а вот о серьезной пропаганде знаний, кажется, так никто толком и не задумался. Поэтому выпускники советских школ и детсадов и остались на всю жизнь чуточку дефективными, даже если их родители, воспитательницы и учителя постарались их в детстве чему-нибудь научить. Во всяком случае, я сама это очень хорошо ощущаю, ибо бессознательно до сих пор испытываю чуть ли не панический ужас перед всякими знаниями, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что все это глупости и предрассудки... Главное – найти источник этих страхов, понять, что это из фильмов, и тогда все постепенно пройдет.

Однако самый царственный русский поэт известен сегодня в Эстонии исключительно, как переводчик Хенрика Виснапуу! Надо же! Вот так проходит слава земная! И я тоже сегодня во Франции известна, главным образом, как переводчица Селина. А ведь всего несколько лет назад у меня на родине на презентации моих книг выстраивались целые толпы поклонников, и некоторых из них даже туда не пускали, настолько там было тесно от скопления людей!

Вот на днях я перебирала свои старые бумаги и натолкнулась на одну газетную заметку о себе, содержание которой показалось мне настолько нереальным и далеким, что эту заметку, пожалуй, сегодня впору было бы уже публиковать где-нибудь под рубрикой «О чем писали газеты в прошлом веке». А ведь и вправду, если вдуматься: хотя описанные в ней события и происходили сравнительно недавно, но все равно уже в прошлом веке.

Книжная полка

Хорошенького понемножку

К сожалению, это так. К сожалению, тираж хороших книг нынче невелик – например, роман Маруси Климовой "Домик в Буа-Коломб" издан тиражом всего 100 экземпляров. Однако спасибо "Митиному журналу" и за эту сотню, иначе текст так и остался бы для нас тайной.

18 сентября в Art-Collegium состоялась презентация книги, на которой критик и искусствовед Михаил Трофименков сказал, что писатель Маруся Климова куда значительнее тех авторов, которых она переводит: "Селин и Жене должны плакать от зависти". Художник Тимур Новиков, оформивший книгу, сообщил изумленной публике о том, что Марусе Климовой присуждена Рокфеллеровская премия "За литературную хватку и создание образа русского интеллигента с человеческим лицом". Я, оставив в стороне соображения приличий, сразу спросила у счастливого автора о денежном содержании премии – оно составляет три тысячи долларов, поэтому поздравления были небезосновательными, особенно по нашим временам.

Маруся Климова, она же Татьяна Кондратович, – не только писатель, но и журналист. Она корреспондент "Независимой газеты" и радио "Свобода". По собственному признанию Тани, журналистская работа все больше мешает писательскому творчеству, поэтому она в скором времени намеревается от нее отказаться. На мой резонный вопрос – на что же тогда жить?! – Таня ответила, что надеется на издание своих книг за границей. Первый роман Маруси Климовой "Голубая кровь" переведен на итальянский, японский и французский языки, скоро появятся немецкий и чешский переводы. Первое зарубежное издание намечается в Париже в издательстве "Граси", второе – в Италии, в издательстве "Воланд".

Гостей вечера интересовало, как сосуществуют Маруся - героиня романов и Маруся - журналист. "Очевидно раздвоение личности", - задумчиво ответила Маруся.

Как бы то ни было, новые книги выходят, что в наши мрачные времена поистине достойно удивления, радости и подражания.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ.

«Невское время» No 173 (1815) 23 сентября 1998 г.

Но вернемся к Хенрику Виснапуу и его переводчику Игорю Северянину. Кто сегодня в России знает этого Хенрика Виснапуу? Да, кто?!.. Боюсь, что практически никто! И вот это обстоятельство кажется мне самым печальным и поучительным во всей этой бесконечно грустной истории. И я вовсе не хочу сказать, что этот Хенрик Виснапуу тоже является дикарем и сыном Инчу-Чуна, обитавшим некогда в одной из колоний России, но так почему-то и не удосужившимся научиться писать по-русски. Последнее, возможно, даже и к лучшему! Иначе бы, чего доброго, Северянину в конце жизни пришлось его переводить обратно на эстонский. А это уже было бы явным перебором даже для нашего абсурднейшего из миров!

Напротив, я нисколько не сомневаюсь, что Виснапуу является тончайшим и проникновеннейшим поэтом, раз уж его взялся переводить сам Северянин! Меня, скорее, смущают явные пробелы в собственном образовании. Почему я никогда не слышала эту фамилию? И вообще, что я знаю об Эстонии, кроме того, что это родина Георга Отса, Йака Йоллы и Тыниса Мягги? Я не уверена даже, что правильно пишу все эти фамилии. Зато в моей голове постоянно вертятся какие-то фантастические грузинские имена, вроде Галактиона Табидзе или же Ираклия Абашидзе, не говоря уже о Важа Пшавеле и Шота Руставели. Еще бы! «Витязь в тигровой шкуре» – это чуть ли не более значительное произведение, чем «Слово о полку Игореве»! Так, во всяком случае, мне внушали с детства, и имена этих поэтов я хорошо запомнила, хотя ничего внятного, вышедшего из-под их пера, мне никогда не попадалось, несмотря на то, что их очень интенсивно переводили на русский Пастернак и, кажется, Заболоцкий. И тот, и другой, судя по всему, были в полном восторге от грузинской поэзии, но, тем не менее, эта их любовь как-то мне не передалась. Однако до самого последнего времени я все равно пребывала в убеждении, что население Грузии на девяносто девять процентов состоит из беззаботных веселых интеллектуалов, привыкших коротать время за бокалом хорошего вина и упражнениями в версификации. Тогда как в соседней с Петербургом Эстонии обитают, может быть, внешне и очень вежливые, но чрезвычайно тупые “чухонцы”... А что же мы видим теперь? К чему все пришло?!

Грузия, как оказалось, поголовно населена вовсе не интеллектуалами, а “ворами в законе” и беглыми преступниками, начисто лишенными какого бы то ни было обаяния и веселости. И чего же от них ждать? Разве что, в ближайшее время в Тбилиси, того и гляди, снесут памятник Грибоедову, если только там таковой имеется. Более того, у меня теперь появилось сильное подозрение, что и «Витязь в тигровой шкуре» – это не просто точно такое же фуфло, как “Слово о полку Игореве”, а нечто, чего титанические усилия Заболоцкого и К°, переводивших этого «Витязя», так и не смогли донести до русского слуха и глаза. Об этом «нечто» сегодня можно только догадываться. Хотя и «Слово» тоже ни один нормальный человек никогда не сможет осилить, даже если он и привык с детства очень гордиться этим “шедевром”.

Ну а в Эстонии, по крайней мере, есть знаменитый Тартуский университет, отчего там почти каждый второй является если и не его профессором, то хотя бы выпускником. Ведь Эстония – совсем небольшая страна, поэтому в процентном отношении, наверняка, так примерно и выходит: каждый второй... Там любят и

ценят Северянина, как переводчика никому неведомого в России загадочного Хенрика Виснапуу. И наконец, насколько мне известно, мои книги на полках крупнейшего в Таллинне книжного магазина стоят на самом видном месте рядом с объемистым научным трудом про того же Северянина.

И о чем все это говорит? Надо бы, пожалуй, внести хоть какую-то ясность во все эти мои беспорядочные наблюдения и рассуждения, а то мне и самой начинает казаться, что я в них окончательно запуталась. Даже не знаю, что из всего этого следует... Хорошо бы мне научиться до конца додумывать свои мысли и быть повнимательней к мелочам – это два моих самых главных недостатка! В общем-то, ничего особенного не следует, приходится это признать.

Впрочем, что касается Северянина, то, как я уже писала, он в конце своей жизни напоминает мне последнего китайского императора, который тоже на закате своих дней вынужден был работать садовником. В конце концов, эти новые факты его биографии только еще больше работают на образ.

Северянин – последний по-настоящему царственный поэт в русской литературе, в своем роде “последний император”, свергнутый с трона и вынужденный перебиваться переводами. О, я очень хорошо себе представляю эту картину! Седенький старичок склоняется над томиком Сюлли-Прюдома подобно тому, как император Пу И – над увядающей чайной розой... В лучах заходящего солнца.

Зато Чарская уж точно не занималась переводами! Я даже в энциклопедию заглядывать не стала – скорее всего, ее там вообще нет. Буду отныне во всем равняться исключительно на нее. Больше не на кого!



Глава 38 Поэзия или смерть!

...к тому же, Чарская писала главным образом прозу, а не стихи. И тут, закончив эту фразу, я вдруг поймала себя на мысли: “А в чем, собственно, дело?... Что случилось с поэзией? Почему она так низко пала сегодня в глазах людей?” Впрочем, я и сама уже как-то констатировала, что поэзия сейчас не просто

умерла, а уже успела основательно разложиться. Однако не поспешила ли я со своим заключением?

Никогда не забуду, как в самом начале девяностых только что вернувшийся из эмиграции очень известный русский писатель не без гордости заявил в интервью российской газете, что за годы своего отсутствия на родине он успел превратиться из жалкого рифмоплета, каковым когда-то по глупости и по молодости был, в автора увесистых томов прозы. Дословно я его высказывание уже сейчас не помню, но смысл признания был именно таков, к тому же и позднее он очень часто повторял эту мысль, разве что слегка ее варьируя... И в самом деле, кто, например, всерьез воспринимает литературу современной Греции, а ведь там, если я не ошибаюсь, в прошедшем столетии было чуть ли не четыре нобелевских лауреата по литературе. Ну и что? Кому это интересно? А все потому, что, наверняка, все эти лауреаты были поэтами, а не прозаиками... Нисколько не сомневаюсь, что все дело именно в этом! И подобных примеров можно было бы привести еще немереное множество. Однако общая тенденция, думаю, ясна и без того: поэзия, в отличие от прозы, в современном мире котируется очень низко. Во всяком случае, очень многие причастные к литературе люди, в том числе и достаточно известные, так считают и не стесняются признаваться в этом во всеуслышание.

Стоит ли удивляться после этого, что сегодня то и дело приходится слышать, будто бы поэзией должны заниматься исключительно женщины, а в прозу им лучше и вовсе не соваться. Само собой, чаще всего говорят об этом прозаики мужского пола, и это-то как раз и наводит меня на грустные размышления. Еще бы! Ведь выходит, что поэзия теперь в глазах многих – это нечто вроде мытья посуды или же стирки белья, которые мужчины обычно тоже целиком взваливают на женщин. Более того, именно эту сферу человеческой деятельности принято отождествлять с самыми неприглядными серыми буднями, черновой малопrestижной работой домашней хозяйки, “прозой жизни”, иными словами. Вот так! Получается, что поэзия, возможно, вовсе и не умерла, как мне казалось, а просто полностью переродилась и превратилась в некогда “презренную прозу” или же, по крайней мере, окончательно поменялась с ней местами, потому что когда-то, если, конечно, я опять ничего не путаю, поэзия считалась высшим литературным жанром. Например, в Китае поэтов в древности, кажется, даже называли “небожителями”.

Почти не сомневаюсь, что размышления на схожую тему уже посещали Хайдеггера, Ясперса, Деррида, Гадамера, Шпенглера и других крупнейших мыслителей XX века... Но, пожалуй, наиболее яркой иллюстрацией моей мысли может служить последняя экранизация произведений Александры Марининой: некоторые сцены отчетливо запечатлелись у меня в памяти. Особенно мне запомнилась откровенная перевернутость или же, выражаясь по-научному, инверсия в отношениях главной героини со своим мужем, которые как бы полностью поменялись традиционно отводившимися в семье мужчине и женщине ролями. Героиня-следователь целиком поглощена своей работой по поимке опасных преступников-рецидивистов, совершающих разбойные нападения и кражи со взломом – возвращаясь домой, она усталым и небрежным жестом скидывает с себя верхнюю одежду и тут же направляется к дивану, а ее муж-физик просто не вылезает с кухни и то и дело появляется в кадре, облачившись в комический передник и со шваброй в руках. В довершение всего, он еще и говорит каким-то неестественно тонким и блеющим голосом: “Дорогая, что ты сегодня будешь ужинать?..” Очень удачная иллюстрация, на мой взгляд, – нарочно не придумаешь! Столь же комично должен выглядеть сегодня и любой мужчина-поэт, если уж быть последовательным и довести до логического

завершения мои догадки об инверсии традиционных представлений о поэзии и прозе в сознании современного человека. А если еще учесть, что сама писательница Маринина – бывший следователь, то главная героиня, вне всякого сомнения, является еще и alter ego автора-прозаика, причем достаточно успешного. Эта существенная деталь позволяет с легкостью представить на месте ее комичного мужа практически любого из современных поэтов-мужчин, будь то Вознесенский, Евтушенко, автор российского гимна Михалков или же даже увенчанный Нобелевской премией Бродский.

Так что смерть поэзии – это еще куда ни шло. А вот подобное унижительное ее “перерождение”, в определенном смысле, гораздо хуже смерти и окончательного разложения. Аналогии тут напрашиваются сами собой. Не случайно ведь вожди всяких там революций и борцы за независимость, как правило, выдвигают лозунги “Свобода или смерть!” или же “Родина или смерть!”, из которых следует, что даже самые слаборазвитые и веками прозябавшие в порабощении народы рано или поздно вдруг начинают осознавать, что в самом факте смерти еще нет ничего страшного, а есть вещи и похуже. Объективно, может быть, это и не совсем так, но все равно, видимо, существует нечто такое, что заставляет людей время от времени с пафосом восклицать: “Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!” Подобного рода декларации означают, что, вне зависимости от цвета кожи и умственного развития, человек по своей природе существо очень гордое и независимое.

Короче говоря, наблюдая за всеми этими процессами в современной литературе, я постепенно пришла к выводу, что, видимо, слегка поторопилась, объявив поэзию мертвым и полностью разложившимся жанром. В реальности с поэзией дела обстоят гораздо печальнее, чем мне казалось. Если, конечно, перечисленные мной выше тезисы о том, что в этом мире существуют вещи худшие, чем смерть, имеют под собой хоть какие-то разумные основания. Поэзия сегодня пребывает в столь униженном и жалком состоянии, что, того и гляди, из все еще весьма внушительной по размерам толпы поэтов вдруг неожиданно выскочит какой-нибудь совершенно отъехавший “команданте Че” и возопит: “Поэзия или смерть!” Последствия такого красивого жеста сегодня тоже очень легко предсказать: через полвека примерно две трети человечества будут носить майки с его изображением на животе, а маститые прозаики будут делать себе имя и бабки, всячески романтизируя и приукрашивая этот “светлый образ”, за которым, на самом деле, скрывается очередной вчерняк обкуренный и обдолбанный, а может, и просто совершенно невменяемый мудака.

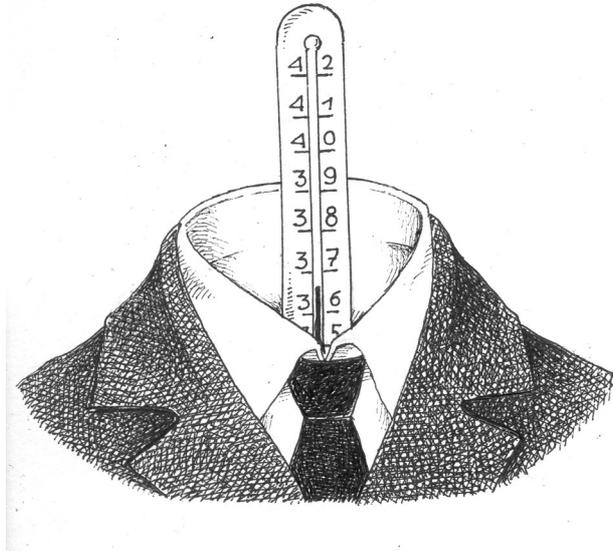
Возможно, я чересчур категорична в своих суждениях, однако мое раздражение вполне объяснимо, потому что подобные резкие движения и обреченные на поражение душевные порывы только еще больше укрепляют обывателей в их глубочайшем презрении к поэзии и побуждают их еще плотнее сплотить свои ряды. А заслуживает ли поэзия такого презрения? Безусловно, да! Иных мнений тут и быть не может! Хотя лично я, пожалуй, и не стала бы слишком выделять поэзию из других видов человеческой деятельности, как это происходит теперь. Пока же, увы, мужчины по праву сильного всячески стараются спихнуть подобное гнусное ремесло на плечи женщин. По-моему, это не только несправедливо, но и к тому же является очень опасной тенденцией! Куда более приемлемым и нормальным было бы по-прежнему делить это занятие между мужчинами и женщинами, как фактически и происходит сейчас – наподобие того, как самую черновую и грязную работу по дому делят между собой мужья и жены в нормальных и дружных семьях. То есть предпочтительнее, все-таки, было бы пока все оставить как есть, что позволило бы избежать возможных крупных скандалов, переворотов и иных социальных потрясений. А

там, глядишь, по мере продвижения человечества по пути прогресса поэзия, как жанр, и сама окончательно отомрет. Надо просто набраться чуточку терпения. Изобрели же, в конце концов, посудомоечные и стиральные машины-автоматы, вот и с поэзией что-нибудь постепенно придумают, на худой конец, научат рифмовать слова компьютер и избавят наконец женщин от этого нудного и бессмысленного занятия. Думаю, что этим когда-нибудь все и кончится. Главное, не дергаться раньше времени!

Между тем, тенденция к подобному несправедливому “распределению обязанностей” в литературе между мужчинами и женщинами сильнее всего проявилась в развитии русской литературы XX века, когда, как известно, самыми выдающимися поэтами стали именно женщины: Цветаева и Ахматова. Но если судьба Ахматовой сложилась еще более или менее удачно, и ей, по крайней мере, удалось дожить до глубокой старости, то пример Цветаевой не может не настораживать. Что бы там ни говорили о ее вздорном характере, но, по-моему, нет ничего удивительного в том, что Цветаева свои дни закончила в качестве посудомойки в провинциальной писательской столовой. На мой взгляд, это очень даже символично, так как питались в этой столовой, в основном, прозаики мужского пола.

Помню, один мой знакомый московский художник как-то, ни с того, ни с сего начал допытываться у меня, как я отношусь к Цветаевой. Его мастерская находилась как раз на площади, где стоит памятник Юрию Долгорукому. И он, подойдя к окну и засунув руки в карманы, задумчиво любовался открывавшимися сверху просторами. Лица его мне было не видно – я видела только темную квадратную фигуру с широкими плечами и толстыми, крепкими и короткими, как у статуи, ногами. «Женщины обычно ее не любят...» - начал он, как бы подсказывая мне возможный ответ и великодушно заранее предоставляя пространство для маневра. «Нет, я очень люблю Цветаеву, она замечательная. И ее трагическая судьба, ее стихи...» - я даже едва не задохнулась тогда от негодования. А он только устало вздохнул и задумчиво посмотрел на меня: «Так я и думал!» – было написано в его взгляде. Вероятно, и на самом деле, было во мне что-то такое, что заранее позволяло предположить подобный ответ – опять же, хотя бы на уровне того же животного чутья. А этот мой знакомый, из чувства деликатности и, видимо, желая перевести разговор на другую тему, тут же стал мне рассказывать, как у него приключился гайморит, и из носу после операции вытягивали чуть ли не целый километр бинтов.

Впрочем, все это было уже очень много лет назад, и теперь-то я понимаю, что мужчины, скорее всего, специально подсовывают женщинам таких, как Цветаева, в качестве примера для подражания, чтобы те взваливали на себя самую неблагоприятную и черную работу, в том числе и по дому, в то время как они сами будут заниматься любимым делом: например, выслеживать и отлавливать матерых преступников-рецидивистов, а потом, соответственно, описывать все это в книгах и купаться в лучах славы.



Глава 39 Человек-ртуть

Но на чем основывается это глубочайшее презрение к поэзии со стороны подавляющего большинства современного человечества? Именно “глубочайшее”, иначе не скажешь, потому что это чувство укоренено где-то в самых отдаленных и скрытых от поверхностного взгляда глубинах человеческого подсознания и обычно дает о себе знать неявным образом, на уровне всевозможных оговорок и инстинктивных жестов. Мне кажется, что, описав в общих чертах положение поэзии в современном мире, я еще не до конца разобралась в причинах... Кстати, в самом начале своей истории русской литературы я уже определила гения, как человека, которого окружающим не удастся поймать на каком-нибудь из таких “обывательских жестов” и оговорок. Но стоит только писателю “попасться” на чем-либо подобном, как – все! Прощай вечность! Он может стать кем угодно, хоть лауреатом Нобелевской премии, однако гением ему уже никогда не быть: он навечно будет изгнан из Пантеона избранных... Просто таковы правила игры, существующие в культуре, и не я их выдумала. Должна же культура хоть как-то защищаться от посягательств на ее главные ценности!

Впрочем, все это настолько очевидно, что, наверное, лишний раз можно было бы и не напоминать. Это и так все понимают. Однако очевидность существующих в культуре правил вовсе не делает их простыми и легкими для исполнения. И это тоже понятно. Например, в футболе или же боксе правила прописаны не менее ясно и четко, чем в культуре, тем не менее, гениальных футболистов и боксеров, способных переиграть противника по правилам, не хватая мяч руками и не нанося удары ниже пояса, тоже не так уж много. То есть даже тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Правда футболистов и боксеров повсюду сопровождает придирчивый и хорошо натренированный судья, который педантично фиксирует все ошибки и нарушения, постоянно рискуя попасться под горячую руку спортсменов и возбужденных зрителей. Зрители, между прочим, чаще всего недовольны действиями судьи, особенно, если им кажется, что он как-то чересчур придирчив

к тем спортсменам, за которых они болеют. Однако где-то в глубине души даже самые заядлые и отмороженные болельщики понимают, что спортивное состязание без соблюдения элементарных правил рискует и вовсе утратить всякий смысл и зрелищность. И скорее всего, это действительно так. Впрочем, я говорю об этом слегка наугад, просто эта спортивная аналогия – первое, что пришло мне в голову, так как я вряд ли могла бы назвать себя азартной спортивной болельщицей. И все-таки, при всем моем равнодушии к спорту даже я в состоянии отметить, что самым скучным зрелищем, которое мне когда-либо приходилось наблюдать, являются так называемые “бои без правил”, а их сейчас тоже порой показывают по ТВ. Обычно это выглядит примерно так: два человекообразных существа мужского пола выскакивают на арену, некоторое время виляют задом и делают ритуальные воинственные телодвижения, а затем сцепляются, валятся на землю и начинают дубасить друг дружку руками, ногами и даже головой... Футбол, в котором нельзя хватать мяч руками, и бокс, где нельзя бить ниже пояса, все-таки смотрятся поинтересней. Короче говоря, общая тенденция очевидна: чем строже и яснее очерчены правила, тем спортивное состязание зрелищнее и увлекательнее.

Нечто подобное, на мой взгляд, можно было бы сказать и об искусстве. Самого поверхностного взгляда на современное искусство достаточно, чтобы уловить наиболее характерную его черту: от него веет беспредельной и всепоглощающей скукой! Иными словами, скука – самая характерная черта сегодняшнего искусства. И причины этой скуки абсолютны ясны. В культуре больше никто не хочет играть по правилам, она уже давно полностью во власти обывателей, которых, кажется, совсем не заботит, что их кто-то в чем-либо уличит.

Естественно, в искусстве вообще и в литературе в частности нет арбитра, который, подобно спортивному судье, беспрестанно повсюду преследовал бы художника-творца, педантично указывая ему на его ошибки и грозя ему окончательным отлучением от “игры”. Казалось бы, обязанности беспристрастного наблюдателя в литературном процессе мог бы взять на себя критик, однако последний сегодня сам настолько ангажирован и вовлечен в этот процесс, что, скорее, тоже является одним из игроков, не способным объективно судить о происходящем вокруг. В этих условиях вышеуказанную роль естественным образом начинает исполнять историк литературы. И должна признаться, что я уже на собственном опыте реально ощутила всю тяжесть неожиданно свалившихся на меня обязанностей, о которых поначалу даже и не подозревала. В самом деле, вроде бы историк литературы имеет дело, главным образом, с покойниками и вообще с делами давно минувших дней, до которых, по большому счету, уже никому нет дела. Ан нет! Стоит мне, к примеру, произнести какую-нибудь затертую и банальную фразу типа: “Пушкин – дурак!” – как отовсюду, из всех углов начинает доноситься вполне явственный и хорошо различимый ропот возмущения. А почему? Ведь в констатации этого факта, в сущности, нет ничего особенно нового и оригинального! Это, вроде бы, и так уже все давно понимают. Однако произносящий эту банальную фразу делает явным глубоко укорененное в сознании обывателей презрение к поэзии и поэтам. Что, естественно, не может не вызывать у них раздражения и настороженности. Я их очень хорошо понимаю.

Кстати, дав определение гения через отрицание, а именно, как человека, которого окружающим не удастся поймать на каком-либо обывательском жесте или же чувстве, я, видимо, поступила не совсем корректно, забыв уточнить, что собой представляют подобные жесты и чувства. Но этот мой просчет еще не поздно исправить. Тем более, что и сделать это совсем не сложно. Пожалуйста! Обыватель – это тот, кого, в свою очередь, тоже невозможно поймать или же даже

заподозрить в чем-либо гениальном. Ну и, соответственно, все чувства, жесты и поступки, присущие этому типу личности, являются обывательскими. Все предельно просто! Однако если обыватель будет застукан на чем-либо гениальном, пускай даже на том, что он является гениальным обывателем, – как это и произошло в случае с Розановым и Селином, – он сразу же автоматически лишается всех своих обывательских благ и остается с глазу на глаз с вечностью, то есть ему, как и положено гению, достается пустота и дырка от бублика, вместо самого бублика, на который он рассчитывал. Вот в этом, собственно, и заключается сегодня главный подвох, с которым может столкнуться практически любой ничего не подозревающий человек, безмятежно обосновавшийся в культуре. Поэтому, несмотря ни на что, современное искусство не такое уж и скучное, как это может показаться на первый взгляд. Ведь существующих в культуре правил, как я уже сказала, пока никто не отменял.

Теперь, надеюсь, понятно, почему историк литературы, уличая задним числом какого-нибудь давно почившего в бозе общепризнанного гения в чем-либо обывательском, и тем самым лишая его права на вечность, вызывает в стане обывателей сильное брожение и недовольство. Еще бы, ведь покойнику уже не нужны никакие материальные блага, и, лишаясь вечности, пусть даже это и самая обычная пустота, он все равно ничего реального не получает взамен. Естественно, это не может не настораживать тех, кто привык извлекать выгоду практически из любой ситуации, в том числе, и из смерти. Однако только таким способом, на мой взгляд, можно заставить безмозглую обывательскую толпу почувствовать, что должен испытывать гений при жизни, когда его точно так же лишают практически всех материальных благ и вынуждают довольствоваться пустотой в виде вечности... Это последнее обстоятельство, собственно, и побудило меня обратиться к истории литературы.

И еще одно. Современная культурная ситуация, как я уже сказала, характеризуется тем, что литературой теперь занимаются исключительно обыватели, поймать которых на чем-нибудь гениальном практически невозможно. Во всяком случае для меня, вынуждена это признать. И это тоже заставляет меня обратить свой взор в прошлое и вступить в мысленное соревнование с безжизненными тенями.

Главная же проблема современной культуры заключается в том, что обыватель – это такой тип человека, которого вообще трудно в чем-либо уличить. Он, я бы сказала, в этом отношении даже в чем-то сродни ртути: стоит только пролить ее на пол, как потом совершенно невозможно собрать, она все время рассыпается на маленькие комочки и ускользает из рук, не говоря уже о том, что без перчаток ее трогать опасно, так как она еще и ядовита. И оставить на полу ее нельзя из-за этой ядовитости, потому что она не просто высыхает, как вода, а излучает вредные испарения. Вот и обыватель – это тоже такой вечно ускользающий человек-ртуть, которого практически невозможно в чем-либо уличить, а оставить его в покое и ни в чем не уличать тоже невозможно – хлопот не оберешься! Этим обыватель в равной мере отличается и от гения, и от преступника, хотя, на самом деле, между ними нет никакой существенной разницы, потому что, если хорошенько вдуматься, все они – всего лишь люди, и не более... Просто преступник – это обыватель, которого все-таки удалось поймать за руку и уличить в каком-либо преступлении, а гений – это тоже, в своем роде, преступник, но такой, которого окружающим не удалось уличить в чем-либо обывательском. И опять-таки, все не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Тем не менее, я думаю, что, если бы я занималась, например, историей архитектуры, мне было бы чуточку проще разобраться со всей этой путаницей.

Подавляющее большинство архитекторов практически ничем не отличаются от обычных инженеров и прорабов, настолько они поглощены всеми этими строительными работами, добыванием средств на воплощение своих архитектурных проектов, доставкой строительных материалов и прочими обыденными и понятными каждому смертному заботами. Поэтому среди архитекторов практически невозможно встретить гения в том смысле, в каком это определение применимо к поэтам. Я хочу сказать, что в свое время, работая экскурсоводом и просматривая по долгу службы многочисленные биографии самых разных архитекторов, я фактически ни разу не натолкнулась на демонических личностей, которые бы, подобно Лермонтову, катались в молодости верхом на молодых курсантах юнкерского училища. Куда там! Среди архитекторов мне не попало даже таких, не говоря уже о переплывавшем Ла Манш гордом лорде Байроне или же закончившем свои дни в одиночестве и изгнании Уайльде... Архитекторам все эти гениальные красивые жесты попросту не нужны – им и без того хватает проблем со строительными рабочими! Поэту же, наоборот, труднее всего скрыться за обычными земными заботами, и оттого он больше, чем кто бы то ни было другой, рискует оказаться в положении гения, то есть остаться один на один с вечностью, а значит, и пустотой, то есть, попросту говоря, ни с чем.

И вот здесь, мне кажется, и надо искать психологические истоки глубочайшего презрения к поэзии, разросшегося сегодня до вселенских масштабов. В самом деле, человек, впервые увидевший, например, огромное здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, поневоле должен был переполниться глубочайшим внутренним уважением к его создателю, то есть его, наверняка, посещали примерно такие же мысли, какие сегодня посещают прозаика, когда он смотрит на увесистые тома своей прозы, изданной, к тому же, еще и в твердых внушительных переплетах, и мысленно сравнивает их с тоненькими книжечками стихов разных поэтов. Лично для меня нет ничего удивительного в том, что и желание въехать в рай прямо на самолете возникло именно под впечатлением от созерцания такого величественного творения человеческих рук, каковым являлся Всемирный торговый центр... А кому нужна сегодня поэзия? Разве способен сегодня поэт пробудить в ком-либо подобные масштабные чувства? Да в двадцатом столетии поэтов мочили просто пачками, и без каких-либо особых надежд на посмертное вознаграждение, разве что с чувством легкой брезгливости...

Конечно, коммунисты, учредив Литературный институт, попытались устранить эту зияющую пропасть между понятным буквально всем и каждому и практически непостижимым. Однако это их благое намерение на поверку тоже обернулось всего лишь обыденным взглядом на литературу, которую они искренне перепутали с производством, а, возможно, и с той же архитектурой. Среди множества выпускников отечественных вузов выпускник Литинститута сегодня, безусловно, фигура наиболее комическая и жалкая.



Глава 40 Загадка русской литературы

Существует расхожее мнение о переменчивости моды в искусстве и в жизни: длинные юбки меняются на короткие, узкие брюки – на широкие, на смену котелкам приходят шляпы... Однако, если хорошенько подумать, то постоянно меняется ведь не только легкомысленная и легковесная мода, но и такие «фундаментальные» вещи, как добро и зло, например. И в истории русской литературы XX века это прекрасно прослеживается. А между тем, некоторые люди, по моим наблюдениям, на моду вообще не реагируют, зато чередование добра и зла их почему-то чрезвычайно волнует, причем до такой степени, как будто в момент их очередной смены затрагиваются чуть ли не самые глубокие основы человеческого бытия. Странно! И особенно странно потому, что в смене моды всякий раз присутствует нечто неожиданное, а порой даже шокирующее, тогда как чередование добра и зла своим однообразием чем-то напоминает мне смену дня и ночи: сначала смеркается, потом наступает ночь, потом опять начинает брезжить рассвет и т.д., и т.п. Вот так и зло сменяет добро, а потом – наоборот. Никаких сюрпризов и отклонений от раз и навсегда заведенного порядка вещей!

Моя мамаша, помню, мне постоянно вдалбливала, какая хорошая и веселая жизнь была у нее в детстве, хоть жили они небогато: бабушка одна воспитывала двоих дочерей, муж ее умер от тифа в Одессе, – но все равно было очень весело. Главное – это атмосфера веселья, радости, легкости, счастья, которая запомнилась ей на всю жизнь. По воскресеньям бабушка наряжала ее и мою тетю в нарядные голубые платица с кружевными оборочками, белые носочки, белые босоножки, и они отправлялись в ЦПКиО. Сперва они долго ехали на трамвае, с пересадкой, а когда добирались до парка, то попадали в настоящий рай: яркая зеленая трава, красные и желтые цветы, голубое небо, солнышко! А из динамиков громко-громко раздавалась веселая песня:

На аллеях центрального парка

В темной грядке растет резеда,
 Можно галстук носить очень яркий
 И быть в шахте героем труда!...
 Потому что у нас каждый молод сейчас
 В нашей юной прекрасной стране!

Моя мама всегда тут же начинала громко ее напевать, у нее вообще в молодости был очень хороший звонкий голос и слух, и ее даже как-то пригласили петь на радио. Она потом и меня научила «петь про резеду». Мне эта песня одно время тоже очень нравилась...

В детстве она жила в большой питерской коммуналке на Покровской площади, в самом конце Садовой улицы, в огромном черном доме, почти что под самой крышей, на последнем этаже. Я и сама еще застала эту большую тридцатиметровую комнату с балконом, где за шкафом жила прабабушка Уля, совершенно лысая старушка, носившая на голой голове черную суконную круглую шапочку, всегда одетая в черную сатиновую юбку и темно-синюю кофточку в белый горошек. По праздникам она украшала эту кофточку белым кружевным воротничком и отправлялась в церковь.

Ни одного лета моя мама не провела в городе! Когда она ходила в детский сад, их вывозили на дачу в Вырицу, а потом, уже в школе, – в пионерские лагеря, в Репино, в Зеленогорск... Как там было весело! Они играли в лапту, в догонялки, а по вечерам собирались у костра и опять пели песни, а она, моя мамаша, пела лучше всех, поэтому ее всегда просили спеть еще. Когда ей было двенадцать лет, в нее влюбился мальчик из старшего класса, Володька Зарубин: он дарил ей цветы – приносил рано утром, когда она еще спала, и кидал через окно ей на кровать. И она просыпалась от сладкого запаха сирени и жасмина. Это ощущение счастья сохранилось у нее на всю жизнь. Однажды он даже больно попал этим букетом маме в глаз, и у нее долгое время был черный фингал, но все равно, ощущение счастья от этого не уменьшилось.

И в школе у них были очень хорошие учителя. Генриетта Марковна, например, учительница литературы: такая строгая дама в пенсне и в черном костюме, чрезвычайно эрудированная и начитанная, она всегдахватила мамины сочинения и даже говорила, что у нее есть талант, и ей непременно нужно стать писательницей. А какие прекрасные фильмы тогда показывали! Моя мамаша в молодости просто обожала Любовь Орлову и Марину Ладынину. Это были настоящие красавицы, с золотыми волосами, лучистыми глазами и соблазнительно блестящими губками. Моя мама и сама была настоящей красавицей, она даже точно так же подкрашивала себе губки и глазки, как Любовь Орлова – ей многие говорили, что она на нее похожа. А Любовь Орлова, к тому же, была еще и секс-символом тридцатых годов.

И именно в тридцатые годы, кстати, начался один из самых затяжных светлых и радостных периодов в русской литературе, в сравнении с которым даже радужные рассказы мамы о своей молодости несколько блекнут. Я бы сказала, что в то время советских людей переполнял избыток добра. Что и составляет главную отличительную черту и, одновременно, главную проблему тех лет. Но ведь идеальных времен не бывает: плохое и хорошее тоже всегда соседствуют в жизни, как день и ночь... Так что желательно просто брать от каждого времени самое лучшее, а плохое отбрасывать. В данном случае надо, соответственно, отбросить этот избыток добра, и тогда останется одно чистое добро, не замутненное никакими изъянами.

К тому же, некоторый перебор с добром в тридцатые годы очень легко объясним. До этого ведь в русской литературе доминировали всевозможные извращенцы вроде Сологуба, Арцыбашева, Розанова и им подобных. В результате

у личностей, не сумевших себя в то время как следует реализовать и вынужденных прозябать в тени этих извращенцев, накопилось на душе очень-очень много добрых и светлых чувств, которые потом и выплеснулись на страницы книг и экраны кинотеатров. Что и привело к появлению такого удивительного феномена, как русская литература тридцатых годов. Вот и все! Даже странно, что до меня эту причину не разглядел ни один отечественный литературовед и историк литературы. Хотя порой именно то, что лежит на поверхности, самое простое и очевидное, и ускользает от человеческого восприятия. Видимо, так произошло и на сей раз.

А может быть, все дело в том, что я и сама живу в такое время, когда после целого десятилетия всевозможных извращений и злобы, буквально захлестнувших отечественное искусство, души многих людей опять переполнились избыточным добром, которое тоже уже потихоньку начинает выплескиваться на страницы книг и экраны телевизоров? Поэтому мне и проще, чем другим, все это понять и почувствовать – я имею в виду своих предшественников – я даже явственно ощущаю неизбежность предстоящей смены и могу говорить об этом совершенно спокойно и уверенно – так, будто это и вправду всего лишь смена дня и ночи...

Хотя, должна покаяться, лично мне всегда больше нравилось зло во всех его разнообразных проявлениях. Даже не знаю почему. Может быть, потому что я очень долго читала исключительно одни сказки, причем не только в детстве, а уже будучи во вполне сознательном возрасте, когда все нормальные люди уже давно начали читать романы. Допускаю, что это свидетельствует даже о каком-то моем отставании в развитии, вполне возможно... Одним словом, я перечитала огромное количество сказок практически всех народов мира: от братьев Гримм до африканских, где главными героями, в основном, были крокодилы, змеи и обезьяны... Люди, правда, тоже встречались, но только в качестве второстепенных персонажей, которые, ко всему прочему, еще и жрали какую-то маниоку. Что это такое – я так до сих пор и не поняла. Долгое время мне казалось, что это какая-то жуткая гадость, нечто среднее между манной кашей и мороженой картошкой, к тому же омерзительно-сладкого вкуса. В результате, у меня все африканские сказки запечатлелись в сознании в виде одного масштабного полотна: на плетеном вращающемся кресле сидит негр и крутится туда-сюда, улыбаясь при этом ослепительной белозубой улыбкой, а сбоку к нему подкрадывается нечто вроде огромного паука, причем самого паука я не вижу, а вижу только его блестящие согнутые под острым углом лапки, которыми он быстро-быстро так перебирает... Примерно половина этих африканских сказок была посвящена воскрешению покойников, причем иногда почти совсем разложившихся, с лохмотьями прогнившего мяса, болтавшегося на пожелтевших костях, с высосанными червями глазами и огромными почерневшими от сырости зубами. И вот такой трупак вдруг вскакивал и начинал выплясывать перед собравшимися неграми ритуальные танцы, а дальше мог сделать абсолютно все, о чем его попросит воскресивший его колдун, – все, что угодно, даже замочить человека, который кому-то мешает, или же забрать у него деньги и драгоценности.

И только гораздо позже я узнала, что подобные церемонии в африканской культуре существуют до сих пор и называются «вуду». Одна моя знакомая француженка, долгое время преподававшая французскую литературу в университете в Конго, рассказывала мне, что как-то, нанюхавшись вместе с приятелем всякой дряни, поддалась на уговоры и согласилась сопровождать его на одну вечеринку, куда того, в свою очередь, пригласил друг, местный житель. Так вот, она и по сей день начинает вся дергаться и заикаться, стоит ей вспомнить

об этом мероприятии. «Поверь, тебе лучше об этом ничего не знать», - вот и все, что мне удалось от нее услышать после долгих расспросов и приставаний.

Кроме того, на мой вкус, в добре есть еще нечто невыносимо приторное. А я заметила, что избыток сахара человеку еще сложнее вынести, чем даже избыток горечи. Причем, это в равной мере касается как пищи физической, так и духовной. Я, например, с трудом, но все-таки могу досмотреть до конца самый жуткий чернушный фильм о беспроглядном нищенском существовании полных опущенцев где-нибудь в Латинской Америке, однако уже после первых кадров какого-либо латиноамериканского сериала о любви с музыкой и песнями мне хочется немедленно вскочить и выключить телевизор.

А так как, ко всему прочему, я еще не вижу ничего особенно плохого в зле, то получается, что оно для меня практически то же самое, что и добро: я не чувствую между ними никакой существенной разницы, короче говоря... И вот поэтому, при всей простоте и очевидности того, что происходило в тридцатые годы в русской литературе, мне не совсем, не до конца, понятно поведение некоторых тогдашних русских писателей. И больше всего меня озадачивает Хармс.

Ясно, к примеру, что такие, как Мандельштам и Белый были тогда уже совершенно отставшими от жизни людьми – это бросается в глаза и невозможно не заметить. Как ни печально осознавать, но они были обречены, и сегодня, с дистанции времени, это прекрасно видно. Личности же вроде Платонова и вовсе являлись умственно отсталыми, то есть элементарно отставшими от окружающих в своем умственном развитии, и с ними тоже вроде как все понятно... Однако Хармс мне всегда представлялся вполне полноценным и современным (само собой, по отношению к тому времени) молодым человеком. И что ему мешало тоже писать исключительно о добре, как это и делал, например, тот же Маршак, находившийся с Хармсом в приятельских отношениях? Или же как чуть позднее Михалков?... Ведь писал же Хармс вполне добродушные и веселые стихи для детей: например, про «самовар Иван Иваныч» и т.п. А значит, он, возможно, и вправду испытывал какое-то чувство симпатии к людям, хотя бы даже и маленьким и еще не успевшим до конца вырасти – о себе, к примеру, я такого сказать не могу. Но даже если это не так, то вряд ли Хармс не понимал, что подавляющее большинство людей очень мало отличаются по своим умственным способностям от маленьких детей, поэтому он, все равно, вполне способен был создавать точно такие же добрые и шуточные произведения, обращенные к взрослым. Наверняка, он это понимал, судя по его дневникам, и вообще... Но почему не сочинял добрых произведений, обращенных к взрослым, – не ясно! А ведь в результате этот абсурдный “прокол” фактически стоил ему жизни! С этой точки зрения, Хармс, на мой взгляд, является самой загадочной фигурой во всей русской литературе.



Глава 41 Дети или смерть!

А вообще-то, я отчасти понимаю Хармса: делать добро и, особенно, всю жизнь писать для детей не так уж и легко. С непривычки может и стошнить. Тут надо иметь очень крепкие нервы, как у Маршака или Михалкова, или же, на худой конец, быть каким-нибудь извращенцем-педофилом, как Кэрролл, а у Хармса с нервами было явно не все в порядке, да и с психикой тоже. И дни свои он закончил в дурдоме... Кроме того, писать для детей — это все равно что обращаться к умственно отсталым, потому что все дети гораздо тупее взрослых, — ни фи́га не знают, вечно все путают, — так что выдержку и терпение надо иметь просто нечеловеческие. Не случайно ведь, только во времена сурового коммунистического правления, и особенно в тридцатые годы, когда над писателями висел дамоклов меч: либо пиши для детей, либо смерть, — детская литература расцвела в России пышным цветом, а как только наступили первые либеральные послабления, все сразу же пришло в полный упадок. Нет, сколько соплей не размазывай по этому поводу, а факты — упрямая вещь, и они говорят сами за себя! В наши дни сказки и прочую дребедень, наверняка, сочиняют исключительно законченные извращенцы, а милиция смотрит на это сквозь пальцы, потому что хоть кто-то должен, в конце концов, заниматься воспитанием подрастающего поколения, иначе ведь оно будет полностью брошено на произвол судьбы. И тогда из этих полностью заброшенных и предоставленных самим себе детей вырастут такие жутики, что мало не покажется. Тут ситуация схожа с игорным бизнесом или, например, с проституцией, которые, как общеизвестно, тоже всегда и везде контролирует мафия, и полиция точно так же смотрит на это сквозь пальцы, потому что необходимо хоть как-то организовывать эту среду и поддерживать там минимальный порядок, а полицейских и для других, более благородных и понятных обществу целей, и то с трудом хватает. Вот и приходится идти на разумный компромисс с преступным миром.

Ну а о детской тупости я знаю, само собой, не понаслышке. Помню, когда мне было лет примерно восемь, мамаше зачем-то взбрело в голову обучать меня

игре на фортепиано. Пианино специально ради этого привез из-за границы отец – красивое, темно-коричневое, из настоящего дерева, клавиши цвета слоновой кости – дивное пианино, настоящее произведение искусства! Внутри золотыми буквами было написано его название – готическая вязь – прочитывать было трудно, хоть я тогда начала учить французский язык, поэтому буквы, в принципе, прочитывать могла.

Кстати, когда меня принимали в специализированную французскую школу, в которую было очень сложно поступить из-за огромного наплыва желающих, отец даже специально надел свой капитанский мундир и отправился беседовать с директрисой. Он произвел на нее крайне благоприятное впечатление, и директриса решила сама проэкзаменовать потенциальную ученицу, то есть меня, чтобы удостовериться, могу ли я у них учиться. Она очень ласково стала спрашивать, как меня зовут, где я живу, задавала еще какие-то ничего не значащие вопросы, и в конце спросила: «А сколько тебе лет?» И тут я в ужасе поняла, что забыла, сколько мне лет, не знаю точно, я даже лихорадочно стала считать в уме, но сбилась... Пауза затягивалась, мое молчание становилось все более зловещим, а улыбка директрисы все более натянутой. Отец уже побледнел, что у него всегда было признаком ярости, мамаша пыталась что-то мне подсказать, и я, осознав, что все-таки нужно хоть что-то отвечать, набрала в грудь воздуха и, зажмурившись, пробормотала: «Не знаю точно... То ли шесть, то ли семь... А может, и восемь...» Последнее я произнесла уже самым тихим шепотом, потому что бессознательно почувствовала, что восемь – это уже слишком, так как это была какая-то совершенно запредельная цифра. В то же время, когда я посмотрела на себя в зеркало, висевшее на стене в кабинете директрисы, то увидела там такую невероятно огромную девочку, что и сама начала сомневаться – а вдруг и вправду восемь? Лицо директрисы с накрашенными губами склонилось ко мне еще ближе:

- А в школу детей во сколько лет принимают?

Это-то я знала точно, и меня тут же взяла досада – как это я сама не догадалась.

- В семь! – в этом я была точно уверена.

- Ну, так значит сколько тебе лет?

- Значит, семь! – по-прежнему не очень уверенно ответила я, хотя уже чувствовала, что это правильный ответ. Мамаша тоже облегченно вздохнула и взяла меня за руку. Мы вышли из кабинета, потом на улицу. Отец был мрачнее тучи и всю дорогу возмущался: «Безобразие! Ребенок не знает, сколько ему лет! Ее, кажется, приняли за дебила! Как такое может быть?» Мамаша оправдывалась, а я все еще пребывала в состоянии ступора, сумятица по-прежнему царил у меня в мыслях: я никак не могла понять, почему это вдруг забыла, сколько мне лет. Правда в тот день мамаша все равно купила мне пирожных, и мое настроение быстро исправилось.

Еще, помню, я никак не могла научиться писать букву «ж» – эта буква и по сей день вызывает у меня настоящее отвращение, – слава Богу, что есть компьютер. А тогда – о, ужас! – какие грязные фиолетово-жирные, расплывчатые, похожие на огромных гадких тараканов буквы «ж» заполняли целые страницы моей тетради! Все пальцы у меня были измазаны чернилами, а буква «ж» все не получалась – я рисовала в ней слишком много загогулин, и она получалась чересчур широкой, настоящая сороконожка. Помню, как-то у меня даже ужасно разболелась голова, я почувствовала сильную усталость, и мне чуть не стало плохо, а дома отец в очередной раз набросился на меня с руганью за эту поганую букву.

Как раз вскоре после этого мамаша и решила учить меня игре на пианино – кто-то сказал ей, что это занятие дисциплинирует ум. Но меня это совершенно не привлекало – я и так после школы ужасно уставала, а тут еще надо было сидеть на табурете и долбить пальцами по клавишам. Правда, когда у меня впервые получилась мелодия «Жили у бабуси два веселых гуся», я почувствовала бурный восторг и уверенность в собственных силах, но, чтобы продвигаться дальше, нужно было столько всего долбить, учить все эти ноты, ключи, диезы, бемоли, так долго тренироваться – меня эта перспектива просто ужасала. Два раза в неделю ко мне приходила учительница, пожилая дама в очках, очень интеллигентная и тихая. Сперва мне показалось, что она похожа на мою бабушку, и действительно, какое-то сходство было. Но бабушка была очень добрая, все мне позволяла и никогда не ругала, а вот учительница музыки оказалась очень настойчивой и упорной – задавала мне уроки, жутко сердилась, если я их не делала, и сразу же отправлялась жаловаться мамаше. Меня она иногда ужасно раздражала, особенно, когда заставляла по двадцать раз долбить совершенно бессмысленные, на мой взгляд, гаммы. Впрочем, долго все это не продлилось: в конце концов, она отказалась от уроков и заявила мамаше, что я слишком тупая и ленивая. Да и родителям надоело со мной сражаться, и про пианино вскоре все забыли. Оно долго еще стояло в углу комнаты, а потом его продали.

И только много позже я узнала, что моя учительница музыки, оказывается, была сестрой Бахтерева, поэта из ОБЭРИУ... Хотя и Хармса я тоже узнала гораздо раньше, чем это неблагозвучное и труднопроизносимое слово. Его короткое и звучное имя очень легко запоминалось, кроме того, я очень часто читала его книжку про самовар Иван Иванович. А иногда в детских журналах мне попадались другие его стихи, и там я как-то увидела портрет и самого автора: высокий, тощий, как жердь, мужик, в идиотской шапочке, похожей на шлем, с изогнутой трубочкой во рту, дебильным курносим носом, почти, как у меня, и еще с каким-то дурацким полосатым шарфиком на шее. Этакая разновидность дяди Степы: беззаботный интеллигент на прогулке. В то время данный персонаж вызывал у меня сильнейшую неприязнь. Я даже зачирикала его черным карандашом, чтобы не видеть – так я обычно поступала всегда с картинками, которые меня раздражали. А больше всего меня раздражали: девочка Лялечка, жертва диких зверей из книги про Крокодила, Ванечка и Танечка, сбежавшие в Африку, а также жирный бородатый мужик с обрезаем из книжки про Павлика Морозова.

В детстве я вообще ни одну мысль до конца додумать не могла, и, кажется, эта особенность психики у меня сохранилась до сих пор: только начинаю о чем-нибудь думать, и почти сразу же в голове все так расплывается, расплывается, словно туман какой, и по-своему это даже приятно, потому что постепенно меня начинает клонить в сон, а я больше всего на свете всегда любила спать. Раньше я еще очень любила есть, особенно булочки разные и пирожки, а теперь есть мне надоело, так что больше всего мне нравится спать. Я бы так всю жизнь и спала, наверное, но вот не удается: вечно меня все дергают, мешают, тащат куда-то. Хотя внешне я всегда хотела выглядеть собранной и энергичной. Может, иногда мне это даже и удавалось, но я не уверена. Стоит мне посмотреть на себя в зеркало, как я вижу там такую расплывчатую физиономию, на которой как будто навсегда отпечаталась подушка. Раньше меня это очень огорчало, можно даже сказать, в депрессию повергало. А теперь плевать! Просто я уже так много на протяжении своей жизни видела фотографий и портретов разных людей, в том числе и писателей, что поняла – не так уж страшно иметь такое лицо, как у меня.

Однако я очень отчетливо запомнила то потрясение, которое я испытала, когда впервые увидела портрет Зинаиды Гиппиус. В первое мгновение я даже

испугалась, причем довольно сильно. И еще долго эта дама внушала мне сильный страх: такая строгая стильная, красивая, интеллектуальная, худющая, прямо иссушенная, да еще с сигаретой, и поглядывающая на весь мир свысока. После того, как я увидела портрет Гиппиус, мне окончательно захотелось зарыться под одеяло, закрыть голову подушкой и спать, спать, спать!

А больше всего меня бесило то, что я никогда, никогда не смогу стать похожей на Гиппиус, даже если от меня вообще останутся кожа да кости, как у узников Освенцима. Иногда, в состоянии депрессии я вообще переставала есть, ну разве что самую малость ела, чтобы хоть как-то поддержать жизненные силы. Но даже когда я становилась очень и очень худой, я все равно не находила в себе никакого сходства с ней.

Постепенно, впрочем, эти мои ощущения утратили свою первоначальную остроту, а потом Гиппиус и вовсе перестала меня интересовать: после того, как я прочитала внимательнейшим образом ее дневники, где она, среди прочего, описывала и свой роман с Савинковым. То есть не совсем состоявшийся роман, а, можно сказать, виртуальный. Она писала там об одном волнующем моменте, когда что-то могло между ними случиться: прерывистое дыхание, шепот, дрожание рук, - но... ничего не случилось. Гиппиус что-то не так сделала, не так посмотрела, что ли... Однако меня она все равно после этого совершенно перестала интересовать, даже не знаю почему, но это так. Просто я представила себе, как плотный господин, со склонностью к полноте, каковым, судя по портретам, был Савенков, и утонченная стильная дама, сцепившись в жарких объятиях, по дороге натыкаясь на буфеты и круша дорогой хрусталь, хрипло дыша, продвигаются по направлению к постели... И все! Больше я так и не смогла избавиться от этой картины, и у меня в сознании навсегда запечатлелись эти крепко сцепившиеся Гиппиус и Савинков... Хотя сам Савинков мне тоже в общем-то всегда нравился. И я потом даже взяла строчку из его стихотворения для фестиваля декаданса в качестве девиза: “Морали нет — есть только красота!”



Глава 42

Эстетический просчет русской литературы

«Морали нет – есть только красота!» – в этом высказывании Савинкова, конечно, в несколько утрированном виде, выразилась одна из главных антиномий человеческого духа. Причем такая, которая не кажется мне праздно выдуманной философами, – что само по себе уже удивительно. Так как обычно философы занимаются вовсе не поиском истины, а решают проблемы, которые сами же и создают, высасывая из пальца.

В этом отношении они мне даже чем-то напоминают адвокатов, которые обычно находятся в сговоре с судьями, из-за чего последние неизменно требуют у полуграмотных старушек, чтобы те составляли свои заявления в суд по всем правилам или же, как они выражаются, “по форме”. А так как не только старушки, но и большинство нормальных полноценных людей в расцвете лет не представляют себе, как выглядят эти составленные “по форме” заявления, то всем им приходится обращаться за помощью к адвокатам и, естественно, не бесплатно. За счет этих заявлений и прочих непонятных обычным людям “тонкостей” адвокаты и живут. Судьи, в свою очередь, тоже внакладе не остаются: при случае адвокаты подкидывают им какую-нибудь халявную работенку, отсылая к ним своих простодушных клиентов... Короче говоря, в этой сфере, по моим наблюдениям, сложилась своеобразная круговая порука, необходимая для того, чтобы достаточно большое количество людей имели средства к существованию. И все! Никаких других объективных предпосылок для присутствия в этом мире такого количества адвокатов нет! Потому что, если хорошенько вдуматься, то любое заявление при желании можно прочитать и понять, причем не только составленное “не по форме”, но даже если в нем присутствует некоторое количество ошибок.

Вот так и философы! Сами подкидывают друг другу вопросы о первичности материи, духа или же там единстве и борьбе противоположностей, и сами же их потом решают, вовлекая в этот процесс не только находящихся с ними в сговоре представителей смежных профессий из числа психологов и социологов, но и наиболее простодушных читателей, за счет которых они все, в основном, и существуют. Короче говоря, если человек в молодости поступил на философский факультет, то он потом до пенсии будет ломать себе голову над этими «вечными» вопросами и компостировать мозги окружающим, если только какие-нибудь экстремальные события в обществе не заставят его переквалифицироваться в «челнока», например, или же в торговца бижутерией в ларьке. Только тогда, возможно, его мозг переключится на решение более насущных для человеческого существования проблем. Но большинство – даже страшно подумать – так и умирают, ничего толком не узнав об окружающем мире и жизни. Потому что, если человек с юности привык заниматься какими-то бессмысленными кроссвордами и ребусами, то он рискует постепенно полностью утратить вкус к истине. Так что в данном случае, как и в ситуации с адвокатами, только этим и можно объяснить присутствие в мире такого количества философов. Плюс ко всему, каждый из «глобальных» и «вечных» вопросов, вроде тех, что я назвала выше, еще и делится на множество отдельных подвопросов и подвопросиков. А теперь попробуйте сосчитать: сколько людей должно этим заниматься и, естественно, тоже не задаром! Печальная картина.

Но самое грустное, что в этот нездоровый процесс оказались вовлечены не только доверчивые читатели, но и некоторые из русских писателей, в том числе и те, кого принято называть «классиками». Увы! Самый яркий пример в этом отношении — Достоевский! И я уже об этом, кажется, писала. Герои

Достоевского сплошь и рядом задаются совершенно неестественными «вечными» вопросами, которые сегодня, то есть по прошествии всего каких-то ста с небольшим лет, уже практически никого не интересуют. Ну разве это не печально? Кого, к примеру, в наши дни волнует: есть все-таки где-нибудь так называемый «Бог» или же нет? Думаю, практически никого! Если, конечно, не принимать во внимание тех, кто занимается этим вопросом, опять-таки, профессионально, то есть нашел себе в соответствующей сфере деятельности «кормушку». В итоге, Достоевский, скорее всего, останется в истории литературы разве что как создатель «Скверного анекдота», то есть лет так еще через сто вообще рискует превратиться в автора одного произведения, наподобие Грибоедова.

И тем не менее, все сказанное мной на противостояние «морали» и «красоты» не распространяется, несмотря на некоторую искусственность и высокопарность двух этих слов. Не только «базельский профессор» Ницше свихнулся, пытаясь проникнуть мыслью «по ту сторону добра и зла», но и любой ларечник или же «челнок» рано или поздно обязательно натолкнется в своей жизни на противоречие между добром и красотой, даже если они никогда не сочиняли специальных диссертаций на эту тему.

Само собой, и мне постоянно приходится с этим сталкиваться, а иначе зачем бы я стала разводить здесь всю эту бодягу. Я, например, заметила: чем больше люди зациклены на так называемом «дobre», тем меньше они обращают внимания на красоту и все, с ней связанное. В частности, мода на что-нибудь, как правило, таких личностей и вовсе выводит из себя. Удивительно, но то и дело приходится слышать, как какой-нибудь моралист, презрительно скривив губы, с нескрываемым отвращением выдавливает из себя: «Нынче это в моде!» А коммунисты в советские времена так и вовсе вели себя, как настоящие маньяки, и даже отлавливали на улицах модно подстриженных молодых людей, заставляя их бриться наголо. Оно и понятно: коммунисты уж точно были зациклены на добре и всяческих его разновидностях вроде борьбы за мир во всем мире...

Ну а так называемые «эстеты», ясное дело, наоборот, от одних только слов «добро» или же «нравственность» начинают брезгливо морщиться, так и норовя выкинуть что-нибудь этакое, идущее вразрез с этими понятиями. Как ни странно, обычно им не приходит в голову ничего лучшего, чем напялить на себя что-нибудь суперстильное и модное. И если им это удастся, то ярые поборники добра, глядя на них, буквально начинают трястись от злости, особенно если у них нет возможности отлавливать людей на улице, и они не знают, как реализовать переполняющие их чувства.

Забавно, но хотя я, вроде бы, говорю совершенно очевидные и понятные вещи, в реальности все именно так и происходит и, судя по всему, будет происходить вечно: моралисты будут бороться с красотой и модой при помощи добра и морали, а эстеты – с добром при помощи моды и красоты.

Причины же этого поразительного явления мне, честно говоря, не совсем ясны. Может быть, все дело в неуловимости и постоянном ускользании красоты, и вообще, в том, что в чувстве прекрасного, по моим наблюдениям, есть какое-то сходство с чувством юмора, то есть отсутствие одного из этих чувств у человека, как правило, автоматически предполагает и отсутствие другого. А в результате, у тех, у кого эти оба чувства отсутствуют или же просто недостаточно развиты, от любого соприкосновения с прекрасным в мозгу и рождается нечто вроде такого глюка, будто бы все вокруг над ним втайне посмеиваются, хотя они до конца не понимают почему. Однако отнестись к этому легко и спокойно, как к шутке, такой обделенный природой человек не в состоянии, в силу того, что он этой «шутки» просто не понимает. По этой же причине он инстинктивно и стремится

опереться на что-нибудь простое и понятное типа добра и борьбы за мир во всем мире... В общем, мне кажется, что если и дальше развивать эту мою мысль, то можно докопаться до конечной истины. Однако вся история русской литературы в XX веке сама по себе является достаточно яркой иллюстрацией моих слов, так что никаких дополнительных рассуждений даже и не требуется. А главная проблема всей русской литературы (не только последнего столетия) и заключается, прежде всего, в недооценке значимости таких неуловимых и вечно ускользающих вещей, как стиль и мода, или же, иными словами, в чрезвычайно слабо развитом чувстве прекрасного у подавляющего большинства писателей, что и привело к серьезным эстетическим просчетам, которые самым печальным образом сказались на всем русском самосознании.

Чтобы не быть голословной, приведу всего один пример подобного «просчета» и его «последствий». Мне уже неоднократно приходилось высказывать сожаление по поводу того, что русская классическая литература, целиком и полностью связанная с портовым городом Петербургом, практически не затронула морскую тему. Кое-кто даже, возможно, склонен считать это проявлением банального женского кокетства, так как женщины всегда были как-то особенно равнодушны к морской форме и морякам. Однако в данном случае, по-моему, все гораздо серьезней. Русские писатели ведь не просто проигнорировали морскую тематику и моряков, а в лице Толстого и Шолохова, еще и сделали ставку, если так можно выразиться, на казаков. И именно с их легкой руки казаки до сих пор остаются как бы символом России. Ничего не хочу сказать плохого о казаках, но сегодня в их облике есть что-то архаичное, неестественное и даже опереточное. Совершенно очевидно, что казачество, выражаясь современным языком, “морально устарело”, то есть, в сущности, стало еще одной жертвой прогресса: лошади, шашки и прочая кавалерийская амуниция теперь годятся разве что только для музеев. А в результате, в каждом «типичном русском» сегодня, как это ни грустно осознавать, есть что-то от казака: опереточное и морально устаревшее. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И эти последствия, на мой взгляд, оказались куда более серьезными, чем те, о которых предупреждал читателей все тот же Достоевский в своем высоконравственном романе «Бесы». А прежде всего, потому что о них почему-то никто никого не предупреждал. Хотя я, признаюсь, с трудом представляю, как об этом можно было кого-нибудь предупредить.

Одним словом, вот что значит сделать неверный эстетический выбор! Нисколько не сомневаюсь, что для России было бы гораздо лучше, если бы она связала свою “литературную судьбу” с морем и моряками. Конечно, за прошедшие два столетия техническое оснащение флота тоже сильно изменилось, но во внешнем облике моряка, как и в смысле его деятельности, не изменилось практически ничего. Не случайно ведь корабль и море всегда и везде были вечными символами человеческой жизни. И женщины, которые, – что правда, то правда – всегда были равнодушны к морякам, видимо, просто лучше других инстинктивно чувствуют эту их непреходящую жизненность и актуальность.



Глава 43 Утопия всегда рядом

С другой стороны, в слове «модный» тоже есть что-то обывательское и комичное. Даже не знаю почему... Возможно, все дело в неуловимости этого понятия? В самом деле, если кто-то вдруг всерьез начинает считать что-либо «модным», то он, скорее всего, впадает в глубокое заблуждение. И, в сущности, все люди, и вообще весь мир пребывают в вечном заблуждении на этот счет. В том-то все и дело, что то или иное явление остается модным только до того самого момента, пока не будет названо таковым вслух. И именно неуловимость моды, видимо, больше всего и выводит из себя обывателей, которые, как я уже сказала, любят все весомое, зримое и основательное: машины, зарплаты, квартиры, дачи... А моду не только нельзя потрогать руками – она практически неуловима для глаз, настолько эфемерна! Да существует ли она вообще?! Не сомневаюсь, что именно этот вопрос время от времени возникает в мозгу у большинства людей. А вдруг все эти вырядившиеся в рваные потертые джинсы отморозки просто сговорились между собой, чтобы над ними поиздеваться?! И отчасти эти подозрения справедливы, но только отчасти... Все дело в том, что, оказавшись перед лицом этого загадочного явления, обыватель не просто бывает смешон, а смешон вдвойне, потому что, как правило, он даже отрицает только то, что либо уже давно вышло из моды, либо таковым никогда не было! Иными словами, обыватели, в сущности, не способны себя даже противопоставить моде, несмотря на брезгливую гримасу, которая обычно возникает у них на лице при этом слове. Нечто подобное, на мой взгляд, можно было бы сказать и про стиль. Господствующий в искусстве стиль столь же неуловим, как и мода.

И тем не менее, как это ни парадоксально звучит, я думаю, что стиль и мода во все времена сильнее всего волновали именно обывателей. Хотя бы потому, что никакого искусства вообще и литературы в частности, на самом деле, не существует... Короче говоря, мода, стиль, да и искусство тоже всегда существовали только в обыденном сознании, то есть, как заблуждение обывателей на их счет. Если же хоть на мгновение представить себе, что в мире

вдруг остались одни гении, то искусство, видимо, сразу же утратило бы даже и эти свои эфемерные очертания, превратившись в абсолютное ничто, пустоту. Ибо гений, как я уже неоднократно говорила – это тот, кто не боится остаться один на один с пустотой.

Никогда не забуду, как несколько лет назад в одном телевизионном шоу какая-то еще молодая, но уже довольно-таки потрепанная баба с крашеными белесыми волосами призналась, что приехала в Москву из провинции и на протяжении длительного времени занималась там проституцией только ради того... чтобы заработать деньги и издать сборник собственных стихов. Конечно, у нее была еще и маленькая дочурка, ради которой тоже она надрывалась на столь тяжелой работе, однако сборник стихотворений значил для нее, судя по всему, ничуть не меньше и даже больше! В довершение всего, она не заставила ведущего этого шоу себя слишком долго упрашивать и продекламировала вслух одно из своих стихотворений. Точно его воспроизвести я сейчас уже не в состоянии, но общий смысл прочитанного сводился к описанию того, как она «идет навстречу солнцу, преисполненная любви к людям», ну или же что-то в этом роде. Короче говоря, стихотворение представляло собой типичный образчик того, что обычно принято называть «графоманией». Однако дело даже не в этом. Больше всего меня поразило то, что, занимаясь таким приземленным и сопряженным со множеством неприятных моментов ремеслом, то есть постоянно соприкасаясь с наиболее мрачной и опасной стороной жизни, включая всевозможные разборки со своими сутенерами или подвыпившими клиентами из числа законченных уголовников, эта баба не только сохранила в своей душе веру в любовь и символический «солнечный свет», на встречу с которым она, якобы, шла в своих стихах, но и убеждение в том, что в литературе царят какие-то совсем иные, не такие жесткие, как в ее жизни, законы, а откровенная туфта, которую она сочинила, способна принести ей чуть ли не мировую известность и бабки. Последнее мне кажется наиболее удивительным, так как не совсем понятно, откуда у человека, с огромным трудом зарабатывающего себе на пропитание, столь идиллические представления о нравах, царящих в литературном мире. Куда логичнее было бы, если бы она инстинктивно перенесла опыт всей своей жизни и в эту сферу. И самое главное, ближе к истине!

Нечто подобное, вероятно, можно сказать и о литературоведах, чья трудовая деятельность, может быть, и не сопряжена с такими опасностями, как занятие проституцией, но все равно, наверняка, полна всевозможных интриг и склок, как и жизнь практически любого человека, однако и у них получается, что литература существует по каким-то совершенно ирреальным и оторванным от жизни законам. Причем в данном случае эти представления порой бывают столь причудливыми, что так просто, в двух словах, их тут и не изложишь. Однако, по сути, и все эти замысловатые «литературоведческие теории» мало чем отличаются от взглядов на литературу той крашеной блондинки, решившей чуть ли не пожертвовать собой и малолетней дочкой ради издания своих дебильных творений. Подавляющее большинство литературоведов, судя по всему, тоже, подобно ей, склонны считать, что литературой занимаются исключительно полные лохи. Более того, современная литература во многом обязана своим существованием именно всевозможным теоретикам, так как является почти исключительным продуктом их ошибочных представлений об этой сфере человеческой деятельности.

На этом фоне заблуждение большевиков, учредивших Литературный институт и перепутавших литературу с производством, даже выглядит более понятным и объяснимым. Как-никак, они все-таки верили в мессианскую роль

пролетариата, отводили ему центральное место в истории! Тут, мне кажется, можно нащупать хоть какую-то логику. Перепутал же, в конце концов, врач Леонтьев Россию со своим тяжело больным пациентом. Так почему же и простой рабочий не мог спутать искусство со своим заводом!? Это как раз понятно! Однако в бесконечных потоках расслабленной графомании, хлынувших из-под пера прошедших тернистый путь обучения дипломированных советских писателей и поэтов, опять-таки, просвечивает откровенное неуважение к литературе, столь же необъяснимое, как и в двух описанных мной выше случаях.

Конечно, впавший в маразм Державин, смахивающий слезу умиления над виршами юного Пушкина, или же Белинский с Некрасовым, всю ночь напролет запоем читающие рукопись молодого Достоевского, как и прочие лубочные картинки такого же рода, настраивают их потомков на идиотический лад, но ведь у каждого человека, в конце концов, должна быть еще и собственная голова на плечах! Вроде бы, не так уж и трудно додуматься до того, что литературой, в основной массе, занимаются люди, мало отличающиеся от твоих соседей по коммунальной квартире, которые, того и гляди, подсыпят тебе в кастрюлю с супом убойную дозу мышьяка. Ан, нет!

Еще совсем недавно, казалось бы, сладкий голос с экрана телевизора обещал какие-то неслыханные проценты каждому, кто вложит свои бабки в какой-нибудь банк или же там «Русский Дом Селенга», а последний, ко всему прочему, еще и желал всем счастья. Однако далеко не все клюнули на эту удочку, хотя и очереди к подобным учреждениям тоже, надо сказать, выстраивались немалые. Интересно, что на сей раз эти длинные очереди как бы объединили и «поставили в один ряд», в буквальном смысле этих слов, и проституток, и профессоров, и писателей. И каждый, вложивший свои потом и кровью заработанные деньги в подобные учреждения, на мой взгляд, был движим точно таким же глубоким неуважением к их основателям, и вообще, к этой сфере человеческой деятельности, как и в случае с литературой. Я бы даже сказала, что, если учредители всевозможных «лохотронов» и вступают в конфликт с нравственностью и этикой (о чем постоянно все твердят), то и так называемые «обманутые вкладчики» тоже находятся не в ладу с эстетикой и красотой (о чем почему-то говорить не принято). Однако кто бы там что ни говорил, но для меня совершенно очевидно, что, если бандиты и мошенники, опускающие на бабки своих сограждан, самым очевидным образом выражают свое пренебрежение к труду всевозможных ветеранов, пенсионеров, ученых, учителей и т.п., то и те, кто им эти бабки с легкостью отдает, тоже неуважительно относятся к рискованной и опасной деятельности бандитов и мошенников, принимая их за каких-то добропорядочных налогоплательщиков, дурачков и лохов. Я хочу сказать, что и в желании получить халявные бабки из ничего тоже заложено какое-то неуважение и даже презрение к неким основам человеческого бытия, причем, по-своему, даже более глубоким и важным, чем так называемая нравственность.

Возможно, в случае с литературой этот «эстетический конфликт» обозначен чуть более явно, но лично я не вижу между всеми описанными мной тут ситуациями большой разницы. Разве что «финансовые пирамиды» – это такое мимолетное веянье времени, а заблуждение обывателей на счет литературы носит, если так можно выразиться, хронический и непреходящий характер. Оно воистину вечно! Настолько непреходяще и вечно, что даже немного пугает! А если попытаться представить себе ту незримую очередь из желающих на халяву въехать в литературу, получить бабки и славу за счет каких-нибудь наспех состряпанных виршей «про любовь» и «солнечный свет», то и вовсе может крыша поехать от такого фантастического зрелища. Нисколько не сомневаюсь, что такая очередь несколько раз обогнула бы земной шар.

А все потому, что никакой литературы, на самом деле, не существует! И сама по себе вера в ее существование уже является глубоким заблуждением. Потому что литература – это даже не вера в конечное торжество всеобщего счастья на земле. Это такая утопия, которая никогда не кончается и всегда рядом! Иными словами, нет никакого смысла пытаться отделить литературу от собственной жизни, и каждый, кто в той или иной форме пытается это сделать, по сути, просто чего-то недопонял в жизни. Точно так же, как и тот, кто доверчиво вкладывает свои бабки в какой-нибудь бандитский синдикат, прежде всего, тоже чего-то еще не понял – именно в жизни, а не в экономике.



Глава 44 Образы пустоты

И все-таки, порой мне даже обидно, что я почти не знаю писательскую среду. Наверное, я и сама могла бы закончить Литинститут и, таким образом, постичь все тонкости этой профессии. И действовала бы я тогда именно профессионально, а не просто так, “с потолка”, как мне теперь поневоле приходится работать, не имея диплома о высшем писательском образовании. Ничего не поделаешь: хочешь жить — умей вертеться! Смешно сказать, но иногда, действительно, посмотришь на потолок, и в голову сразу же приходят всякие мысли. Такое уж это чудесное место – потолок, неиссякаемый кладезь человеческой мудрости, но диплома он все равно не заменит.

Больше всего меня всегда интересовал писательский жаргон, потому что именно в языке, как правило, и заложены главные характерные особенности каждой профессии, призванные отличить посвященного от непосвященного. Я, например, очень хорошо знаю – с детства привыкла, что компас на флоте надо называть компàs, с ударением на последнем слог. Правда это уже, наверное, не только я, а любой школьник знает, но есть и другие тонкости. Настоящий моряк, например, никогда не назовет пол “полом”, а тот же потолок (кладезь человеческой мудрости) — “потолком”, но только — “палубой” и “подволоком”. Не говоря уже о том, что моряки не плавают, а «ходят», потому что плавают

только обычные люди в бассейне, да еще дерьмо в проруби... Точно так же, как и профессиональный вор или же спекулянт никогда не скажет “укради” или же “перекупил”, а только “взял”, и опять-таки, потому что крадут и покупают только непосвященные лохи, а настоящие преступники берут, действуя по принципу: “Все твое и ваше – теперь мое и наше!” Милиционеры, в свою очередь, называют осужденных “осужденными”, с ударением на “у”, а военные называют кобуру «кабурой», перенося ударение на первый слог, и даже интеллигентнейшие дипломированные врачи в пенсне и с бородкой, как у Чехова, и те говорят “алкоголь”, тоже с ударением на первом слоге... А все для чего? Да для того, чтобы отличать посвященных в тонкости своей профессии от непосвященных лохов. Думаю, что слово «лохи» в данном случае применимо в обобщенном смысле практически к любому человеку, а не только к доверчивым людям, которых так называют прожженные жулики всех мастей.

К примеру, я очень хорошо себе представляю ситуацию, когда какой-нибудь пронырливый наглый мудака вдруг возьмет да и купит себе диплом врача, точнее, даже не купит, раз уж на то пошло, а возьмет да и «возьмет» себе диплом. В наши дни ведь это запросто, даже учиться не надо, были бы только бабки: пошел и купил, точнее, «взял»... Так вот, диплом-то он себе «возьмет» без труда, а потом вдруг возьмет и ляпнет где-нибудь «алкоголь», ну так, как обычно произносят это слово обычные люди, с ударением на последнем слоге. И все! Он попался. Его разоблачат раньше, чем он достанет скальпель и отправится в операционную, чтобы там кого-нибудь прирезать. Вот насколько бывают важны такие языковые профессиональные тонкости! И самое главное, описанная мной ситуация позволяет очень наглядно себе представить, что даже самый матерый и закоренелый преступник, то есть человек, в сущности, не ставящий ни во что чужую жизнь, и тот запросто может очутиться по отношению к представителям самой гуманной в мире профессии в пенсне и с бородками как у Чехова в унижительном положении полного «лоха». В аналогичной ситуации запросто может оказаться и какой-нибудь потомок белых эмигрантов, выпускник Оксфорда, проникший в расположение наших войск в качестве агента. Его безукоризненный русский язык способен сыграть с ним злую шутку, так как он тут же проколется с неверно, точнее, верно поставленным ударением в слове «кобура». Короче говоря, пресловутая неотесанность и грубость отечественных прапорщиков и старшин – есть чистая видимость и обманчивая иллюзия, за которой также скрывается глубокая тайна, доступная только глазу и уху посвященных.

Сказать по правде, в моих глазах человеческая жизнь тоже не очень-то многого стоит. Нет, не то, чтобы я тоже могла запросто обзавестись поддельным дипломом и пойти прирезать кого-нибудь скальпелем, но значимость человеческой жизни я не переоцениваю определенно. И потому вот эта, мысленно смоделированная мной же самой ситуация, когда матерый преступник оказывается в положении непосвященного дурачка, меня, честно говоря, очень настораживает. А вдруг профессиональные писатели и выпускники Литинститута, над которыми я с детства привыкла подхихикивать, в свою очередь, тоже всю веселятся, глядя на меня?! Я ведь даже до сих пор толком так и не разобралась, как правильно надо произносить такое слово как «произведение», например. Скорее всего, тоже ведь как-нибудь с ударением на первом «е», но мне это до сих пор неизвестно. Хорошо еще, что в письменной речи это практически неразлично. Просто пишешь «произведение», и все. А как там настоящие профессионалы его выговаривают в своем узком кругу – не так уж и важно, тем более, что в жизни я с ними практически не встречаюсь. Однако могут быть и другие неведомые мне тонкости. Например, вместо «произведение»

дипломированные писатели и поэты могут употреблять исключительно слово «текст» или же и вовсе какое-нибудь «нетленка», то есть то, что не подвержено окончательному тлению – в жаргонных словечках часто присутствует определенная доля ироничного преувеличения и экспрессии. Очень может быть, но таким, как я, об этом остается только гадать.

И если хорошенько подумать, то что, собственно, я могу противопоставить подобному, сугубо профессиональному, взгляду на вещи? Помню, когда в начале девяностых только что вышел мой перевод «Смерти в кредит» Селина, издательница (а это была одна очень экстравагантная дама) попросила меня представить эту книгу на небольшой книжной ярмарке, которая как раз проходила тогда в Репино под Петербургом. Ничего особенного от меня не требовалось – просто я должна была арендовать столик, выложить на него несколько экземпляров книги и спокойно сидеть и ждать, когда вокруг меня столпятся книготорговцы со всех концов России, жаждущие заключить со мной контракт. С каждого такого контракта я автоматически получала чуть ли не двадцать процентов от общей суммы сделки, и даже их бланки мне уже были специально высланы из Москвы, так что мне оставалось только их заполнить в случае необходимости. Короче говоря, я могла заработать кучу денег, причем без особого труда, потому что сидеть за столиком и ничего не делать, как ни крути, а все-таки гораздо легче, чем переводить того же Селина, например. Получалось, что за один день я могу заработать чуть ли не на порядок больше, чем за восемь лет кропотливого труда, а именно столько времени я потратила на свой первый перевод. Короче говоря, я арендовала столик, выложила на него книги и стала ждать...

О, это была моя первая встреча с миром профессионалов! В данном случае, правда, из книготоргового бизнеса, но все равно. И пожалуй, никогда больше – ни до, ни после – мне не приходилось выслушивать столько снисходительных и унижительных замечаний в свой адрес, не говоря уже о насмешливых взглядах, которые я в тот день постоянно ловила на себе. Примерно половина из тех, кто тогда проявил интерес к моему столику, сначала долго и внимательно изучал книгу, ощупывал твердый и внушительный корешок, вертел ее в руках и так, и эдак, и только потом, наконец, пробежал глазами по названию и произносил вслух: «Смерть в кредит»? Нет, сейчас зарубежные детективы больше не идут. Опоздали, мадам...» Ко всему прочему, издательница моего перевода зачем-то разместила на суперобложке голый женский зад с репродукции картины модного в те годы художника Фукса, так что все остальные из приближавшихся ко мне даже не брали в руки книгу, а просто брезгливо морщились и презрительно цедили сквозь зубы что-то вроде: «Достали уже со своей эротикой!» Естественно, поначалу я пыталась было что-то возражать, но вскоре поняла, что это бесполезно, потому что, если твой собеседник по каким-то причинам не знает, кто такой Селин, то это ему так просто и не объяснишь. Впрочем, в этом я убедилась еще задолго до ярмарки, – когда искала издателя для своего перевода. В общем, в тот день я так ничего и не заработала. Все оказалось далеко не так просто, как я думала. Кое-какие договоры, правда, я все-таки заключила, но и они, судя по всему, в дальнейшем не получили подтверждения. Никаких процентов с них я, во всяком случае, так никогда и не увидела. Видимо, те, кто эти договоры поначалу подписал, в дальнейшем тоже от них отказались, когда выяснили, что Селин – это никакая не эротика, и не детектив, как они первоначально подумали.

Я специально так подробно излагаю эту невыдуманную историю, чтобы каждый мог как можно ярвственнее почувствовать и осознать совершенно реальную и невыдуманную разницу, а, возможно, даже и пропасть, которая

отделяет гения от всевозможных обывателей-профессионалов. Тем более, что в данном случае речь идет о Селине, а не обо мне. Селина ведь как-никак изучают селинисты всего мира, его издают в «Плеяде» у Галлимара, биографы пишут его многотомные биографии и т.д., и т.п., то есть этот писатель отвечает всем формальным признакам гения, что бы там ни говорили его недоброжелатели. Так что мое присутствие на ярмарке в качестве продавца его книг не способно замутнить совершенно обнаженный смысл случившегося, который заключается в полном одиночестве и изолированности гения от окружающих. Еще бы, ведь презрительными насмешками осыпали прежде всего уже признанного всем цивилизованным миром гения, Селина, а не меня...

Нет, что ни говори, но, несмотря на кажущуюся обыденность описанной мной ситуации, такое в новейшей истории человечества случалось не часто. Разве что в библейские времена, когда в образе обычного человека этот мир решил посетить сам Господь Бог, о котором к тому моменту тоже ведь уже были написаны целые тома всевозможных сочинений и исследований, составившие впоследствии увесистый том Ветхого Завета. Определенные аналогии тут напрашиваются сами собой... То есть, я хочу сказать, что, подобно тому, как Библия является ключевой книгой для понимания истории человечества на протяжении последних двух тысячелетий, описанная мной ситуация вполне может служить своеобразным ключом к пониманию всей истории русской литературы, уложившейся в два прошедших столетия.

Главная проблема гениев, на мой взгляд, заключается в отсутствии у них специального языка, способного отделить посвященных от непосвященных, наподобие того, как это обычно происходит во всех упомянутых мной выше случаях с «компасом», «алкоголем», «осужденными» и пр., пр., пр. Разгадка же этой видимой странной «бесплотности» гениальности, не способной облачиться даже в какую-либо минимальную словесную оболочку, заключается в том, что, как я уже неоднократно писала и говорила, никакой литературы, на самом деле, не существует и никогда не существовало. Гений тот, у кого хватает мужества остаться один на один с вечностью, то есть фактически ни с чем, с пустотой.

Признаюсь, мне с некоторой грустью приходится наблюдать, как под напором обыденных представлений об искусстве современная поэзия утрачивает свои традиционные очертания и все больше становится похожа на прозу. В столбик сегодня отваживаются писать фактически только дипломированные специалисты в этой сфере, то есть выпускники Литинститута.

В последнее время я, кажется, слишком часто стала употреблять слово «пустота». На первый взгляд, вроде бы ничего страшного, потому что внешне это слово не такое уж и заумное: пустота и пустота... Но тем не менее, кажется, его активно используют всевозможные буддийские схоласты, а значит, так, чего доброго, и меня могут заподозрить в чем-нибудь подобном, в какой-нибудь склонности к отвлеченной схоластике, а это было бы в высшей степени несправедливо, потому что я под этим словом не подразумеваю ничего сверхъестественного, никакой особенной нирваны или же неожиданного просветления. Конечно, не исключено, что у каждого, кто прочитает мою историю русской литературы, в голове слегка и прояснится, поубавится туману, но такого, чтобы достичь полного и абсолютного Просветления, впасть в транс, начать кататься от восторга по полу или же, наоборот, скакать до потолка... Нет, такого я не гарантирую. Да, честно говоря, мне бы этого и не хотелось, потому что в своей жизни мне два или три раза уже приходилось наблюдать, как человек, по его утверждению погрузившийся в нирвану и достигший полного и абсолютного Просветления, вдруг начинал кататься по полу, дергаться всем

телом и еще лихорадочно приплясывать. Зрелище, должна признаться, не из приятных, хотя, видимо, мне еще повезло, потому что во всех известных мне случаях, дело заканчивалось более или менее благополучно, то есть приехавшие со «скорой» санитары забирали моих знакомых в психушку, где их, хотя и с большим трудом, но возвращали в обычное, «допросветленное» состояние. А ведь человек в подобном приливе чувств запросто мог бы и в окошко сигануть или там с крыши высотного здания, тогда результат этого Просветления мог бы оказаться еще более печальным.

Моя подруга в прошлом году ездила с тургруппой в Сингапур, и местные монахи из буддийских монастырей произвели на нее, надо сказать, крайне отталкивающее впечатление. Не могу точно объяснить почему, но кажется, своим не слишком опрятным видом: в частности, почти у всех из них, по ее словам, почему-то были нестриженные и грязные ногти. Но это уже так, к слову, просто, чтобы было понятнее, почему в моем употреблении слова «пустота» не следует искать ничего буддийского, никакого двойного смысла и намеков на что-либо сверхъестественное. Просто я заметила, что обыватели любят все основательное, разные там квартиры, машины и дачи, поэтому именно «пустота» своей бесплотностью и неуловимостью должна больше всего их раздражать и отталкивать. А я вот, наоборот, привязалась к этому слову или же, точнее, оно ко мне... Видимо, если слишком часто повторять одно и то же слово, оно поневоле начинает приобретать некий терминологический и научный оттенок, хотя в данном случае это вовсе не так!

Совсем недавно мне пришлось выслушать очень трогательную историю из уст одного моего приятеля, который живет сейчас один в двухкомнатной квартире на Петроградской. Эту квартиру он в свое время выменял сложнейшими путями, кажется, даже при помощи фиктивного брака. Хотя поначалу ему все равно досталась только комната, а в соседней жила старушка со своим алкоголическим сыном-уголовником. И старушка и сынок, по словам моего приятеля, полностью подпадали под описанный Ломброзо тип прирожденных преступников: низкий лоб, приплюснутый нос, оттопыренные уши, - в общем, один к одному. Сын периодически ненадолго исчезал, а потом, вернувшись из очередной отсидки, устраивал пьяные дебоши. И мой приятель вынужден был сквозь тонкую перегородку выслушивать их беседы с мамой: «Мама, бабки дайте, портвейн кончается! – Сука паршивая тебе мама, ее и проси! – Мама, идите на хер! – А ты за хер!..» Потом старушка наконец померла, и приятель купил комнату по дешевке у ее алкаша-сына, тогда уже вся квартира стала принадлежать ему.

Но случилось так, что один его старинный друг (если не ошибаюсь, то его звали Саша, и он был родом из Баку) попросил временно дать ему приют, так как ему тогда было совсем негде жить. Вообще-то, до этого Саша жил у своего знакомого композитора, но случилось так, что они поссорились, причем не на шутку. Мой приятель, которого звали Евгений, естественно, с радостью согласился – ведь он знал Сашу еще с университетских времен, и отношения у них всегда были просто прекрасные. Короче говоря, Саша временно вселился к Евгению, но вскоре дело как-то так повернулось, что Евгению пришлось Сашу к себе еще и прописать – не помню уже для чего, но для чего-то это понадобилось. И таким образом, Саша прожил у Евгения года два. Правда он очень скоро помирился и со своим другом-композитором, поэтому жил то у него в квартире на Мойке, в каком-то стенном шкафу у самой входной двери – это место выделил ему композитор, – то у Евгения, где у него была нормальная полноценная комната, целых двенадцать метров. К тому же и характер у Евгения был хороший: он всегда легко сходился с людьми и никого особо не доставал. Таким

образом, как я уже сказала, прошло два года... И вдруг как-то поздно вечером Саша вернулся в квартиру к Евгению с грустным лицом, чуть ли не со слезами на глазах, и заявил, что вынужден просить, чтобы Евгений купил ту комнату, где сейчас обосновался Саша, за восемь тысяч долларов. «То есть как, - удивился Евгений, - я должен свою собственную комнату покупать у себя самого за восемь тысяч баксов?» – «Да нет, не у себя самого, а у меня – возразил ему Саша, – ведь это же я в ней прописан, а стало быть, и комната моя. Просто мой друг-композитор собрался переезжать в другой район и продает свою квартиру на Мойке, так что ему срочно нужны деньги, чтобы обеспечить себе достойное жилье». Евгений сперва подумал, что это шутка, но нет, Саша был настроен вполне серьезно: он требовал, чтобы Евгений заплатил ему за комнату, в которой он жил, восемь тысяч долларов, хотя таких денег у Евгения никогда не было, и Саша это прекрасно знал. «Тогда продай квартиру своего отца, - хладнокровно посоветовал Саша, - и деньги должны быть у меня через месяц, а не то я обменяю эту комнату, и ты опять окажешься в коммуналке. И обещаю тебе – у тебя будет такой сосед, что о прежних ты будешь вспоминать с ностальгией.» И действительно, полгода назад у Евгения умер отец, и ему в наследство осталась трехкомнатная квартира в Гатчине, которую он пока сдавал, а деньги откладывал, чтобы наконец-то съездить в отпуск куда-нибудь на Кипр или же в Турцию, чтобы там как следует оттянуться и отдохнуть от всей этой окружавшей его нищеты и серости. И тут такая подстава! А ведь он даже денег за жилье с него никогда не брал!.. Тем не менее, Евгению все-таки пришлось продать квартиру отца, чтобы расплатиться с Сашей, и только после этого тот выписался и оставил Евгения в покое.

Однако примерно через год они снова помирились. Как-то на Масленицу Саша неожиданно пришел к Евгению с огромной кастрюлей блинов, они выпили, и Саша начал жаловаться, что композитор теперь полностью перешел на его иждивение, денег у них совсем не стало, и ко всему прочему, они еще и переехали в какую-то жуткую дыру на Промышленной улице рядом с площадью Стачек. «А куда же делись все бабки от продажи квартиры на Мойке и те?» – удивился Евгений. Саша начал бормотать что-то невнятное, а потом под большим секретом признался, что его друг и покровитель испытывает непреодолимую страсть к игре, в своем роде это болезнь, почти как у Достоевского, поэтому он все деньги почти сразу же проиграл в казино. Эта история окончательно смягчила сердце Евгения, и он совершенно простил своему другу все его прегрешения. Но где-то через неделю Саша снова явился к Евгению и сказал, что забыл у него кастрюлю из-под блинов и крышку от нее. Вот в этот момент, признался мне Евгений, рассказывая мне эту историю, на него наконец-то снизошло настоящее Просветление – я пишу тут это слово с большой буквы, потому что, описывая мне все эти трагические события, мой приятель произнес его с каким-то особым и не передаваемым на письме иными средствами выражением в голосе, хотя, на самом деле, он всего лишь окончательно решил порвать все отношения с Сашей, несмотря на то, что кастрюлю с крышкой он ему все-таки вернул.

Я так подробно пересказываю тут эту историю, потому что внешне в ней и вправду, по-моему, есть нечто общее со стандартной дзенской притчей, главный герой которой в конце обязательно достигает Просветления. Но это сходство носит чисто поверхностный характер. Точно так же и в моем понимании пустоты, вероятно, есть какое-то внешнее сходство с Пустотой из буддийской схоластики, однако я вкладываю в это слово примерно такой же смысл, какой вкладывал в слово «просветление» Евгений, когда рассказывал мне свою историю. И не более!

Потолок, к примеру, являет собой замечательный образ такой пустоты, особенно слегка пожелтевший от времени, с трещинами и подтеками. Вид такого

потолка наверняка должен выводить из себя обывателей, а уж о мыслях, «взятых» с этого потолка, и говорить нечего. Потому что это уже не просто пустота, а настоящее запустение!.. Лично я давно заметила, что потолок у меня дома навевает очень печальные мысли и настраивает на лирический лад, поэтому порой даже не хочется поднимать глаза вверх, особенно когда у меня и без того тоскливое настроение. Однако свежевыбеленный и гладкий потолок в квартире моей мамы почему-то нагоняет на меня еще большую тоску, даже не знаю почему — скорее всего, тут замешаны какие-то детские впечатления.

Как бы то ни было, самые «пустые» и легкомысленные персонажи русской литературы всегда – вне зависимости от настроения – казались мне наиболее привлекательными, причем не просто глупые или, тем более, тупые, а именно «пустые». Об Эллочке-Людоедке и чеховской «Попрыгунье» я уже писала, а о Дантесе и говорить нечего – он прекрасен и неподражаем! Но особенно удачно такие типажи почему-то получались у Толстого: холеная Элен с обнаженными, холодными, как мрамор, плечами, или же ветреный Анатоль... Наверное, потому что Толстой больше других вкладывал в эти образы свою ненависть к ним. Нисколько не сомневаюсь, что именно по этой причине Толстой является едва ли не самым культовым писателем в среде отечественных обывателей: этот, по меткому выражению Ленина, «матерый человечеще», наверняка притягивает их к себе своей основательностью, ну и вообще, грандиозными масштабами своей личности. В нем, и в самом деле, есть что-то очень солидное и внушительное, почти как в трехэтажной даче, ничуть не меньше – вынуждена это признать.

Кроме того, по моим наблюдениям, подавляющее большинство людей предпочитают прошлое настоящему. Скорее всего, и здесь причина кроется в тайном страхе перед все той же загадочной пустотой, – я хочу сказать, что прошлое притягивает к себе обычных людей тем, что в нем уже все окончательно расписано, расчерчено и расставлено по своим местам, а настоящее их отпугивает своей неопределенностью и «неназванностью». Даже я сама, по мере продвижения «Моей истории» во времени, невольно начинаю испытывать некоторый внутренний трепет от неизбежной и скорой встречи с настоящим – нечто подобное, видимо, должен испытывать и капитан судна, когда оно приближается к скалистому, обрамленному многочисленными рифами берегу. С этой точки зрения, и музеи, где все тоже давно определено и расставлено по местам, – в высшей степени обывательское изобретение, поэтому среди их посетителей вряд ли сегодня можно встретить человека, наделенного хотя бы минимальным эстетическим чувством... Ну и вся так называемая «русская классическая литература», само собой, тоже продукт обывательской культуры – тут, по-моему, и двух мнений быть не может, настолько все очевидно. Иначе бы Цветаева не закончила свои дни посудомойкой, а Хармс – в дурдоме, в то время как проектировались чуть ли не стометровые монументы Пушкину.

Безусловно, мода и красота раздражают толпу своей неуловимостью и неопределенностью, но уже в самих этих словах тоже присутствует какой-то дебильный привкус. Поэтому, мне кажется, настоящий эстет все-таки должен испытывать тягу не столько к красоте, сколько... к пустоте. О красоте же, на мой взгляд, вообще невозможно говорить всерьез – только в шутку. С этой точки зрения, и Савинков был не совсем точен. Если уж он намеревался кого-то своим стихотворением по-настоящему поддеть, то ему следовало бы написать: «Морали нет – есть только пустота!»

Правда тогда его, опять-таки, можно было бы заподозрить в буддизме, что вряд ли способно пойти на пользу писателю, по крайней мере, в наши дни. Во всяком случае, лично я совсем бы не жаждала, чтобы во мне обнаружилось хоть самое отдаленное сходство с какими-нибудь сингапурскими монахами с

нестриженными грязными ногтями – не сомневаюсь, подобное сближение было бы большой натяжкой. Хотя мне бы хотелось научиться немного управлять своими чувствами и мыслями. К тому же в последнее время у меня в голове слишком часто начинают скакать и резвиться маленькие гномики в красных колпачках с белыми опушками так, что порой я теряю способность вообще что-либо соображать...

Буквально месяц назад мне довелось услышать по радио воспоминания одного ветерана-хирурга, который рассказывал о том, как оперировал разведчика Медведева, того самого, о котором еще был снят фильм «Сильные духом». Так вот, этот хирург должен был вырезать ему пулю из руки и предложил вколоть новокаин – чтобы обезболить. Но Медведев наотрез отказался, сел в кресло у окна и все время, пока шла операция, задумчиво смотрел в окно на пейзаж и беззаботно насвистывал романс «Мой костер в тумане светит». Он просто до такой степени отключился, отвлекся от окружающего, что не чувствовал никакой боли.... Вот этому, пожалуй, я тоже хотела бы научиться: полностью отключаться от окружающей реальности, не воспринимать того, что происходит вокруг, не слышать обращенных к тебе вопросов и сохранять полное спокойствие внутри себя, даже когда тебе хаят где-нибудь в магазине или же троллейбусе.

КОНЕЦ

Санкт-Петербург, 2004 г.